ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ


МР
1965



СБОРНИК

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Ю. Л. ПРОКУШЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Составление и примечания

А. А. ЕСЕНИНОЙ, Е. А. ЕСЕНИНОЙ,
К. Л. ЗЕЛИНСКОГО, А. А. КОЗЛОВСКОГО,
С. П. КОШЕЧКИНА, Ю. Л. ПРОКУШЕВА.

СЛОВО О ЕСЕНИНЕ

Эту книгу ждали.

Читатели хотели ближе узнать поэта, чье слово давно запало в народное сердце.

И вот есенинский сборник перед нами. Воспоминания, отзывы, заметки...

Говорят родные, сверстники, друзья поэта. Среди них писатели и журналисты, художники и актеры. В разные годы, при различных обстоятельствах встречались они с Есениным, по-разному смотрели на него. Не все их суждения беспристрастны, не все свидетельства равноценны. Но несомненно одно: каждый рассказ по-своему интересен.

Страница за страницей, штрих за штрихом воссоздается время и обстановка, вырисовывается образ поэта — живой и правдивый.

Образ поэта...

Пушкин как-то заметил, что он «думал стихами». Маяковский «любил стихом». «Волнуясь сердцем и стихом», жил Есенин.

Он не «занимался поэзией» от такого-то до такого-то часа — он дышал ею постоянно. Творческая работа, «каторга чувств», была для него естественным состоянием.

Один из современников Есенина вспоминает, что как-то при встрече он сказал поэту:

— Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?

— Всегда,— последовал ответ.

В то время как злые языки шептали по закоулкам: «У Есенина затяжной кризис», он говорил знакомому поэту: «Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать».

Всякое нарушение авторской воли вызывало его протест: «Кто им позволил залезать ко мне в душу и хозяйничать там, как им хочется?.. Какой-то бездельник в редакции чирк карандашом, и весь мой замысел летит к чертовой матери».

Он имел право сказать о себе, своих стихах: «Я сердцем никогда не лгу...»

Требовательный к себе, Есенин не выносил литературных «мотыльков». Одному такому «творцу» он заявил:

«Ты понимаешь, ты вот — ничего. Что ты списал у меня — то хорошо. Ну, а дальше? Дальше нужно свое показать, свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не работаешь. Так ты — никуда!..»

Вглядываешься в рукописные есенинские строки, слушаешь рассказы современников о самозабвенной работе поэта над словом и зримо ощущаешь всю нелепость легенд о «беспечном таланте», еще бытующих и поныне.

У народа-языкотворца, у классиков всю жизнь учился Есенин высокому искусству слова. В юные годы впервые прочитав «Слово о полку Игореве», он был «совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный». Он знал наизусть отрывки из русских былин и руны из «Калевалы», стихи Лермонтова и Некрасова, Никитина и Кольцова, Фета и Тютчева. Особое чувство у него было к Пушкину и Гоголю. Он не раз говорил друзьям: «Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать!»

Он мечтал создать поэму о Пушкине; признавался, что в последние годы его все больше тянет к пушкинской простоте. Перечитайте «Персидские мотивы», «Письмо матери», «Письмо к женщине», «Возвращение на родину», «Отговорила роща золотая...» и вы явственно ощутите это.

Навсегда сохранила память современников волнующую картину: выступление поэта у памятника Пушкину в юбилейные дни 1924 года. Есенин стоял на ступеньках пьедестала, светлые его кудри резко выделялись в толпе. В руках он держал букет цветов, который возложил к подножию памятника. Он читал свое известное стихотворение, посвященное Пушкину, громко и четко, размахивая, как обычно, руками.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Но ему было не суждено еще долго петь... Иной через год стала его последняя встреча с Пушкиным. «Перед тем как отнести Есе-

нина на Ваганьковское кладбище,— рассказывает писатель Юрий Либединский,— мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы».

Есенин, подобно Пушкину, был глубоко убежден: истоки «песенного слова» в народе. «Это все есть у народа,— говорил он.— Это только надо найти, прочитать, услышать, по-своему осмыслить». Он утверждал: «В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки».

Всю жизнь он стремился к поэтической емкости и выразительности каждого образа, каждой строки своих стихов; и хотя достиг многого, постоянно испытывал чувство неудовлетворенности.

Через неустанный художественный поиск, через отрицание того, что уже было им достигнуто, твердо памятуя, что «поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом», он неуклонно шел к пушкинской гениальной простоте.

Шел ради того, чтобы пропеть *свою*, неповторимую песнь о России. Есенин по праву мог сказать о себе с гордостью: «Чувство родины — основное в моем творчестве».

Он говорил молодому поэту:

«Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины».

Крестьянская изба. Свет лампады. Смиренные, все в черном, странницы поют духовные стихи о прекрасном рае, о светлом госте из града неведомого...

Лес. Канавистая дорога. Бабушка ведет малолетнего внука на поклон «перед ликом спасителя»: «Иди, иди, ягодка, бог счастье даст».

Это было.

Но было и другое, перед чем меркли лампады, стихали заунывные голоса монахинь — свет зари в полнеба, белый дым над садами, свист коростеля да песня косарей за Окой...

За околицей села открывался необъятный и таинственный мир, полный волнующих звуков и красок. Здесь впервые увидел Есенин, как ломаются березы, отражаясь в пруду, как играет солнечный зайчик в бороде старого деда, убирающего ток, как все вокруг серебрит своим блеском луна.

С колыбели западали в душу Есенина волнующие материнские песни. От матери он унаследовал живой, самобытный, впечатлительный ум, песенный склад души.

Рано одолевший с помощью деда грамоту по Библии, он в школьные годы накрепко сдружился с книгой: жадно ловил и запоминал каждое меткое слово, услышанное на деревенской улице, в лугах на покосе, в ночном у костра...

Он всю жизнь был «нежно болен вспоминаньем детства». И в радости и в печали — всегда его сердце тянулось к родному очагу, к полевым тропинкам, избеганным босиком:

Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Тогда впервые заглянул он в синие глаза России, впервые услышал ее задушевные песни, ощутил дыхание родимой земли, и в его душу упали первые зерна того чувства, которым жива вся есенинская лирика...

О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

Заря и звезды в этой школе соседствовали с песней и частушкой, сказкой и загадкой.

Это была школа любви к отчему краю, к людям, ко всему живому в мире.

Надо ли говорить, сколь важны для нас сегодня достоверные представления о жизни поэта в родном краю! Конечно, главный источник здесь — его стихи. Вместе с тем скромные, сдержанные по тону рассказы его близких, особенно сестер, помогают зримо представить обстановку, в которой он рос, воссоздают живые картины быта и духа семьи Есениных...

Ему было пятнадцать лет, когда он написал стихи:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Однажды на деревенской улице он показал стихи товарищу. «Совершенно неожиданно для меня,— вспоминает последний,— стихов у него оказалось довольно много».

Кто мог тогда представить, глядя на деревенского паренька в нахлобученной на лоб кепке, что пройдет всего десять лет и он станет поэтическим сердцем России...

В это сердце с юных лет запали грустные и раздольные песни, светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский разинский дух и кандальный сибирский звон, церковный благовест над тоскую-

щими пашнями и умиротворенная сельская тишина, веселый девичий смех в лугах и горе седых матерей, потерявших сыновей на войне.

Вспомним «Русь», написанную девятнадцатилетним поэтом:

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер...

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Только пережив войну как глубоко личное бедствие, можно так писать о ней, найти такие слова, вложить в стихи такие чувства, что почти физически ощущаешь этот раздирающий душу крик тоски и отчаяния.

В «Руси» отчетливо слышен *свой* поэтический голос, *своя* песнь о родине. И вместе с тем песнь эта как бы продолжает проникновенную кольцовскую песнь о русской земле; по настроению «Русь» чем-то созвучна пушкинской «Деревне» и перекликается с блоковскими скорбными раздумьями о родине:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.

И едва ли не более всего она заставляет нас вспомнить строки знаменитой некрасовской песни «Русь»:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная —
Матушка Русь!..

И хотя в «Руси» Есенина слышится больше скорбный голос некрасовской «музы печали», чем «музы мести», народного гнева, нельзя не видеть, не почувствовать главного: в основе своей это произведение, написанное кровью сердца, близко по духу поэзии Некрасова.

«Русь» давала Есенину полное право сказать позднее в беседе с писателем И. Н. Розановым:

«Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму».

Время Есенина — время крутых поворотов в истории России.

От Руси полевой, патриархальной, уходящей в прошлое, от России, ввергнутой царизмом в пучину мировой войны,— к России, преображенной революцией, России ленинской, России Советской — таков путь, пройденный поэтом вместе со своей родиной, своим народом.

Грандиозен и прекрасен этот путь — путь великого похода трудовой России в будущее. Вместе с тем он был суров, драматичен. И далеко не каждый из писателей того времени твердо устоял на палубе корабля — России, когда разразилась революционная буря. Вспомним Алексея Толстого и его роман-эпопею об утраченной и вновь обретенной родине. Вспомним трагедию Бунина...

Все, что совершалось в России в годы Октября, было необычно, неповторимо, ни с чем не сравнимо в прошлой истории народов.

«Сегодня пересматривается миров основа»,— утверждал Владимир Маяковский. «Революцьонный держите шаг!» — призывал сынов восставшей России Александр Блок. Великие перемены в жизни России предчувствовал и Сергей Есенин:

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли...
Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Петр Орешин, вспоминая о встречах с Есениным в годы революции, подчеркивал:

«Есенин принял Октябрь с неописуемым восторгом и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем...»

В «Инонии», «Небесном барабанщике» поэт решительно отбрасывает прочь мотивы смирения, покорности и восторженно провозглашает:

Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Все больше его захватывает «вихревое» начало, вселенский, космический размах событий.

В те незабываемые дни в его стихи врывались из бурной революционной действительности чеканные, напряженные ритмы:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Это было в 1918 году. Позднее Маяковский скажет об этих стихах: «Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться...»

Есенин чувствовал: о России, преображенной Октябрем, нельзя петь по-старому. «Революция, а он «избяные песни...» На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел»,— говорил он одному из поэтов о Клюеве, а другому в письме советовал: «...Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем... Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества». Радость обновления родной земли захватила его. Казалось, еще немного усилий, и извечная мечта русского пахаря о золотом веке станет явью.

Но жизнь революционной Руси заворачивала все круче: не угасал огонь гражданской войны, терзали страну интервенты; разруха и голод делали свое черное дело.

Трудно тогда было многим до конца осмыслить этот исторически единственно возможный путь возрождения России — путь социалистической революции. В ту тяжелую пору даже иным писателям-фантастам Россия виделась лишь «во мгле».

В суровое, грозное время не выдержало, дрогнуло сердце «последнего поэта деревни»:

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.

Мучительно встает перед ним вопрос: «Куда несет нас рок событий?» Ответить тогда на него было поэту нелегко. Вокруг он видел следы войны и разрухи; видел голодные опустевшие села, тощие, неухоженные поля; видел черные паутины трещин на опаленной засухой, мертвой земле...

Тогда-то и рухнули его утопические мечты о «граде Инонии, где живет божество живых». Он слагает свой «Сорокоуст»:

Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

Вслушайтесь, какая кровоточащая боль и неуемная скорбь звучат в трагедийной песне поэта о невозвратной, исторически обреченной на гибель старой деревне и вместе с тем какая в этой песне неподдельная, обжигающая душу тревога за будущее России.

Ход времени неумолим. Поэт это чувствует. Разве можно забыть есенинского «красногривого жеребенка»:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

С тревогой и грустью замечает он в одном из писем: «Конь стальной победил коня живого».

Сумеют ли люди будущего сохранить красоту природы? Кто знает. Мучительны раздумья поэта.

Волнует по-своему это и нас сегодня...

Порой, в трудные для него дни, художник, чтобы лучше понять настоящее, обращается к тем событиям прошлого, которые, как ему кажется, чем-то созвучны его времени.

Так появляется есенинский «Пугачев». Но и прошлое не врачует сердце поэта, а, наоборот, усиливает сомнения. Неужели опять все, как во времена Пугачева, обернется для крестьянской Руси новой трагедией, поражением восстания?

А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Мы явственно слышим здесь голос самого поэта, чувствуем его душевную драму.

Максим Горький, которому Есенин читал «Пугачева» во время встречи в Берлине, вспоминал позднее: «Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось».

Вся эта сложная гамма чувств проникнута одним: тревогами, заботами, думами о России:

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!

Тициан Табидзе писал в 1926 году о Есенине: «Он с кровавой болью расставался со старым своим деревенским миром, чтобы перейти к большой эпической теме».

Поэзия Есенина в высшей степени драматична и правдива, она полна острых конфликтов и поистине трагедийных коллизий; полна глубоких, порой, казалось бы, неодолимых противоречий. «...Эти противоречия не были выдуманы поэтом,— справедливо подчеркивает писатель Юрий Либединский,— а являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они были источником движения и развития его поэзии...»

Есенин был убежден: для истинного поэта недостаточно только копировать действительность. В стихах «нужно давать самую жизнь». «Это не творчество, а подражание природе,— заметил он как-то об известном поэте,— а нужно, чтобы творчество было природой».

Его творчество было природой. Это огромный своеобразный поэтический материк со своими удивительно прекрасными эмоционально-художественными полюсами, которые были временами куда более полярны, чем наши север и юг.

«Сорокоуст» и «Анна Снегина», «Пугачев» и «Песнь о великом походе», «Стансы» и «Черный человек», «Русь уходящая» и «Капитан земли», «Исповедь хулигана» и «Персидские мотивы» — трудно представить, что все эти поэмы и стихи, такие разные, противоречивые, часто взаимоисключающие друг друга, написаны одним человеком. Как широк и смел взгляд их автора на явления действительности, как кровно он связан с народной жизнью, как много он перестрадал, пережил вместе со своей родиной.

Свидетельства современников еще раз подтверждают всю несостоятельность суждений тех критиков (особенно в прошлом), которые, говоря о противоречиях в творчестве Есенина, стремились свести *все* лишь к характеру поэта, «раздвоенности» его личности, имажинистскому окружению, чуждым влияниям.

Конечно, то, что Есенин на какое-то время оказался в имажинистском «узком промежутке», не прошло для поэта бесследно. Естественно, что имажинизм в чем-то затруднял, сковывал путь поэта к художественному познанию правды жизни и острых противоречий в самой действительности. Ведь имажинизм, по меткому замечанию одного из бывших имажинистов,— это «кабинетная затея», а Есенину было тесно в любом, самом обширном кабинете. «Стойло Пегаса» — кафе имажинистов — было далеко не тем местом, откуда взору поэта открывались бы горизонты новой жизни.

И те, кто вместе с Есениным учреждал «Ассоциацию вольнодумцев», и те, кто был там вместе с ним, а потом отошел, и те, кто, как, например, Городецкий, видел имажинизм со стороны, по-разному ныне говорят и пишут об имажинизме Есенина. В каждом из этих суждений есть свой резон, своя доля истины. Но, пожалуй, точнее и вернее всех о своих взаимоотношениях с имажинистами сказал сам Есенин: «Нет, не я примкнул к имажинистам, а они наросли на моих стихах». Он же указывал и на главное, что всегда разделяло его и имажинистов: «У собратьев моих нет чувства родины...» Разве вставал перед имажинистскими «друзьями» Есенина мучительный для поэта в ту пору вопрос: «Куда несет нас рок событий?» Где их «Пугачевы» и «Сорокоусты»?

Идейный, творческий разрыв Есенина с имажинизмом был неизбежен. И он наступил. «Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его связывает по рукам и ногам»,— писал Есенин в автобиографии 1924 года.

Что же касается других чуждых идейных влияний на поэта, которые, несомненно, были, то здесь нам представляется очень справедливым суждение писателя Никитина: «...Когда еще бурлили акмеистские, символистские, имажинистские, конструктивистские

и прочие «страсти», он уже перешагнул через них, а также через свою «цыганскую грусть», как через лужу. Он стал писать как большой русский поэт, идущий от классических традиций. И в то же время был оригинален».

Сердце поэта чутко улавливает те благотворные перемены, которые происходили на его родине. Русь Советская залечивала раны войны и разрухи. Повсюду были видны приметы новой жизни. Многие из противоречий, которые еще недавно казались Есенину неразрешимыми, отошли в прошлое, стали историей.

По-иному взглянуть на мир и события в стране Есенину помогла и его поездка в Европу и Америку. «Только за границей,— говорил Есенин,— я понял все значение русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства». «После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому»,— замечает Есенин в автобиографии 1924 года. Обратитесь к очерку Есенина «Железный Миргород», его пьесе «Страна негодяев», письмам из Европы и Америки, воспоминаниям современников и вы увидите, как «преломлялись» взгляды поэта. Все, кто встречался с поэтом после его приезда из-за рубежа, чувствовали это. Из Америки, отмечал Маяковский, Есенин «вернулся с ясной тягой к новому».

Есенин радуется добрым переменам, которые происходили в жизни русского крестьянства. «Знаешь,— рассказывал он одному из друзей,— я сейчас из деревни... А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а?» Поэт обращается в стихах к тому, кто «мощным словом повел нас всех к истокам новым». В «Стансах» он утверждает:

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

«Есенин,— рассказывала жена поэта С. А. Толстая-Есенина,— относился к Владимиру Ильичу с глубоким интересом и волнением. Часто и подробно расспрашивал о нем всех лиц, его знавших, и в отзывах его было не только восхищение, но и большая нежность. Смерть Ленина произвела на поэта огромное впечатление. Он... несколько часов провел в Колонном зале у гроба вождя».

Есенин мечтал написать большую поэму о Ленине. Он говорил своему другу — редактору «Бакинского рабочего» П. И. Чагину: «Я в долгу перед образом Ленина, ведь то, что я писал о Ленине,—

и «Капитан земли» и «Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода»,— это слабая дань памяти человека, который не то что, как Петр I, Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету».

Прошло то время, когда поэт писал о Ленине: «Он вроде сфинкса предо мной». Теперь, когда земляки поэта спросили его: «Скажи, кто такое Ленин?», «Он — вы»,— отвечает Есенин.

Поняв умом великую правду Ленина, поэт вновь и вновь пристально вглядывается в кипение жизни, стремясь, по его словам, «постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь».

В свое время некоторые пишущие о Есенине постарались изобразить дело таким образом, что круг есенинских друзей и знакомых из литературной среды был якобы всегда весьма ограничен и включал главным образом имажинистов и близких к ним людей.

Представление это, бытующее еще и поныне, на самом деле весьма и весьма далеко от истинного положения вещей.

Читая письма Есенина, воспоминания о нем, видишь, сколь многочисленно и разнообразно было его литературное окружение, с какими замечательными людьми сводила его судьба.

Александр Блок был первым поэтом, которого увидел Есенин. «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык» — такое впечатление осталось у Блока от первой встречи с Сергеем Есениным. «Я очень люблю Блока»,— не раз признавался позднее Есенин своим друзьям. Это не мешало между тем временами Есенину внутренне спорить с Блоком, отходить от него, чтобы затем вновь вернуться к его стихам. В конце жизни он говорил Владимиру Чернявскому, близкому товарищу по петроградскому периоду: «Если бы у меня не было тебя... Клюева, Блока... что бы у меня осталось?» Последний раз он перечитывал стихи Блока незадолго до своей смерти.

Максим Горький... Есенин не раз встречался и беседовал с ним. Любовь и уважение к великому писателю он пронес через всю жизнь. «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 1922, май 17. Берлин» — такая дарственная надпись сделана поэтом на экземпляре «Пугачева».

«...Все *мы* следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову»,— писал Есенин Горькому в Сорренто в июле 1925 года.

По словам В. Наседкина, в последний год жизни Есенин не раз высказывал намерение побывать у Горького в Италии, но осуществить это желание ему так и не удалось.

«...Прочитал я первый том стихов Есенина и чуть не взвыл от горя, от злости,— писал Горький А. П. Чапыгину после смерти С. Есенина.— Какой чистый и какой русский поэт».

Добрая дружба в последний год жизни сложилась у Есенина с Дмитрием Фурмановым. Бывший комиссар чапаевской дивизии тогда работал в Государственном издательстве и часто виделся там с поэтом.

«Разговоров теоретических,— вспоминает Фурманов,— он не любил». Когда же речь заходила о поэзии, то Есенин, по словам Фурманова, «преображался, как святой перед пуском в рай...»

Фурманову и группе писателей в конце 1925 года Есенин читал свою новую поэму — «Анна Снегина». «Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри».

Дмитрий Фурманов принимал близкое участие в подготовке первого собрания стихотворений Есенина. Смерть поэта потрясла Фурманова. Он записывает в своем дневнике: «...Большое и дорогое мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин, вся эта гамма его простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами».

Встречался с Есениным Александр Серафимович. «Это был великий художник, но несчастный человек»,— сказал о поэте автор «Железного потока». А в наброске статьи о Есенине, сделанном вскоре после смерти поэта, он писал: «С огромной интуицией, с огромным творчеством — единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших,— ни у кого из современников... Чудесное наследство».

Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Василий Наседкин, Петр Орешин, Александр Ширяевец, Юрий Либединский, Николай Никитин, Владимир Кириллов, Всеволод Рождественский, Сергей Городецкий, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Сергей Коненков, Василий Качалов, Леонид Леонов, Георгий Якулов, Петр Чагин и другие видные писатели, художники, журналисты были близко знакомы с Есениным, относились к поэту заботливо и дружески. «Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком»,— отмечает в своих воспоминаниях Василий Наседкин.

Иными сегодня, «на расстоянии» видятся современникам Есенина и отношения, сложившиеся при жизни между ним и Маяковским. «Они, конечно,— вспоминает Н. Никитин,— не были друзьями, они были полярны, но через год после смерти Есенина, по-

моему, лишь один Маяковский высказал истинное отношение к поэту Есенину в стихотворении «Сергею Есенину».

Что же касается Есенина, то и он, споря с Маяковским на диспутах, литературных вечерах, в своих стихах, видел, какое место занимает Маяковский в советской поэзии. Иван Старцев рассказывает, что во время разговора о «левой» поэзии Есенин заметил: «Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся».

Многие современники Есенина, которым хотя бы раз посчастливилось слышать, как он читал свои стихи, вспоминают об этом как о каком-то неповторимом чуде. Все они сходятся на одном: рассказать об этом чуде почти невозможно. Это, пожалуй, лишь удалось в известной мере Максиму Горькому. «Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее,— писал Горький,— все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью».

«Есенин действительно,— вспоминает Николай Никитин,— так читал эту драму, что она была видна и без декораций, без актеров, без театральных эффектов».

«Большой поэт всегда совпадает с большой личностью. И такой личностью, конечно, был Сергей Есенин»,— писал Иван Евдокимов, встречавшийся с поэтом в последние годы его жизни. Справедливость этих слов не подлежит никакому сомнению.

Из есенинских стихов, писем, статей, из воспоминаний современников встает образ серьезного, умного, глубокого человека. Образ поэта-мыслителя, кровно связанного со своей страной, болеющего болями своего времени.

Поэт тот, говорил Есенин в одном из юношеских стихотворений, «чья родная правда мать, кто людей, как братьев, любит». Сознание

ответственности перед народом, родной землей не покидало Есенина даже в самые драматические моменты его жизни.

Есенин хорошо знал, что «стишок писнуть, пожалуй, всякий может — о девушке, о звездах, о луне...» Но грош цена творениям, которые не согреты живым человеческим теплом, в которых нет «родных почвенных сил».

Он стремился быть певцом и гражданином своей страны. По-хорошему он завидовал тем, «кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею», и с искренней болью писал о днях, «растраченных напрасно».

Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

То, что он дал,— а дал он немало,— конечно, давалось ему не ради шутки, кровь и нервы видны за каждой есенинской строкой. Но дать он мог, несомненно, значительно больше. «Глубоко верю,— писал Леонид Леонов,— что много еще мог бы сделать Сергей Есенин. Еще не иссякали творческие его соки, еще немного оставалось ждать, и снова брызнули б они из есенинских тайников, как по весне проступает светлый и сладкий сок на березовом надрезе».

Поэзия Есенина «есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души»,— писал Алексей Толстой. Она была поистине богата, душа поэта, движения которой живут в его стихах.

Все, кому довелось близко знать Есенина или хоть однажды встретиться с ним, вспоминают о нем, как о яркой, замечательной личности.

«Это был крупный красивый человек,— говорит С. Т. Коненков.— Его внешность, его стихи еще тогда, при жизни Сергея Александровича, казались мне явлением под стать Шаляпину. Он был обаятельнейшим человеком — таким я стремился запечатлеть его облик в памяти и скульптурных работах».

Поэт тянулся к людям, любил людей — об этом он не раз писал в стихах. И люди тоже тянулись к Есенину. «В нем была та притягательность, которую мы определяем словом «обаяние», с него не хотелось сводить глаз»,— замечает один из современников.

К Есенину нередко обращались молодые начинающие поэты. Их много приходило к нему, рассказывает С. Виноградская, и в судьбе каждого он принимал посильное участие.

Так, незадолго до смерти, находясь в санатории, Есенин пишет обстоятельный ответ комсомольцу Я. Цейтлину, приславшему свои первые стихи. «Дарование у Вас безусловное, теплое и подкупающее простотой,— отмечает Есенин,— только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов».

Искреннее расположение к Есенину рождало у него ответное доброе чувство. Он умел ценить настоящую дружбу, дорожил ею. У него было много истинных друзей, но еще больше увивалось около него друзей мнимых. Этих «друзей» устраивали шумные скандалы, к которым они зачастую подталкивали поэта лишь ради того, чтобы с именем Есенина появились и их никчемные имена.

Подлинные друзья пытались вырвать Есенина из цепких лап этого «чужого и хохочущего сброда».

Пытался это сделать и он сам, не раз уезжая в последние годы с этой целью на Кавказ. «Работается и пишется мне дьявольски хорошо»,— сообщал он из Батуми в декабре 1924 года. В Грузии и Азербайджане Есенин написал десятки лирических стихотворений, несколько поэм. «В этот период,— говорил Тициан Табидзе,— С. Есенин сознательно стремится порвать со старым образом жизни».

Г. А. Бениславская, С. А. Толстая, на которой Есенин женился в 1925 году, сестра поэта Е. А. Есенина, В. Ф. Наседкин и другие близкие поэту люди каждый по-своему тревожились за судьбу Есенина. Слов нет, порой с Есениным было нелегко, и тогда, к сожалению, те, кто считал себя его другом, не выдерживали и отходили в сторону. Так, Августа Миклашевская, которой поэт посвятил прекрасные стихи, вспоминая то время, недавно писала: «Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала, что виновата и я и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему. Он тянулся, шел к нам. С ним было трудно, и мы отходили в сторону, оставляя его одного».

В декабре 1925 года Есенин уехал из Москвы в Ленинград. Там он мечтал, как говорил друзьям, «начать новую жизнь», работать, редактировать журнал. Приехав в Ленинград, он говорил одному из своих ленинградских знакомых: «Возьму у Ионова журнал. Работать буду. Ты знаешь, мы только праздники побездельничаем, а там за работу».

Намерениям этим не суждено было осуществиться... В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» Есенин оборвал свою жизнь. «Мы потеряли великого русского поэта»,— писал Максим Горький, потрясенный трагическим известием.

Есенин ушел из жизни, но живет уже почти полвека неповторимое есенинское песенное слово. Миллионы людей услышали в стихах поэта близкие и дорогие мотивы, уловили неподдельную нежность ко всему живому и неодолимо потянулись к заветным есенинским томикам.

«...Во время моих скитаний по Европе и Америке,— рассказывает В. И. Качалов,— всегда возил с собою сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли, так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей».

Через многие испытания пронес народ любовь к своему поэту.

Сегодня стихи Есенина читаются повсюду, их можно увидеть в доме уральского сталевара и в юрте казаха-животновода, на столе профессора физики и в руках студента-геолога. Они звучат со сцен сельских клубов и концертных залов Москвы. Летчики-космонавты поднимаются с ними на звездные орбиты.

Огромные тиражи есенинских книг раскупаются мгновенно, в библиотеках за ними очереди. Именем поэта названы столичный бульвар, театр на его родине в Рязани; водные просторы бороздит советский пароход «Сергей Есенин».

Высок интерес к Есенину во многих зарубежных странах...

Вместе с нами поэт идет в будущее. И вспоминаются слова Н. С. Тихонова: «Есенин — это вечное, как это озеро, это небо...»

Широко, празднично отмечалось по всей стране 70-летие со дня рождения поэта.

2 октября 1965 года в селе Константинове при огромном стечении народа был открыт мемориальный Дом-музей С. А. Есенина.

На торжественных заседаниях, проведенных в Москве, в Колонном зале Дома союзов, и в Рязани, выступили известные писатели и поэты — представители братских литератур.

«Пора говорить о С. А. Есенине,— заявил Александр Прокофьев,— как о великом национальном русском поэте, и говорить не тихо, а во весь голос! За всю его любовь к России, за созданные им о ней неповторимо прекрасные стихи-песни!»

С. П. КОШЕЧКИН,
Ю. Л. ПРОКУШЕВ.

Е. А. ЕСЕНИНА

В КОНСТАНТИНОВЕ

Наш дедушка, Никита Осипович Есенин, женился очень поздно, в 28 лет, за что получил на селе прозвище «Монах». Женился он на 16-летней девушке Аграфене Панкратьевне Артюшиной, которая потом, по дедушке, прозывалась Монашка.

Я до школы даже не слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура — Монашки.

Дедушка Никита Осипович много лет был сельским старостой, умел писать всякие прошения, пользовался в селе большим уважением как трезвый и умный человек.

Женившись, дедушка разделился со своим братом. Ему досталась часть родовой усадьбы Есениных. Но эта усадьба столько раз делилась наследниками, так раздробилась, что теперь на ней даже маленькую избушку можно было построить с трудом. В это время дедушке удается приобрести у одного из односельчан небольшой клочок земли.

Скоро исполнится сто лет с тех пор, когда Никита Осипович Есенин купил двадцать восемь квадратных саженей усадебной земли и построил дом на месте, где теперь находится наша усадьба.

Сохранились документы на приобретение дедушкой вышеуказанной усадьбы.

«1871 г. Декабря 15 дня.

Мы, нижеподписавшиеся Рязанской губернии и уезда Федякинской волости, села Константинова временнообязанные Г. Ануфьевой крестьяне Евмений Гаврилов Беликов, Никита Осипов Есенин, заключили сие условие в следующем:

1. Я, Беликов, отдал ему, Есенину, в вечное и потомственное владение свое усадебéнное место, доставшееся мне по разделу с братом моим Кузьмой Беликовым, данное по уставной грамоте мерки в длину по улице три с половиной, а глубину шесть с половиной сажень.

2. Я, Есенин, должен на отданной мне Беликовым усадьбе учредить по моему желанию всякого рода постройки, до которых мне Беликову препятствия не иметь.

3. В случае моей, Есенина, смерти, то все устроенное на оной усадьбе строение с находящимся в оном имуществом должно поступить в вечное и потомственное владение жены моей Аграфены Панкратьевой и наследникам моим по конец...»

На этой усадьбе, кроме избы и двора для скотины, ничего больше дедушка построить не смог. Не осилил он сразу купить огород. По сохранившейся расписке, приложенной к договору о покупке усадебной земли, дедушка уплатил за пятьдесят шесть квадратных метров пятьдесят три рубля серебром. Для того времени это было очень дорого. Земля у нас ценилась высоко. Село наше в те годы было стянуто мертвой петлей: с одной стороны — земля федякинского помещика, с другой — земля нашего духовенства, с третьей — непрерывной лентой следуют другие деревни (Волхона, Кузьминское) и четвертая сторона — Ока. Поэтому наше село не имело возможности расширять свои строения.

Земля, принадлежащая крестьянам, находилась вдалеке от села.

Избы в нашем селе лезли одна на другую. Крыши у всех соломенные, и частые пожары были бичом крестьян.

Умер дедушка Никита сорока двух лет от роду. После смерти дедушки бабушка Аграфена Панкратьевна осталась с малолетними детьми: два сына и две дочери. Основным доходом ее стали жильцы: художники, работавшие в нашей церкви, и монахи, ходившие по деревням с чудотворными иконами. Я не видела этих квартирантов, но в детстве Сергея они были: мать с Сергеем вспоминали о них.

Отец наш, Александр Никитич Есенин, мальчиком пел в церковном хоре. У него был прекрасный дискант. По всей округе возили его к богатым на свадьбы и похороны. Когда ему исполнилось двенадцать лет, бабушке предложили отдать его в Рязанский собор певчим. Отец не согласился, и вместо собора его отправили в Москву в мясную лавку «мальчиком».

Через два года бабушка проводила в Москву и второго сына — Ваню. Он стал жестянщиком, делал коробки из жести для конфет.

Через шесть лет отец наш стал мясником. Ему было восемнадцать лет, когда он приехал в село жениться. Матери нашей — Татьяне Федоровне — не было еще и семнадцати лет, когда она вышла замуж. Вскоре после свадьбы отец уехал работать в Москву, жена его осталась в деревне со свекровью. Через два года женился дядя Ваня. В доме стало две снохи. Начались неприятности. Дядя Ваня ничего не присылал домой. Отец же присылал все, что заработает, Аграфене Панкратьевне. Из-за этого между ней и нашей матерью были ссоры. Отец очень любил свою мать и не хотел даже слышать о разделе с нею. Тогда наша мать ушла из дома Есениных и не жила с отцом пять лет.

В 1904 году мать вернулась в дом Есениных, но мира не наступило, и так было до 1907 года, пока братья не разделились.

«1907 г. Марта 4 дня.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Рязанской губернии и уезда Кузьминской волости села Константинова братья Александр и Иван Никитичи Ясенины, по общему нашему и матери нашей Аграфены Панкратьевны Ясениной согласию разделили оставшееся по смерти нашего родителя Никиты Осиповича Ясенина движимое и недвижимое имущество, как-то: дом и все надворное строение, 2 коровы, 1 теленок, 1 свинья и 9 шт. овец, и 1 самовар, и родовая усадьба и на ней построенною ригою.

1. Я, мать, Аграфена Панкратьевна, взяла на свой пай дом и все надворное строение, 1 корову и 1 овцу.

2. Остальное имущество мы, братья, разделили между собою поровну. Усадьба, находящаяся между Андреем Хоботовым и Яковом Осипом Ясениным, должна поступить в вечное и потомственное владение отдельному брату от матери. Усадьба же, находящаяся между Иваном Архиповым Хреновым и Иваном Беликовым, и имуществом должна поступить и по смерти матери в вечное и потомственное владение брату, оставшемуся при матери.

Рига же, построенная на родовой усадьбе, должна быть все время общей, т. е. нераздельной. Огород же на родовой усадьбе должен быть разделен пополам. В случае же каких-либо недоразумений с усадьбой Беликова, то брат, построившийся на родовой усадьбе, не имел бы никаких препятствий построиться и другому брату. Если же на усадьбе построиться будет нельзя по каким бы то ни было причинам, то мы обязуемся купить совместно другую усадьбу, но ценою не свыше — 60 руб.

2 души земли разделили поровну, по 1-й душе на брата, так, чтобы каждый брат нес повинности за свою душу отдельно.

Я же, оставшийся сын при матери, обязуюсь кормить, поить ее и обувать, одевать по гроб ея жизни и по смерти похоронить.

В том и подписуюсь оставшийся сын с ней Александр Никитич Ясенин.

Я же, отдельный сын Иван Никитин Ясенин, должен выйти из дому не позже 1-го апреля 1907 г.

При сем находились свидетели крестьянин Иван Архипов Хренов.

Сергей Ионов Софронов.

Григорий Филиппов».

С 1907 года мы живем в доме, построенном нашим дедушкой Никитой Осиповичем Есениным, одни. Дом этот несколько необычен для нашего села. Он значительно выше окружающих его изб. Нижний этаж его не имеет ни одного окна. Он служит нам амбаром, ибо ни риги, ни отдельного амбара, ни других хозяйственных помещений построить на усадьбе невозможно.

В нижнем этаже нашего дома летом мы спим и туда же на лето выносим все сундуки с добром. У всех людей есть для летней поры амбары, где от пожара хранят все имущество, а у нас нет. У людей есть сады и огороды за двором, а у нас тоже нет. За нашим двором чужой огород, хозяин которого живет в Кронштадте, и этот огород арендует сосед, самый богатый мужик в нашем селе. Кур наших бьют там чем попало, если они пролезут в этот огород. У нас на старой усадьбе есть половинка огорода, там у нас есть и половинка риги, но ведь курица не знает, где наш огород. Это почти на краю села, и мы таскаемся с картошкой, с рожью вдоль села, другого хода у нас нет к избе.

Но из окон нашей избы есть на что посмотреть. Прямо перед глазами заливные луга, без конца и края, до самого леса. По лугу широкой лентой раскинулась Ока. Синее небо чашей опрокинулось над нами. Тишина, простор.

Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери).

Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям.

Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды. Он был одним из четырех сыновей константиновского крестьянина. В нашем малоземельном краю четырем молодцам в одном доме нечего было делать, поэтому наш народ всегда занимался отхожими промыслами. С началом весны у нас почти половина мужского населения уходила в Питер на заработки. Там они нанимались рабочими на плоты или на баржи и плавали по воде все лето.

Потом мужики объединились в артель. Почти все члены артели приобрели собственные баржи, и каждый стал сам себе хозяин.

Дедушка со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей. Семья его состояла из трех сыновей и одной дочери (нашей матери). В доме был работник и работ-

ница, хлеба своего хватало всегда до нови. Лошади и сбруя были лучшие в селе.

В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени.

По обычаю мужиков, возвращающихся домой с доходом, полагалось благодарить бога, и церковь наша получала от мужиков различную утварь: подсвечники, ковры, богатые иконы — все эти вещи мужики покупали в складчину. Дедушка был очень щедрым на пожертвования и за это был почитаем духовенством. В благодарность богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца под праздники в часовне всегда горела лампада.

После расчета с богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.

— Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! — говорил дедушка.— Нечего деньгу копить, умрем — все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение! Давай споем!

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют. Веселье продолжалось неделю, а то и больше. Потом становилось реже, в базарные дни по вторникам, а к концу зимы и вовсе прекращалось за неимением денег. Тогда наступали черные дни в Титовом доме. То и дело слышались окрики дедушки:

— Эй, бездомовники! Кто это там огонь вывернул?

И начиналась брань за соль, спички, керосин.

Все затихало в доме Титовых, когда дедушка был сердит.

Но по отношению к детям у дедушки всегда была большая доброта и нежность. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним. Вот один из них.

Дедушка с Сергеем спали на печке. Из окна на печку светила луна.

— Дедушка, а кто это месяц на небе повесил?

Дедушка все знал и, не задумываясь, отвечал.

— Месяц? Его туда Федосий Иванович повесил.

— А кто такой Федосий Иванович?

— Федосий Иванович сапожник, вот поедем с тобой во вторник на базар, я тебе покажу его — толстый такой.

Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел ему дедушка:

Нейдет коза с орехами,
Нейдет коза с калеными.

Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц.

С Питером у дедушки в это время все было кончено. Две баржи уничтожил пожар, а остальные утонули во время половодья. Дедушка был разорен, так как баржи не были застрахованы.

Теперь в доме Федора Андреевича наступил другой порядок. Старшего сына, дядю Ваню, он оставляет навсегда в городе, но жена его живет у дедушки. Среднего сына, дядю Сашу, он женит и оставляет дома, в деревне. Младший сын, дядя Петя, припадочный, для тяжелой работы не годится, он помогает по дому.

Хозяйствует сам дедушка. Он не гнушается никакой работой: возит барское сено, сам косит на покосах, молотит рожь и делает все, что нужно для дома. Каждое воскресенье он идет в церковь к обедне. В этот день отдыхает вся семья.

Пять лет Сергей жил у дедушки Федора. Дядя Петя был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки. Жена дяди Вани и дедушка рассказывали ему сказки. Дядя Саша посылал за лошадьми и брал его с собою в лес и в поле. Бабушка учила молиться богу и старалась покормить послаще.

Мать судилась с отцом, просила развод. Отец отказал в разводе. Она просила разрешения на получение паспорта, отец, пользуясь правами мужа, отказал и в паспорте. Это обстоятельство заставило ее вернуться к нашему отцу.

После смерти бабушки Аграфены, в 1909 году отец и мать решили построить себе новый дом (старый требовал большого ремонта). Теперь мы живем в новом доме. Я помню Сергея с той поры, когда он ходил в школу.

Утром я редко видела Сергея дома. Скучно тянулся день. Я играла в куклы, забавлялась с кошкой — матери некогда было интересоваться мною, она даже в избе мало бывала. Подруг у меня еще не было. Если я выходила гулять, то только около избы, недалеко от матери.

Каждый день я ждала Сергея из школы: тогда мать придет в избу собирать обед, будет разговаривать с ним, и мне веселее будет.

Сергей никогда не играл со мной, он всегда дразнил меня, и все-таки я любила, когда он был дома. Весной и летом Сергей пропадал целыми днями в лугах или на Оке. Он приносил домой рыбу, утиные яйца, а один раз принес целое ведро раков. Раки были черные, страшные и ползали во все стороны. Рассказывал, где и с кем он их ловил, смеялся, и мать становилась веселей.

Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ.

Потом позвали в гости отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа посоветовали учить его дальше и указали, где надо учиться. Отец наш пробыл три дня у нас и опять уехал. После отъезда отца мать часто ходила к Поповым, что-то шила, принесла маленький сундучок и уложила туда вещи Сергея. Потом к нашей избе подъехала лошадь, вошел чужой мужик, молились богу, и мать с Сергеем уехали, оставив меня дома с соседкой. Сергей уехал учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клепики.

Зимой жили мы вдвоем с матерью. Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне казались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели.

К рождеству на каникулы приехал Сергей, он показался мне очень высоким и совсем не таким, как раньше. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку.

Как всегда, он почти не говорил со мной, а читал или говорил с матерью. Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было. В это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

— Ты что смеешься-то?

— Да так, смешно,— ответил Сергей.

— И ты часто так смеешься, один-то?

— А что? — спросил Сергей.

— Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки. Дьячок-то какой был!

Сергей засмеялся.

— Я вот смотрю, ты все читаешь и читаешь. Брось ты свои книжки, читай, что нужно, а пустоту нечего читать.

Прошли каникулы. Сергей неохотно стал собираться в Спас-Клепики. Мать наказывала терпеть, слушаться учителей и советовалась после его отъезда с хромой Марфушой.

— Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся.

— Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий,— говорила Марфуша.

Матери становилось легче.

Вскоре после каникул Сергей приехал с нашими мужиками обратно. Сначала он сказал, что распустили всю школу, а на другой день заявил матери, что больше учиться не будет.

Мать очень перепугалась: как отец на это посмотрит? Они долго думали и наконец решили написать обо всем отцу. Сергей с надеждой, что скоро вернется, поехал в школу.

Школа Сергея в Спас-Клепиках, казалось мне, стоит где-то посреди воды, и в половодье дорога там очень опасна.

— Ах ты, господи, страсть-то какая, как они будут переправляться через воду? Спаси его господи, перенеси, царица небесная, через эту напасть! — ахала мать, зажигая лампадку.

Сергей приезжал к пасхе домой. В Спас-Клепиках у Сергея был большой друг Гриша Панфилов, и он рассказывал матери о семье Панфилова, о своих школьных товарищах.

Наконец через три года школа закончена. К осени отец вызвал Сергея к себе в Москву и устроил его работать в конторе у своего хозяина.

Из Москвы Сергей часто приезжал домой.

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило.

Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым, мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей скрывался в дверях дома Поповых. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им. Много девушек заглядывалось на наш небольшой уютный дом.

— Если ты женишься в Москве и без нашего благословения, не показывайся со своей женой в наш дом, я ее ни за что не приму,— наставляла мать.— Задумаешь жениться, с отцом посоветуйся, он тебе зла не пожелает и зря перечить не будет...

Спал Сергей в амбаре. Ключ от него он носил с собой всегда. Потом и я стала спать в амбаре.

Один раз я долго играла с ребятами и поздно пошла спать. Сергея не оказалось в амбаре: он ушел к

Поповым. Ночь была чудесная, лунная, я села у амбара и стала ждать. Вишни и высокие плети картошки были серебристо-голубого цвета. Мне было жутко одной, вдалеке от жилья, но небо с миллионами звезд было так прекрасно, что мне на всю жизнь запомнилась эта ночь. Наконец заскрипела калитка.

— Ты давно здесь? — спросил Сергей.

Потом он сел на мое место, и я заснула под насвистывание какой-то нежной песенки.

Я любила Сергея. С ним у нас дома было веселее, и сам он был красивый, нарядный. Но, мне казалось, он меня не любил. Сестру Шуру любили все. Когда ей было три-четыре года, Сергей с удовольствием носил ее к Поповым и там долго пропадал с ней.

Он плел ей костюмы из цветов (он умел из цветов с длинными стеблями делать платья и разных фасонов шляпы) и приносил ее домой всю в цветах. Я охотно бежала смотреть, как играют у Поповых в крокет, но стоило появиться Сергею — он немедленно прогонял меня.

— Я не пойду домой,— заявляла я.

— Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой,— тихо говорил он.

Иногда, жалея его, я уходила. Я понимала: ему стыдно, что у него такая сестра. Одевала нас мать в одинаковые платья с Шурой. Но моя беда в том, что платья эти часто висели на мне лохмотьями, а Шура всегда была опрятна и нарядна.

Кусты акаций каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо— церковь белая и стройная, как невеста, налево — дом дьякона, дальше — дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные разных яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями жил наш священник, отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване.

Больше пятидесяти лет отец Иван служил в нашей церкви. Он приехал к нам совсем молодым с маленькой дочерью. Несмотря на вдовство, мужики никогда не могли упрекнуть его в волокитстве за бабами. Правда, случалось, что иногда задерживалась обедня из-за того, что поп наш еще из гостей не приехал, но мужики понимали и не взыскивали с него.

Семья отца Ивана состояла из двух человек: дочери Капитолины Ивановны, девицы, и сына умершей сестры Клавдия. В доме отца Ивана всегда было еще много людей, которые ввиду долголетней службы у него считались тоже вроде своих.

Молоденькая девушка Настя, исполнявшая обязанности горничной, из-за бедности родителей выросшая в доме отца Ивана, хромая Марфуша-экономка, Тимоша Данилин (сын нищей вдовы), при содействии отца Ивана ставший студентом Московского университета, кухарка и работник.

Утонувший в зелени дом был очень удобно расположен внутри. Он состоял из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась «сени» — это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом до утра играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие — словом, вся жизнь протекала в сенях.

Сергей был почти ежедневным посетителем Поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и Сергей иногда ночевал там вместе с загулявшейся до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов.

Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору.

Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц — учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей — сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

— Ох, кума,— говорила Марфуша,— у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду,—говорит,— замуж за Сережку», и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

— Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: «Ты что же замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь». Умора, целый вечер они трунили друг над другом.

Однажды к именинам тети Капы готовили домашний спектакль. Сергей должен был играть возлюбленного молоденькой учительницы. Но сам он ни о чем дома не говорил, а Марфуша, как всегда, доложила матери.

— Ты приди, кума, поглядеть, уж есть хорошо, есть хорошо у них получается, оба они молодые, красивые. Сначала все целоваться стеснялись, а потом понравилось.

Я заранее стала приставать к матери, чтобы она и меня взяла с собой посмотреть представление.

Настал день именин. Санки, одни за другими, подъезжали к дому Поповых. Я сидела и смотрела в окно, как гости вылезали из санок. Вечером весь дом у Поповых засветился, и я очень боялась, что представление начнется без нас, а мать медлила, ей не хотелось, чтобы я шла с нею.

Наконец мать собралась идти. Мы пришли на кухню, где мать решила побыть до начала представления, чтобы не попасть на глаза Сергею. Когда началось представление, Марфуша повела нас в горницу.

В горнице было много народу, все сидели на стульях и смотрели в спальню тети Капы. В спальне горели две лампы, на стене были намалеваны деревья. Вдруг я увидела красивую девушку с длинными черными косами. Девушка играла в большой мяч и что-то пела. Я забыла обо всем, забыла, где я, и жадно смотрела на красивую девушку. Неожиданно мать потянула меня за руку, я оглянулась и увидела сердитого Сергея.

— Сейчас же уходите домой,— потребовал Сергей.

— Мы тебе что, мешаем? — спросила мать.

— Уходите сейчас же, иначе я уйду отсюда,— говорил Сергей.

Мы пошли домой. На крыльце встретилась Марфуша.

— Прогнал нас Сергей. Стесняется. Молодой,— сказала мать.

Много хороших дней в юности провел Сергей у Поповых. С годами он стал бывать у них реже. Но в каждый свой приезд в село он обязательно, как и в старое время, первым долгом направлялся к ним.

Однажды у нас шел разговор о колдунах. Разговор зашел потому, что бабы стали бояться ходить рано утром доить коров, так как около большой часовни каждое утро бегает колдун во всем белом.

— Это интересно,— сказал Сергей,— сегодня же всю ночь просижу у часовни, ну и намну бока, если кого поймаю.

— Что ты, в уме! — перепугалась мать.— Ты еще не пуганый? Рази можно связываться с нечистой силой. Избавь боже. Мне довелось видеть раз и спаси господи еще встретить.

— Расскажи, где ты видела колдунов? — попросил Сергей.

— Видела,— начала мать.— Я видела вместе с бабами, тоже к коровам шли. Только спустились с горы, а она тут и есть, во всем белом скачет на нас. Мы оторопели, стоим, ни взад, ни вперед; глядим, с Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы кричать, они к нам бегут, ну, мы осмелели, бросили ведры да за ней. Она от нас, а мы с шестами за ней, догнали ее до реки, а она там и скрылась в утреннем тумане.

Вечером Сергей пошел к часовне. Мать упросила его взять с собой большой колбасный нож, на всякий случай. На рассвете Сергей вернулся домой, бабы-коровницы разбудили его у часовни, так он и проспал всех колдунов.

Этим же летом случилась еще оказия. По селу прошел слух, что к кому-то летает огненный змей. Каждую ночь бабы видят его летящим над барским

садом. Разговору по этому поводу было много. Перебрали всех молодых вдовых баб.

— Господи, и какие бесстрашные, принимают нечистую силу, и хоть бы что.

— А ты узнаешь, что это нечистая сила-то?

— Ну, знать-то, понятно, все знают, только ты вот что скажи, не скоро справишься с ней.

И бабы рассказывали:

— Вот к Авдотье-то летал почти целый год. И если бы тетка Агафья не увидела, пропала бы совсем. Она встала на двор, только собралась выходить из избы-то, как вдруг все окна осветились; она к окну и видит, что у них в проулке он весь искрами рассыпался и идет прямо к Авдотье в избу, ну ни дать ни взять Микитка ее.

Отец Нюшки Меркушкиной в это время караулил барский сад. На следующий день Нюшка позвала меня за яблоками. Был уже глубокий вечер, когда мы направились с ней к барскому саду. Высокий забор не служил нам преградой. Привыкшие ко всяким приключениям, мы с ней не уступали в ловкости мальчишкам. Спустившись в сад, мы оказались в другом царстве. Высоко-высоко горели звезды. Яблони, поникшие под тяжестью плодов, казалось, дремали, невдалеке пылал костер. Семка, брат Нюшки, и его товарищ пекли картошку, отец в шалаше спал. «Вон яблоки, выбирайте из того вороха»,— указал Семка. Набрав яблок, мы уселись около костра и за разговорами не заметили, сколько прошло времени. «Петухи-то кукарекали, ай нет?» — спросил Семкин товарищ. «Рано еще»,— сказал Семка, и они продолжали спокойно лежать у костра на рваной дерюге. Вдруг петухи запели. Семкин товарищ поднялся, надел рукавицы и вытащил из костра горевшую головню. Повертев ею над головой, он закинул ее высоко в небо. Головня взвилась, падая, она ударилась о верхушки яблонь и рассыпалась искрами.

— Видела? — обратилась ко мне Нюшка.— Вот тебе змей огненный.

— А вы — ни гу-гу,— погрозил кулаком Семка,— мы хоть теперь уснем, а то бабы как чуть, так в сад лезут.

Дома я рассказала, как видала огненного змея.

Сергей хохотал до слез:

— Вот молодцы, додумались, и караулить не надо.

А мать ворчала:

— Паршивые, чего придумали, людей пугать понапрасну.

На троицын день мать разбудила меня к обедне. Нарядившись и собрав букет цветов, я пошла в церковь.

В церкви я стояла недолго. За время обедни я вместе с моими сверстницами лазила в барский сад за цветами. Потом мы долго гуляли, и, когда кончилась обедня, я со всеми вместе пошла домой.

Дома у нас все было убрано березой. В открытые окна вместе с весной лился праздничный звон с нашей колокольни.

Мать ждала конца обедни, чтобы собрать завтрак.

Самовар уже кипел давно.

Весна была чудесная, день был солнечный, и праздник был в избе и на улице. В окно я увидела, что к нам прямо из церкви идет Хаичка *. Мать не поверила, когда я сказала:

— Хаичка к нам идет.

— Это она к Ерофеевне. К нам ей незачем, — проговорила мать.

Но Хаичка пришла к нам.

— Здравствуйте, с праздником вас, — сладко заговорила Хаичка.

— Поди здорово, — отвечала мать, с любопытством глядя на Хаичку.

— Уж есть хорошо вы живете-то, — запела Хаичка, — и изба хорошая и храм божий рядом.

— Ты проходи, садись, — приглашала мать. — Да, у нас хорошо, — ответила она на хвалу.

— А где же, Таня, у тебя еще-то твои? — усаживаясь, спросила Хаичка.

— Мы все тут, — улыбнулась мать, оглядывая нас. — Сергей спит в амбаре.

— Хорошо, хорошо вы живете. Сынка-то женить не думаешь?

---

* Прозвище бабы, которая жила у нас в селе.

— Да нет, рано еще, не думали.

— Ну где же рано, ровесники его давно поженились, пора и ему.

— Не знаю, мы волю с него не снимаем, как хочет сам.

— А вы не давайте зря волю-то, женить пора. Вот Дарье-то желательно Соню к тебе отдать,— прибавила она другим тоном,— и жени! Девушка сама знаешь какая. Что красавица, что умница. Другой такой во всей округе нет.

— Девка хорошая, что говорить. Я поговорю с ним,— сказала мать.

— Ты поговори, а потом мне скажешь.

— Ладно, поговорю. Давай чай пить с нами.

Хаичка отказалась от чая.

После ее ухода мать послала меня будить Сергея. Сергей уже проснулся. Дверь амбара была открыта, и он, задрав ноги на кровати, пел. «Уж и жених»,— мелькнуло у меня в голове.

— Иди чай пить,— сказала я.

— Как? Обедня отошла уже? — спросил он.

— Давно,— ответила я и побежала домой.

За столом мать сказала Сергею о посещении Хаички.

— Я не буду жениться,— сказал Сергей.

Когда я пошла на улицу, мать остановила меня:

— Ты смотри, ничего никому не говори.

Хаичке мать ответила:

— Отец не хочет женить сейчас, еще, говорит, молод. Годок подождать надо.

Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье почти до самой реки. Вся усадьба была огорожена высоким бревенчатым забором, и ничей любопытный глаз не мог увидеть, что делается за высокой оградой. Высокие деревья, росшие по краям ограды, делали усадьбу красивой и таинственной. В годы моего детства владельцем этой усадьбы был Иван Петрович Кулаков, хозяин богатый и строгий. Ему принадлежал лес и половина наших лугов.

«Барин», «барское», «Кулаково» — то и дело склонялось мужиками и бабами. Для детей Кулаков был

страшнее черта. Красная рябина, свисавшая через забор, соблазняла и манила сорвать ее. Смельчаки залезали на забор за рябиной, но стоило кому-нибудь крикнуть: «Кулак, Кулак, лови», отважные похитители кубарем ссыпались с забора. Мне Кулаков казался чудовищем с черными длинными руками, и, когда кричали: «Кулак, лови», у меня мороз пробегал по спине. И вдруг новость: Кулак умер. Нам с Нюшкой очень хотелось видеть хоть мертвого барина, и мы в день похорон с утра дежурили у церкви. Было холодно и скучно. Мы внимательно осмотрели могилу барина, выложенную всю кирпичом, и не могли понять, для чего могилу сделали, как погреб. «Это чтобы дольше не сгнил»,— объяснила мне потом мать.

После Кулакова барская усадьба перешла по наследству к его дочери Кашиной Лидии Ивановне. При молодой барыне усадьба стала гораздо интересней. Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново. Мужа с ней не было. Говорили, что муж ее очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить. Молодая красивая барыня развлекалась, чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый, уродливый наездник. Откуда-то приехал опытный садовник и зимой выращивал клубнику.

Кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка и много разного люда появилось в усадьбе. К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.

Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник.

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.

Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме.

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.

— Ты нынче опять у барыни был?— спрашивала она.

— Да, — отвечал Сергей.

— Чего же вы там делаете?

— Читаем, играем,— отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: — Какое тебе дело, где я бываю!

— Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты,— продолжала мать,— нашла с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом.

Однажды за завтраком он сказал матери:

— Я еду сегодня на яр с барыней.

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать забеспокоилась. «Господи,— вырвалось у нее,— спаси его, батюшка Николай Угодник».

И как нарочно в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоем с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось мое стихотворение.

Две средние строфы говорили о том, что бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паро́м понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было. Желая развеселить мать, я прочитала свое стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней поехали вдвоем.

— Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойней было,— ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моем стихотворении. Сергей смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной «Зеленая прическа...»

Настала осень. Уехал Сергей, и мы опять погрузились в длинный зимний сон.

Весной этого же года я окончила нашу сельскую четырехклассную школу. Все лето я занималась с Тимошей Данилиным, который готовил трех мальчиков из нашего села для поступления в разные учебные заведения.

Сергей старался, насколько возможно, оградить меня от домашней работы, чтобы я имела время приготовить уроки. Он радовался моим успехам больше всех. Теперь я приехала в Москву. Осенью отец устроил меня в частную гимназию.

Я тосковала по дому и часто во сне видела себя дома, в деревне, и вслух говорила с матерью.

— Ты сегодня опять во сне капризничала с матерью, не хотела есть кислые сливки,— говорил отец.— Набаловала она вас, совсем испортила.

Оставшись одна, я молилась богу: «Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой!»

Жили мы с отцом очень скучно. Отец не знал, о чем со мной говорить, а я боялась его строгого взгляда. Наконец появился Сергей.

— Ну, ты не плачь. Я буду часто теперь ездить к вам,— говорил он.— Я знаю, трудно с отцом. А ты что-нибудь пишешь?

Я показала ему сказку о Кощее Бессмертном, написанную мною в стихах. Сергей похвалил меня. Он стал часто приходить к нам.

Ожидания Сергея сблизили нас с отцом.

— Ну вот, сегодня Сергей придет, а я масло принес, будем жарить картошку,— говорил отец, и лицо его становилось светлым.

За чаем мы все трое говорили и смеялись. Разговор был только о деревне, о наших людях.

— Да, как волка ни корми, он все в лес тянет,— говорил отец.— Тридцать лет с лишним, как я живу в Москве, а все не дома. И ты тоже, Сергей, приехала Катька, запахло домом, деревней, бежишь теперь к нам.

В сундуке у отца хранились вещи Сергея. Однажды отец открыл сундук и развернул чудесный ковер. На белом атласном коне сидел прекрасный юноша. Переднюю ногу коня обвила зеленая змея. Юноша занес копье над головой змеи. Ковер был сделан из шелка, атласа и бархата.

— Это называется панно,— объяснил мне отец.— Картина означает «Святой Георгий побеждает зло».

Пришел Сергей и унес с собой это панно.

— Подарок замечательной художницы,— сказал он.

Вскоре панно украли у Сергея. У отца даже слезы брызнули, когда он узнал о пропаже картины. Сергею он ничего не сказал, только горестно поник головою.

Еще у отца в сундуке лежало несколько книг Сергея. Это были Библия, Пушкин и Гоголь с хорошими иллюстрациями.

Однажды Сергей пришел в неурочное время и застал меня за игрой в куклы.

Я быстро сгребла куклы со стола, но было поздно. Сергей улыбнулся:

— Ты все еще играешь в куклы?

— Да,— ответила я,— не говори, пожалуйста, отцу.

— А что ты читаешь?

— У меня нет книг, и я ничего не читаю,— ответила я.

Через день Сергей принес мне целый узел лоскутов для кукол. Лоскутья были всех цветов, и шелк, и кружево, и бархат — все было там. И еще он принес чудесную книгу — «Сказки братьев Гримм».

Теперь из школы я бежала скорей домой. Меня ждали сказки и ленты.

В 1918 году гимназию, в которой я училась, закрыли. В нашей же школе, в Константинове, открыли пятый класс, и отец посоветовал мне учиться в пятом классе, чтобы не забыть, что знала. «А там видно будет»,— сказал он.

Пятый класс вела у нас Софья Павловна Прокимнова, молодая учительница, дочь священника из соседнего села Кузьминского. Учились в пятом классе одни мальчишки. Я была единственная девочка. Потом к нам в класс пришла еще одна девочка — Редина Маня. Она была моложе всех нас, очень маленького роста.

Однажды Софья Павловна предложила нам во время каникул устроить самодеятельный концерт для ребят. Она хорошо играла на гитаре. Вместе с ней мы разучили хоровые песни, подготовили сцену из «Мертвых душ» — приезд Чичикова к Коробочке. Мне поручили роль Коробочки.

В назначенный день нашего выступления в большом классе устроили сцену, сшили из чего-то занавес. И при открытии занавеса я одна сижу за столом в широкой черной юбке и в кофте с длинным узким рукавом. На голове у меня какой-то белый капор с кружевом. Лицо мне Софья Павловна сделала такое, что мать родная не узнала бы. Публика не скупилась на аплодисменты.

Спектакль был рассчитан только для учеников, но — боже мой! — мужики и бабы торчали на всех подоконниках. Класс был битком набит взрослыми. Ободренные успехом, мы поставили еще два спектакля.

Видя, с каким успехом проходят наши школьные спектакли, молодежь села под руководством Клавдия Петровича Воронцова решила организовать свой кружок самодеятельности. Под зрительный зал была оборудована огромная барская конюшня. Все было

хорошо, но в кружок вошли только три девушки. Причем ни одна из них не хотела играть старух. Тогда кружковцы поручили эти роли мне. Моя мать очень удивилась и сначала не хотела пускать меня (мне еще не было и четырнадцати лет), но ребята ее уговорили.

Наши спектакли шли с таким успехом, что нас стали приглашать в другие села. Однажды на репетицию к нам зашел наш деревенский коммунист Мочалин Петр Яковлевич. После репетиции он похвалил нас и предложил всем кружковцам вступить в комсомол. Все согласились, но я не могла сделать этого без разговора с матерью, да и годов мне не хватало.

Мать подумала и сказала:

— Раз такое дело, иди со всеми вместе, а богу молиться не обязательно в церкви, ты про себя молись, бог ведь знает, что теперь делается на белом свете.

На каждое комсомольское собрание обязательно приходил Мочалин.

После собрания мы пели песни и, довольные, расходились по домам.

Наши спектакли шли своим чередом.

В Октябрьские дни и Первого мая мы, комсомольцы, ходили с флагами по селу, пели «Варшавянку», частушки Демьяна Бедного:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов.

Бабы качали головами и ругались нам вслед: «Антихристы проклятые!» Мужики молча отворачивались и отходили в сторону при нашем приближении. Но нам в ту пору ничего не было страшно.

1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

— Долой буржуев! Долой помещиков! — неслось со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход.

Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во

время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.

Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех,— приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками.

Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:

— Она тебя просила, что ль, заступиться?

— Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! — говорил Сергей.

— А я вот что скажу — в драке волос не жалеют. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем.

Наутро пришла ко мне Нюшка.

— Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было.— И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала:— Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо разорить так, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.

Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а барскую конюшню переделали в клуб.

Все наши бабы везут своим мужикам в Москву продукты.

И меня мать послала к отцу вместе с бабами. Ехать в Москву надо пароходом, о поезде думать нечего, не сядешь.

Уселись мы в самом проходе, где отдают причал, мест больше нет нигде. Это третий класс. Ветер свищет и оттуда и туда. Пароход ползет, как черепаха. Ночь. Люди спят кто как может, а нам не до сна. Сквозит кругом, замерзли. Сидим на своих продуктах, как совы, сгорбатились, глазами хлопаем. До Москвы еще целые сутки плыть.

День кажется невероятно долгим. На утро следующего дня — Москва. Отец бесконечно рад моему приезду. Теперь каждый месяц я еду с кем-нибудь в Москву с продуктами. Врач советует отцу уехать из Москвы в деревню. Астма и сердце плохое.

— Последний раз съезди и скажи отцу, чтобы ехал домой. Как-нибудь проживем. Люди-то живут,— сказала мне мать.

Теперь отец дома, в Константинове. Он устроился работать в волисполком делопроизводителем. Кроме жалованья ему дают тридцать фунтов муки. С хлебом и у нас теперь плохо — неурожай.

В селе у нас организовали комитет бедноты. Председателем выбрали Ивана Яковлевича Уколова. Отца выбрали секретарем комитета бедноты.

Мать наша недовольна работой отца в комитете бедноты.

— Это что же? Людям по два-три пуда даешь муки, а мы тридцать фунтов получаем?

— Мы получаем хлеб за мою работу в волости, у нас есть корова, поэтому мы считаемся середняками. Хлеб дают многодетным, беднякам, бескоровным...

Весной организовали коллективный огород на бывших землях федякинского помещика. Я работала вместе с бабами на этом огороде. Отец вел весь учет. Он следил за очередью лошадей, он отмечал, кто сколько дней работал, выписывал семена и распределял урожай.

— Вот это хорошее дело,— говорил он,— каждый делает, что может, на что способен. Так жить можно!

Решили купить лошадь и заняться хозяйством. Достали заветный мешочек с деньгами (керенки, что прислал Сергей), сложили кофты, сарафаны и последнее поношенное пальто отца на барашковом меху с каракулевым воротником (подарок купца Крылова

со своего плеча). Все это отдали за лошадь. Лошадь привели молодую, красивую. Вскоре выяснилось, что она не любит женщин: только мать подойдет, лошадь прижимает уши и косит глазами. Значит, не подходи — укусит.

— Ох, чтоб тебя вихор поднял! — вздыхала мать.

Поехал отец в косу, хворосту на плетни привезти, лошадь наша до горы довезла, около горы встала и ни с места. И били и ругали. Ничто не помогало, пока не подъехала другая лошадь с возом дров. Лошадь с дровами поехала в гору, наша за ней. Так мы у горы и ждали всегда попутчика. С пустой телегой наша лошадь бежит хоть куда, с возом она не любит сворачивать с дороги, кроме как домой.

Однажды отец послал меня отвезти в поле навоз. До нашей доли я доехала хорошо, но дальше лошадь не пошла. Я отдала ей весь хлеб, что дал мне для нее отец, я била кобылу изо всей мочи кнутом, я ревела и опять била, ничто не помогало — кобыла стоит. Били ее все прохожие мужики и бабы, кобыла ни с места.

— Сваливай, Катя, навоз у дороги, отец сам потом возьмет его,— посоветовал сосед.

Только Маня, так звали кобылу, увидела, что телега пустая, она стала послушной, и я, как на рысаке, примчала домой.

Осень. Все убрали и в поле и в лугах. Отец с карандашом в руках сидит за тетрадью и что-то колдует.

— Ничего не выходит,— сказал он, поднявшись из-за стола.

— Чего не выходит-то? — спросила мать.

— Не хватит у нас до весны ни хлеба, ни кормов скотине. Надо срочно продавать лошадь. Вот съезжу еще за дровами — и с богом, в Рязань, на базар.

В следующую субботу я с матерью еду на телеге продавать Маню. Завтра базар. Остановились ночевать у своих деревенских. Утром мы на сенном рынке. Рынок большой, лошадей много продают.

— Ты постой тут, а я похожу, прицеនюсь, почем лошади,— говорит мать.

Ко мне подходят люди, спрашивают, сколько стоит лошадь, но я ничего не могу ответить до матери. Вернувшись, мать назначает цену. Есть покупатель, но он хочет попробовать лошадь, как она ходит в гору.

— Погоди немного, сейчас хозяин придет,— говорит мать покупателю.

Покупатель отходит. Мать думает вслух:

— Как же быть? Может, эта дура с пустой телегой пойдет в гору-то?

Запрягли нашу Маню, ударили кнутом, она и пошла шарахаться в разные стороны, но только не на гору.

Наконец лошадь продали.

Вечер. Отец сидит у окна, не отрывая глаз от улицы. Управится со скотиной и опять к окну.

— Тоскует о лошади, вот голова-то! — укоризненно говорит мать, когда отец пошел в ригу.

Отец по-прежнему работает секретарем комитета бедноты, это хорошо для него, он хоть какую-то пользу приносит людям, и люди уважают его. К нам часто заходят мужики. Они ведут с отцом беседы о странной, непонятной жизни, иногда просят его написать какое-нибудь ходатайство в сельсовет.

Почтальон Поля Царькова опять прошла мимо наших окон. Значит, ничего у нее для нас нет.

— Хоть бы ты, отец, в Москву к Сергею съездил, что же это — ни слуху ни духу нет от него? — сказала мать.

— Легко сказать — в Москву. Поезда переполнены, а Сергей, как ветер, поймаешь ли его в Москве,— говорит отец.

— Поймаешь не поймаешь, ехать надо,— ответила мать.— Может, он больной валяется, а мы тут прохлаждаемся.

Отец уехал в Москву.

Прошло три дня. По пыльной дороге, следом за чьей-то тощей клячей, сгорбившись, шагал наш отец домой.

— Пресвятая богородица, что же это? Ай что с Сергеем? — испуганно говорит мать, уставясь в окно глазами.

Мы с Шурой тоже прилипли у окна. Никто из нас не вышел отцу навстречу. Лошадь свернула с дороги к нашему дому. Мать как угорелая направилась к отцу.

— Сергей уезжал из Москвы, потому и не отвечал нам,— говорил отец,— а его письмо, должно быть, пропало на почте.

На следующий день мать допрашивала отца:

— Мерингофа-то ты видал?

— Видел,— отвечал отец.— Ничего молодой человек, только лицо длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея.

В конце лета 1920 года Сергей приехал домой. Это был самый длительный перерыв между его приездами в Константиново.

После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи, как хочешь. Все обносилось, а купить негде.

Здоровье отца пошатнулось крепко, душит астма. Он теперь не работает в учреждении, ухаживает за своей скотиной и делает все, что придется, по общественным делам.

За чаем Сергей спрашивает отца:

— Сколько надо присылать денег, чтобы вы по-человечески жили?

— Мы живем, как и все люди, спасибо за все, что присылал, если у тебя будет возможность, пришли сколько сможешь,— ответил отец.

Как на грех, привязался дождь. Вторые сутки хлещет как из ведра. После чая Сергей долго стоял у окна, по стеклу которого струилась дождевая вода. Потом он пошел к Поповым. Отца Ивана (священника) разбил паралич. Исчезли со стола медовые лепешки, замолкли песни, как вихрем унесло родных и гостей.

Дедушку Сергей застал на печке. Он хворает и ругает власть:

— Безбожники, это из-за них господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над богом, вот и живете, как кроты.

У Софроновых подряд умерли дед Вавила и дед Мысей. Мрут люди. У Ерофевной Ванятку убили на фронте. Тимоша Данилин тоже убит на фронте.

На другой день Сергей опять ходил к Поповым и долго беседовал с тетей Капой, она теперь сама топит печку и убирает по дому, но не унывает:

— Не все коту масленица, будет и великий пост. Вот мы и дожили до поста,— шутила она.— Никто из прежних людей у нас не бывает. Все друзья-приятели до черного дня. Тяжело сейчас всем, не до нас!

На третий день, перед отъездом, Сергей сказал мне, а скорее самому себе:

— Толя говорил, что я ничего не напишу здесь, а я написал стихотворение.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я последний поэт деревни».

После обеда я пошла с отцом провожать Сергея на пароход. Шли подгорьем, вдоль берега Оки. Прыгая через лужи, мы смеялись. День прояснился, и на душе стало светло...

Вскоре после отъезда Сергея и я распрощалась с Константиновом. Сергей взял меня к себе в Москву учиться.

А. А. ЕСЕНИНА

«ЭТО ВСЕ МНЕ РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ»

Широкой, прямой улицей вдоль крутого, холмистого правого берега Оки пролегло наше село Константиново. Не прерывая этой улицы, подошла вплотную к Константинову деревня Волхона, а дальше — большое село Кузьминское. Проезжему человеку, не жившему в этих местах, не понять, где кончается одно село и где начинается другое. Эта улица тянется на несколько километров.

В Кузьминском один раз в неделю, по вторникам, бывали большие базары. Сюда съезжались крестьяне со всех окрестных деревень. Здесь можно было купить все — начиная от лаптей и глиняных горшков до коров и лошадей; можно было узнать, где продается дом, кто в соседнем селе умер, кто женился, кто разделился. Вторник — всему миру свидание. На базар ходили и купить, и продать, и просто прогуляться, узнать новости.

В нашем Константинове не было ничего примечательного. Это было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением являлась церковь, стоящая в центре села. Стройные многолетние березы с множеством грачиных гнезд служили убранством этому красивому и своеобразному памятнику русской архитектуры. Вдоль церковной ограды росли акация и бузина. За церковью, на высокой крутой горе,— старое кладбище наших прадедов.

В правом углу кладбища, у самого склона горы, среди могильных камней, покрытых мохом и заросших крапивой, стояла маленькая каменная часовня, крытая тесом. Рядом с ней лежал старинный памятник-плита. На этой плите любил сидеть Сергей. От-

сюда открывался чудесный вид на наши приокские раздолья.

С церковью, с колокольным звоном тесно связана вся жизнь села. Зимой, в сильную метель, когда невозможно выйти из дома, раздаются редкие удары большого колокола. Сильные порывы ветра разрывают и разбрасывают его мощные звуки. Они становятся дрожащими и тревожными, от них на душе тяжело и грустно. И невольно думаешь о путниках, застигнутых этой непогодой в поле или в лугах и сбившихся с дороги. Это им, оказавшимся в беде, посылает свою помощь этот мощный колокол.

Этот же колокол извещал и о другой беде — о пожаре, но не в нашем, а в соседнем селе. Тогда удары его, в один край, часты и требовательны. Но люди наши, привыкшие к частым пожарам, не особенно страшатся их. Выйдя из дома посмотреть, какое село горит, постоят, поговорят с соседями и, если видят, что пожар не сильный, спокойно расходятся по домам. На помощь в соседние села бегут только при сильных пожарах и в том случае, если там живут родственники.

В воскресные и праздничные дни этим колоколом сзывали народ к обедне и всенощной.

Влево от церковных ворот, в глубине села, стоял один из двух домов нашего священника. Зимой в доме никого не было, но летом здесь весело и шумно проводила свой отдых учащаяся молодежь, которую любил и охотно принимал священник Иван Яковлевич Смирнов, или, попросту, отец Иван.

Завсегдатаями этой компании были: две сестры Сардановские, Анна и Серафима, и их брат Николай, какие-то дальние родственники отца Ивана, две сестры Северцевы, с одной из которых Сергей сфотографирован в 1910 году после игры в крокет, Тимоша Данилин — сын константиновской вдовы-нищенки, благодаря хлопотам отца Ивана поступивший в рязанскую гимназию и получающий стипендию, Клавдий Воронцов — круглый сирота, племянник отца Ивана — и наш Сергей. Кроме того, сюда частенько приходила молодежь из соседних сел.

За церковью, у склона горы, на которой было старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор,

вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживавший чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной, имение которой вплотную подходило к церкви и также тянулось по линии села.

Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа...», а слова в поэме «Анна Снегина»:

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад,—

относятся к имению Кашиной.

Нам, деревенским ребятам, это имение казалось сказочным. Дух захватывало при виде огромных кустов цветущей сирени или жасмина, окружавших барский дом, дорожек, посыпанных чистым желтым песком, барыни, проходившей в красивом длинном платье, или ее детей в соломенных шляпах с большими полями, резвившихся в саду.

Но видеть все это удавалось не часто. Ворота и калитка открывались редко, а бревна высокого забора так плотно прилегали друг к другу, что невозможно было найти щелочку для глаза.

Из мальчишек иногда находился смельчак, который залезал на этот забор, но стоило кому-либо крикнуть: «Кулак, Кулак, лови, лови», как храбрец кубарем скатывался вниз. Лишь одно упоминание имени прежнего владельца имения — Кулакова оказывало магическое действие еще долгие годы после его смерти.

На противоположной стороне села выстроились в ряд ничем не примечательные, обыкновенные крестьянские избы, за дворами которых тянулись узкие длинные полоски приусадебных огородов или садов. В числе этих домов против церкви стоял и наш дом.

Вот в этом селе мы родились и жили, здесь прошли молодые годы Сергея.

Жизнь на селе начинается рано. Летом, задолго до восхода солнца, часа в два-три, в тишине слышится позвякивание ведер. Это бабы отправляются доить коров. Коров у нас, как только схлынет половодье и можно натянуть канат на паром, переводят за реку на все лето, до самых морозов. Дождь, непогоду, стужу, жару — все переносят коровы под открытым небом, а вместе с ними переносят все это и бабы, по два-три раза в день переезжая доить их.

Отправляются они туда на четырехвесельных лодках-плоскодонках. Переехать с бабами в лодке интересно. Это устная газета; здесь сообщаются все новости: кто уехал, кто приехал, что привез, что купил, кто кого сосватал, кто с кем подрался. Река широкая, и, пока переедут, о многом успевают посудачить.

Часа через полтора-два, с восходом солнца, возвращаются домой, но спать уже некогда. Нужно выгнать в стадо овец, накормить свиней, принести из реки воды, истопить печку. Да мало ли у бабы дел по хозяйству!

В одиннадцать-двенадцать лет и сестра и я были уже настоящими помощницами матери. Мы умели жать, полоть, доить коров, носили воду, полоскали на речке белье.

У Сергея все обстояло иначе. В своей автобиографии он пишет, что ездил с мальчишками в ночное поить лошадей на Оку. Но его помощь в работе нужна была, пока он жил у дедушки Титова. Вернувшись домой, он оказался без дела. У нас не было лошади. Единственно, где он мог помогать,— в лугах на сенокосе. И эту работу Сергей очень любил.

Раздольны, красивы наши заливные луга. Вокруг такая ширь, «такой простор, что не окинешь оком». На горе, как на ладони, видны протянувшиеся по одной линии на многие километры села и деревни. Вдали, в дымке, синеют леса.

Сенокосная пора. Это самое горячее и самое веселое время в жизни села. Первыми в луга отправляются мужики, переводятся лошади, запряженные в телеги. На телегах — покосные домики-шалаши, сун-

дуки с одеждой и продуктами, косы, грабли. Шалаши размером почти все одинаковы — должны поместиться на телеге, но вид их разный. Вот шалаш, плетенный из хвороста и крытый соломой, вот весь тесовый, а вот тесовый, крытый железом. Делают шалаши не на один год, в них приходится ежегодно жить по две-три недели, потому и старается каждый жилье свое сделать получше.

В течение всего сенокоса мужики и мальчишки живут в этих шалашах и домой не приезжают. Но бабам приходится ежедневно уходить домой. Нужно приготовить обед на следующий день, убрать скотину, подоить коров.

Как правило, в сенокос питаются хорошо. Хлопот хозяйке много. Нужно напечь блинов, драчен, пирогов, наварить хороших щей. К покосу, как к празднику, запасают яйца, сало, творог, покупают мясо или режут барана или теленка. Причин хорошего питания две: во-первых, работа тяжелая, а во-вторых, обедать приходится на лугах, у всех на виду. Вот и получается: нагрузит баба полную корзинку-севалку еды, подхватит ведро с молоком или кувшин со щами и тащит километра три-четыре. Измучается, а отдыхать некогда: нужно разжигать костер, кипятить чайник, варить в котелке кашу-разварушку на завтрак. Скоро должны вернуться мужики, которые с рассвета косят.

Часа в три-четыре бабы отправляются копнить сено. Приятно посмотреть на баб, рассыпавшихся по лугу в ярких, пестрых нарядах. На сенокос у нас одеваются по-праздничному, особенно молодежь. Раскрасневшиеся, слегка растрепанные, ловко орудуя граблями, складывают они одну копну за другой. Работая у всех на виду, нужно показать себя в работе ухватистой, особенно девкам на выданье. К их работе пристально присматриваются будущие свекор или свекровь.

Нигде так весело не отдыхают, как на сенокосе, хотя минуты отдыха коротки, и усталь нигде не проходит так быстро, как здесь. Вспоминая покосное время, люди забывают о том, как ломило от тяжелого труда поясницу, как прилипали к спине рубахи, покрывшиеся от пота солью.

И у Сергея, испытавшего этот труд, остаются в памяти картины яркие, легкие и дорогие:

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей[1].

Все луга наши делились на несколько частей, и каждая из них имела свое название: Белоборка, Журавка, Долгое, Первая пожень и другие.

Обычно уборка сена начинается с Первой пожени, расположенной ближе к селу, сразу за косой, которая лежит поперек луга от самой реки до старицы и отделяет покосные луга от заречья, где пасется скот до сенокоса. Окончив уборку здесь, вся выть перебирается на другой, более дальний участок. На новом месте устанавливаются шалаши, удлиняется бабья дорога.

Для уборки сена крестьяне объединяются по два-три двора. Лошадные принимают в пай безлошадных, но они должны за лошадь предоставить людскую рабочую силу или доплатить деньгами. Объединение это вызвано тем, что ни у одного хозяина не наберется сена столько, чтобы можно было сметать стог, а стога у нас мечут большие.

Бескрайне широки и поля наши. Всюду, куда ни глянешь, граничат поля с горизонтом, и, кажется, не обойти, не измерить их, не счесть богатств, которые соберутся с них. Но густо заселен наш край. В редкой деревне насчитывается менее сотни домов, а в больших селах, как Федякино, наше Константиново или Кузьминское, их по шестьсот — семьсот. В каждом таком селе живет около двух тысяч человек. И режутся эти поля на узкие полоски, как в бедной многочисленной семье режут праздничный пирог.

Так обманчивы приволье и ширь наших полей. Все они измерены русским лаптем, пропитаны соленым крестьянским потом.

Вот здесь, на этих просторах, протекало детство Сергея. Эти места имел он в виду, когда писал:

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий [2].

Я родилась в 1911 году. Мое появление на свет было не особенно обременительным, так как из всех моих старших братьев и сестер осталось в живых только двое — пятнадцатилетний Сергей и пятилетняя Катя.

Из своего детства я помню лишь отдельные эпизоды, примерно лет с четырех.

Я рано научилась петь и пела все, что пела наша мать, а песни ее были самые разнообразные.

Очень ясно запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. С ним был один из его товарищей, имя которого казалось мне необыкновенным,— Леонид. Я никак не могла решиться выговорить его и обращалась к Леониду: «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид.

В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке.

Когда я появилась с ним на улице, вся соседская детвора окружила меня и стала просить поиграть. Но где там поиграть! Я сама-то не решалась вынуть его из сетки.

Вышли из дому Сергей и Леонид. Брат, улыбаясь, говорит: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он забросил его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше, и я боюсь, что он не вернется.

Помню приезд Сергея в мае—июне 1917 года. Была тихая, теплая, лунная ночь.

Дома на селе, освещенные полной луной, казались какими-то обновленными, а на белой церковной колокольне четко отпечатались густые узорные тени от ветвей берез. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром.

Напившись чаю, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой

стороны — луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать.

Эта картина мне хорошо запомнилась.

До 1921 года Сергей приезжал домой каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино. Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось. Брат был самым дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва семенящей лошадке, как приезжали обычно другие, а на лихом извозчике, как тогда говорили, на «лихаче», а то и на паре. Приезжал Сергей, и в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу раскрытые чемоданы, на окнах книги. Даже воздух в избе становился другим.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумага, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленоватым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов.

Остались в моей памяти некоторые песни, которые он, устав сидеть за столом во время работы, напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как ходил Сергей: легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать звал коротко — ма, отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», потому что так называли отцов деревенские жители, и даже мы с Катей звали отца папой.

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом.

Часты и страшны были пожары в наших местах. Усадебные участки очень малы, дома тесно прижимались друг к другу; кое-где можно было увидеть два дома под одной крышей. Крыши преимущественно соломенные, поэтому пожары уничтожали иной раз по нескольку десятков домов сразу.

В сухую погоду крестьяне всегда торопятся с уборкой хлеба, и почти все трудоспособное население работает в поле. В такие дни на селе становится тихо и безлюдно.

И вот 3 августа 1922 года в жаркий солнечный день произошел один из самых больших и страшных пожаров, которые мне приходилось видеть.

Нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от самосада. В течение нескольких минут его рига превратилась в гигантский костер. День был ветреный, и огонь распространялся с такой быстротой, что многие, прибежав с поля, застали свои дома уже догорающими.

А на следующее утро, с красными глазами от слез и едкого дыма, который курился еще над обуглившимися бревнами, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы.

В это утро по своему пожарищу бродили и мы. Вместо нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы стаскивали в одну кучу вынесенные из дому наполовину обгоревшие вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

В доме, который сгорел, были проведены самые благополучные и спокойные годы жизни нашей семьи.

Вспоминая нашу прошлую жизнь, мы всегда представляем ее себе именно в этом доме.

Этот дом очень любил наш отец. Выстроенный на деньги, заработанные тяжелым трудом, дом был его единственной собственностью, куда он, прожив всю жизнь в людях, старался вложить каждую копейку.

Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Тяжел труд мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на куски.

Во время революции лавка купца Крылова, в которой много лет работал наш отец, перешла в государственную собственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не стало, и лавку закрыли. В городе отцу больше нечего было делать, и он возвратился домой, в деревню.

С молодых лет отец страдал астмой. Домой он вернулся совсем больным человеком.

Нелегко ему было и в деревне. Прожив всю жизнь в городе, приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в его возрасте было уже нелегко.

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. В голубых выразительных глазах отца всегда можно было прочитать его настроение. Он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами, как со взрослыми, и не допускал никаких непослушаний. Но зато, когда у отца было хорошее настроение и он улыбался, то глаза его становились какими-то теплыми, и в их уголках собирались лучеобразные морщинки. Улыбка отца была заражающей. Посмотришь на него — и невольно становится весело и тебе.

Иногда отец пел. Он обладал хорошим слухом, и мальчиком лет двенадцати пел дискантом в церковном хоре на клиросе. Теперь у отца был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой...»

Слова из этой песни у Сергея вошли в «Поэму о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой...

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой.

В 1922—1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители наши построить новый дом не могли. Лишение отцовского заработка, его болезнь и неприспособленность к крестьянской жизни, голод 1920—1921 годов и, наконец, пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег присылать очень трудно...» И в конце письма: «Отцу и матери тысячи приветов и добрых пожеланий, им я буду высылать тоже посылки...»

Отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили старую маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в огороде с тем, чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до конца 1924 года, так как строиться начали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся после пожара, и кровать. Но стоило распахнуть маленькое оконце — и перед глазами вставала чудесная картина: кругом яблоневые и вишневые сады.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика.

У соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви в наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям, так как им нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печь, ухаживали за скотом, убирали дом, носили воду. Из-за того, что мы жили на огороде, редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них.

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже в пожилом возрасте она пыталась ходить в ликбез, но усталые руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, но, если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь! Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же бессознательно прививала нам любовь к литературе. С младенческих лет мы слышали от нее прекрасные сказки, которые она рассказывала нам артистически, а подрастая, узнавали, что песни, которые она пела, зачастую были переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов.

В мае 1924 года Сергей вновь приехал в Константиново.

Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу, к коровам.

На полдороге к реке нас догнали соседки, и одна из них, обращаясь ко мне, сказала:

— Шура, ваш Сергей приехал. На паре!

Вбежав в дом, я застала радостную суматоху. Мать уже хлопотала у самовара. Так всегда, едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами — Александр Михайлович Сахаров. Кто он, я узнаю позже, а сейчас мне не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею.

— А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! — восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

— Вот видишь, какая вымахала,— говорит Катя.

По-видимому, у них был какой-то свой разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей, Сергея — жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье.

Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед незнакомым приехавшим гостем.

Мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя? Но Сергей счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни теснота. Лишь

позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать...

В разговорах за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина», я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый, тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде, а в начале августа он снова приехал в Константиново.

Теперь Сергей спал в амбаре. Ему нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

Несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им были написаны стихотворения «Отговорила роща золотая», «Возвращение на родину».

Работа, работа, работа... Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня своим видом и колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При

малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный, серебряный звон.

Как-то я попросила взять меня на рыбалку.

— А ты что, тоже хочешь рыбу ловить? — удивленно спросил он и засмеялся.— Ну что ж, пойдем.

От правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили мы из дому часов в девять-десять, добирались до места и начинали рыбачить уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом.

Часто в свободные вечера мы втроем выбирались со своего огорода, шли на село, за церковь, на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером! На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются, как в зеркале. Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

Когда пароход войдет в шлюз и огни его сольются с мигающими огнями шлюза, мы уходим на село.

После долгого трудового дня спокойно спит село. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдания» да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Недолго ходим мы по селу, молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, себе под нос, напевать какую-либо

мелодию. А уж если запоет один, то как же умолчать другому! Каждый из нас знает, что́ поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, складно.

Ближе к полночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своими делами.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды кончала от нечего делать четвертый класс и год уже не училась.

Однажды ему пришла в голову мысль отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно потому, что там был интернат. Он долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо, так как сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей.

В октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно поселилась у Гали Бениславской в Брюсовском переулке, так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята. В этой комнате мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

Два больших восьмиэтажных корпуса А и Б, носящие название «дома «Правды», стояли во дворе дома за номером 2/14.

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелись Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента Москвы-реки и золотились купола Новодевичьего монастыря.

Соседи у Гали были все молодые и всем интересующиеся. Очень любили здесь стихи и декламировали их, что называется, на ходу. Например, кто-то куда-

то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из полюбившейся всем тогда «Повести о рыжем Мотеле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы.
Ой, как
Сердце в них колотится.
Ой, как косы их усы...

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же.
Прикажете плакать?
Нет, так нет...

Но больше и чаще всего звучали в нашей квартире стихи Сергея. В это время он то и дело присылал нам с Кавказа все новые и новые свои стихи. Ему в ту пору на Кавказе работалось, по его словам, как никогда хорошо.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: «От Вас получили из Батуми 3 письма сразу. Стихотворение «Письмо к женщине» — я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им — до чего хорошо!..»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными густыми сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами.

Вечерами Галя приносила иногда домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями-крестьянами. Писем этих было так много, что они не умещались на нашем столе, и Галя располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко пересказывала Гале содержание его, и она синим или красным карандашом в верхнем углу ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя, Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Га-

ле красивую деревянную коробку, старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам очень пригодились.

Коробку сразу же приспособили под косметические принадлежности. А когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, пошел в ход и самовар. За этим самоваром Сергей сфотографирован с нашей матерью. Снимок был сделан у нас в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мать тогда приезжала навестить нас, и Сергей во время их мирного чаепития читал ей поэму «Анна Снегина».

Мать, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, никогда не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала и глубоко чувствовала стихи сына и многие из них запоминала при его чтении наизусть.

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту.

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он в сущности так и не имел до конца своей жизни...

Зато много было у Сергея рано свалившихся на него забот о нас — близких ему людях.

Отец, переехавший после революции жить в деревню, не мог прокормить себя и свою семью. К этому еще голод, затем пожар в 1922 году. Жилось нам трудно, и забота о нас легла на плечи Сергея.

Кроме того, с переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было 23—25 лет! Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Сергей на Кавказе очень много работает и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «...Я очень соскучился по Москве, но как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура. Как Екатерина и что слышно с домом...»

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи с тем, чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илье было лет 20, родители у него умерли, и в деревне жить ему было трудно. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, прижился в нашей семье, был привязан к Сергею и стал в сущности членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже некуда было положить лишнего человека — даже на полу.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя. Она была для него своим, близким человеком, занималась издательскими делами Сергея.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспылив, он тотчас же отходил — сердиться долго не мог.

В нашем доме не терпели таких уменьшительно-ласкательных слов, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит руку тебе на плечо или на шею, и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от какого ласкательного слова.

Сергей был всегда подтянутым, собранным, опрятным. Любил хорошо, со вкусом одеться. Любил чистоту и порядок в доме, на своем рабочем столе. Впрочем, если говорить в прямом смысле, то рабочего стола у него не было. В нашей маленькой комнате в Брюсовском переулке он писал стихи за ломберным или за обеденным столом.

Сергей был человеком общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много.

Редкий день проходил у нас без посторонних людей. В конце февраля 1925 года Сергей приехал в Москву с Кавказа всего лишь на один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие-многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. И вольно там или невольно, но все окружающие его близкие ему люди жили его интересами, а подчас и настроениями. Захотелось Сергею в театр, и все, кто был около него в эту минуту, охотно шли за ним.

По вечерам у нас часто читались стихи, шли жаркие споры о литературе. Пелись хором песни.

Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Очень любил Сергей песню «Прощай жизнь, радость моя...» и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Была у него еще одна любимая песня — «Это дело было летнею порою».

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас, вижу его, подперевшего щеку рукою, полузакрывшего глаза. И, как сейчас, слышу негромкую, полную то тревожной, то светлой печали, протяжную песню оренбургских казаков «Молодка, молодка молоденькая...»

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить.

В одной квартире с нами жила молодая одинокая женщина-врач. Она часто проводила со мной целые вечера за раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-нибудь картинки из книги, а потом раскрашивали красками. Раскрашивали же мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в ее вела дверь, завешенная огромным шелковым шарфом. С этим шарфом когда-то танцевала Дункан.

Как-то раз, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже, на другом листе, красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку.

Надписи к этой «выставке» у меня сохранились.

Очень много Сергей читал. Он внимательно следил за всеми литературными новинками. На ломберном столике, на тумбочке у нас всегда лежали помимо книг последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг».

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он охотно и живо подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни. То случалось в пору, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от них, и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

В середине июня 1925 года Сергей женился на Софье Андреевне Толстой-Сухотиной — внучке Льва Николаевича Толстого — и переехал к ней на квартиру в Померанцевом переулке.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке здесь ему было неуютно и нерадостно.

И чуть ли не в первые дни женитьбы он пишет Вержбицкому: «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде: и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...» Сергей очень любил уют, «уют свой, домашний», где каждую вещь можно передвинуть и поставить, как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью.

В первой половине июля 1925 года Сергей уехал в деревню, или, как мы говорили, домой. Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дому то на сенокос к отцу, где помогал ему косить, то уезжал с рыбацкой артелью километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови удача», которое было написано там же, в деревне, в нашем амбаре, приютившемся в вишневом саду.

Находясь в этот последний свой приезд в деревне, Сергей написал и стихотворение «Видно, так заведено навеки...», относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.

Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Но не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он приехал оттуда весной. Тогда он был бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания на Кавказе. Но работа не утомила его, а, наоборот, прибавила ему энергии, окрылила его. Теперь же он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным, крайне раздраженным.

В квартире стояла какая-то настороженная тишина. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей: Сергей, Соня, Катя, я и Илья. Иногда к нам заходил Василий Федорович Наседкин. В то время он ухаживал за Катей. Его любил Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сергея и Сони, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры,

приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне он относился, как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы принялись считать. Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда...» и «Я красивых таких не видел...»

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

— Пойди, посмотри, какое я пальто купил,— говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входили в моду, но именно фасон-то мне и не нравился.

— Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера,— не задумываясь, высказала я свое удивление.

— Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь,— с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги. Но мое необычное поведение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядываясь ко мне, понял, почему я притихла.

— Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

— Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дому, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливая мои ботинки. Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотографии Сахарова и Орлова, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком настроении мы и засняты. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

На одном из снимков Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

В 1925 году мне было четырнадцать лет, но в семье меня все считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было и у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, мне многого не говорили, скрывая от меня разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила к ним, в доме было тихо и спокойно, только скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дому, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней придирается, так как обычно в таком состоянии Сергей придирался к людям, которые его раздражали, и для меня было большой неожиданностью, когда, после долгих уговоров сестры, Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Ему отвели отдельную хорошую светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

В клинике с первых же дней Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Анатолий Мариенгоф и его жена Никритина, артистка Камерного театра. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей с Мариенгофом были в ссоре и лишь незадолго до того они помирились. Сергей не ждал их прихода и был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Условия в клинике действительно были для него тяжелы. Здесь всю ночь не гасили свет в комнатах, и двери палат всегда были распахнуты настежь. Особенно тяжелы для Сергея были дни посещений, так как его комната была рядом с входной дверью в отделение, и все навещающие больных проходили мимо его комнаты и заглядывали к нему.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял решение не возвращаться к Толстой и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

По его планам, в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был обрадован такой вестью. Он был привязан к Василию Федоровичу, и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но он в тот же день возвращался обратно. На этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в клубе дома Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Сони: она, Наседкин и я. Часов в 7 вечера пришел Сергей с Ильей. Он был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать. Уложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свиданья», вышел из квартиры и Сергей, захлопнув за собой дверь.

Мы с Соней сразу же выбежали на балкон. Был тихий, теплый вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снежок. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих.

Я видела, как уселся Сергей на вторые санки. И вдруг у меня к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

— Прощай, Сергей!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой и помахал рукой.

Пушистый снежок тихо падал и падал, запорашивая шапку и меховой воротник распахнутой шубы Сергея.

Таким я видела Сергея в последний раз.

Н. П. КАЛИНКИН

В ОДНОМ КЛАССЕ

С Сергеем Есениным мы вместе ходили в Константиновское начальное училище. Школа наша была небольшая — всего четыре класса. Помещалась она почти напротив дома Есениных. Из учителей мы особенно любили Ивана Матвеевича Власова. Он занимался с нами во втором и четвертом классах. В первом и третьем классах занятия проводила его жена, Лидия Ивановна.

Иван Матвеевич баловства особого не допускал. Строговатый был. Но сил в нас много вкладывал. Бывало, скажет: «Надо учиться прилежно, чтобы вам пастухами не быть». Известное дело, ведь тогда пастуха и за человека не считали.

Есенин уже тогда выделялся среди нас. И учителя и мы, ученики, любили его за прямоту и веселый нрав. Был он первый заводила, бедовый и драчливый, как петух. Это он, верно, писал о себе позднее в стихах:

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой [1].

Но Есенин не только был мастер на разные выдумки и шалости. Одарен он был ясным умом. Отвечал на уроках бойко. Особенно когда читал стихи Некрасова, Кольцова и других поэтов. Надо сказать, что Иван Матвеевич стремился привить нам, деревенским ребятам, любовь к родной литературе. Была у нас и школьная библиотека. По тем временам неплохая. Имелись в ней книги Пушкина, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Лермонтова, Тол-

стого, стихи крестьянских поэтов Кольцова и Никитина.

Есенин любил читать. Если увидит у кого-нибудь новую книгу, так весь и загорится и уж каким-нибудь образом, но заполучит ее.

О том, что Есенин сочиняет стихи, мы впервые узнали в третьем или четвертом классе. Как-то раз зимой он пришел в класс и, подав учителю клочок бумаги, на котором что-то было написано, сказал:

— Посмотрите, это я сам сочинил.

Он стал приносить такие бумажки со стихами довольно часто. Показывал их больше Ивану Матвеевичу. А тот, бывало, возьмет бумажку и читает, а иногда, не посмотрев, положит себе в карман и сердитым голосом скажет:

— Ты, Есенин, лучше занимайся, а этим делом не очень увлекайся.

Не предполагал он тогда, что Есенин в будущем станет большим поэтом.

Наверное, поступал Иван Матвеевич так еще и потому, что побаивался, как бы это не помешало учебе Есенина. Одно время, помнится, у него не очень клеилось дело с арифметикой. Правда, на выпускных испытаниях в 1909 году все обошлось благополучно. Есенин вместе с другими лучшими учениками класса по окончании Константиновского училища получил Похвальный лист, несколько книг и портрет Гоголя: тогда отмечали столетие со дня рождения Гоголя.

После окончания Константиновской школы пути наши разошлись. Есенин уехал учиться дальше в Спас-Клепики, а потом в 1912 году к отцу — в Москву.

Меня же родные отдали в ученики на молочный завод в село Аграфенина Пустынь, где я прожил три года.

Вновь мы встретились с Есениным только в 1915 году. Шла мировая война. Наступило время и нам призываться. Есенин из Петербурга приехал в Константиново. Призывались мы в Рязани.

Прежде чем отправиться в Рязань, в деревне устроили нам проводы. Гульнули мы тогда напоследок крепко. Понятно, не с радости, а больше с горя.

Война к этому времени унесла из константиновских семей уже не одного кормильца. Был вместе с нами и Есенин. Он хорошо передал наше настроение в стихотворении «По селу тропинкой кривенькой...»

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,
А теперь пора гульнуть».

Из Рязани после призыва меня направили в Кострому.

Позднее мне приходилось встречаться с Есениным, когда он приезжал к нам в село из Москвы навестить отца и мать. Бывал он в Константинове почти каждый год.

Н. И. ТИТОВ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЕСЕНИНА

Сергей Есенин — мой троюродный брат. Его дед Федор Андреевич и мой дед Матвей Андреевич Титовы были родными братьями и жили по соседству...

В 1904 году мы с Сергеем стали ходить в школу, в первый класс.

Наша школа была деревянная, одноэтажная. Широким коридором она делилась на две неравные половины. В одной, большой, половине помещались первый и третий классы вместе. В другой — второй и четвертый, тоже вместе. Один и тот же учитель обучал в классе то одну, то другую группу ребят. В первый класс ежегодно поступало не менее сотни ребят, а оканчивало четвертый около десятка. Среди выпускников редко бывали одна-две девочки, чаще их совсем не было.

В школе учили читать, писать, проходили грамматику, арифметику, включая простые дроби, а также изучали закон божий. Учебный день в школе начинался с пения «Отче наш». Пели всей школой.

Во время великого поста школьники говели. Отец Иван отпущение грехов производил очень быстро. Мы по одному подходили к батюшке, он покрывал нам голову епитрахилью, быстро задавал несколько вопросов и тут же подсказывал ответ — только успевай повторять. Спрашивал он у всех одно и то же:

— В бога веруешь? Говори — верую. Отца с матерью почитаешь? Говори — почитаю.

Еще несколько вопросов, и мы уходили с миром...

Сергей Есенин был среди школьников коноводом. Я как сейчас помню его во главе большой ватаги мальчишек. Сергей чуть сутулый, в темном пальтишке и с палкой в руках. Ватага делала набеги на чужие сады и огороды, играла или просто балагурила, катясь темной массой по улице села в сумерки...

Летом 1904 года мне и Сергею стали доверять лошадей — мы ездили в ночное на луга и в очередя. Ездить в очередя приходилось в петровки, когда лошадей на луг не пускают перед покосом, а пасут на полях. Чтобы лошади не потравили рожь или овес, в помощь конюхам отправлялось ежедневно больше сотни мальчишек. Помогать конюхам было очередной обязанностью всех, кто имел лошадей. Отсюда и название — очередя.

Приведя на луг свою лошадь, мальчишки часто оставались там ночевать. Спали прямо у костра или в землянках конюхов, которые находились неподалеку от кургана. Этого места крестьяне избегали, о конюхах шла дурная слава конокрадов.

Выезд в ночное, несмотря на утомительность, мальчишкам нравится. Потому что им, как взрослым, доверяют лошадей. А ведь в ночном и волки нападают на скот, и лихие люди могут угнать хорошего коня. Привлекательна и мальчишеская сплоченность, и самостоятельность.

В первый день выезда в ночное мальчишки выбирают атамана. Он будет за старшего. Но чтобы атаман не зазнавался, каждый мальчишка сразу после выборов должен ударить его в спину кулаком и локтем.

Нам, мальчишкам, запрещалось общаться с конюхами. Но это еще больше притягивало к их таинственным землянкам. Мы часто бывали там. Катались на самых резвых, конечно чужих, лошадях, слушали рассказы конюхов у костра, помогали пасти лошадей...

Около костра мы особенно любили слушать сказки. Рассказывали многие, но чаще всех и наиболее интересно рассказывал сказки сосед Сергея Есенина Алешка Гришин.

Сидим мы вокруг костра обычно на коленях и слушаем, не шелохнемся, когда рассказывает Алешка.

Природный сказитель был Гришин, мог рассказывать свои удивительные сказки без конца, а мы — без конца их слушать...

С окончанием школы образование константиновских подростков завершалось. Дальше большинство из них отправлялось в город мальчиками в купеческие лавки или учениками на фабрики. Так и я в 1908 году попал на московский завод, и мы с Сергеем расстались.

Е. М. ХИТРОВ

В СПАС-КЛЕПИКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Сергей Есенин с 1909 по 1912 год учился в Спас-Клепиковской второклассной церковно-учительской школе, где я был в то время учителем русского языка и литературы.

Помню, как привезли его к нам в школу, как он держал экзамен, показав удовлетворительную подготовленность. Помню, как, поселившись в школьном общежитии, он вскоре убежал домой, в Константиново, чем встревожил нас всех, так как родное село его отстояло от Спас-Клепиков верст на шестьдесят. Спустя несколько дней родители привезли беглеца. Мы его приняли, взяв с него слово без спросу не отлучаться.

Итак, Есенин снова был водворен к нам в школу и в школьное общежитие. Освоился с обстановкой, с товарищами и с учителями довольно скоро. Первые два года ничем из среды своих товарищей не выделялся. Наравне со всеми выполнял учебные задания, дежурил по классу, по кухне, по столовой, спальне и т. п.; наравне со всеми ходил ко всенощным, обедням, наряжался в стихарь, читал шестопсалмие. Церковную службу и пение любил, хотя сам пел плохо. Всегда был весел и жизнерадостен, и этим был приятен. Правда, этим же и досаждал: в классе во время уроков не посидит смирно, постоянно пересмеивается, переглядывается, и чуть что — фыркнет на весь класс и разразится самым неудержимым смехом. Но, в общем, с учителями был корректен и деликатен. В проступках не оправдывался, выслушивал выговоры, а иногда и «проборцию» смиренно, как виноватый. Приятен был и тем, что ходил всегда

чистый, опрятный. Не любил только стричься. В целях гигиены мы требовали от своих учеников стрижки наголо. Есенин с большим неудовольствием подчинялся необходимости расстаться со своими кудрями. Играл с товарищами чрезвычайно бурно, не щадя ни себя, ни своей одежды...

Село Спас-Клепики — торговое. Здесь еженедельно собирались большие базары. Родители учеников, желая повидаться со своими детьми, обычно приноравливали поездки к базарным дням. В такие дни наши ученики один за другим отпрашивались «на базар», т. е. повидаться с родственниками. Есенин, приезжал ли кто к нему или не приезжал, непременно шел на базар и там пропадал надолго.

За школьной усадьбой протекала маленькая речка Совка, и наши ученики зимой устраивали на ней каток. Есенин любил кататься. Как только кончались уроки, он направлялся на каток и там оставался до ночи, пропускал обед, чай — все забывал.

Стихи Есенин начал писать в первый год своих занятий. Об этом говорили его товарищи по классу. Но мне он стал приносить их только со второго года обучения. В школе было много стихотворцев, некоторые были чрезвычайно плодовиты, закидывали меня ворохами своих «произведений». Часто приходилось принимать особые меры, чтобы умерить их пыл, особенно когда чувствовалась охота смертная да участь горькая. Поэтому и Есенина я слегка поощрял, но относился к его стихам поначалу сдержанно. Стихи его были короткими, сначала все на тему о любви. Это мне не особенно нравилось. А на другие темы стихи были, как мне казалось, бессодержательными. К тому же главные свои занятия по литературе и стилистике я относил к третьему году обучения.

Вот тогда Есенин и выдвинулся среди других школьных стихотворцев.

Он стал особенно усердно заниматься литературой. Занятия его были шире положенной программы. Он много читал. Особенно любил слушать мое классное чтение. Помню, я читал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие произведения в течение нескольких часов, но обязательно все целиком.

Ребята очень любили эти чтения. Но, пожалуй, не было у меня такого жадного слушателя, как Есенин. Он впивался в меня глазами, глотал каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном. Сам я очень любил Пушкина. Пушкиным больше всего занимался с учениками, читал его, разбирал и рекомендовал как лучшего учителя в литературе. Есенин полюбил Пушкина. В начале года он подражал разным писателям, ни на чем долго не останавливаясь. Мне долго казалось, что его произведения легкомысленны, представляют собой лишь набор рифмованных предложений без поэтического значения. Но уже одно то, что он легко справлялся с рифмой и ритмом, выделяло его из среды товарищей.

Первое произведение, которое меня поразило у Есенина, было стихотворение «Звезды». Помню, я как-то смутился, будто чего-то испугался. Несколько раз вместе с ним прочел стихотворение. Мне стало совестно, что я недостаточно много обращал внимания на Есенина. Сказал ему, что стихотворение это мне очень понравилось, что его можно даже напечатать.

Вскоре к нам в школу приехал со своей обычной ревизией епархиальный наблюдатель Рудинский. Я показал ему стихотворение Есенина. Рудинский в классе, при всех расхвалил поэта и дал ему несколько советов. В результате этого у Есенина появилось новое стихотворение «И. Д. Рудинскому».

Обладая хорошими способностями, Есенин порой к занятиям готовился на ходу, прочитывая задания в перемену. За хорошими ответами не гонялся. Большинство же его товарищей были более усидчивы и исполнительны. Вот над теми, кто был особенно усерден и прилежен, он часто прямо-таки издевался. Иногда дело доходило до драки. В драке себя не щадил и часто бывал пострадавшим. Но никогда не жаловался, тогда как на него жаловались часто. Бывало, приходят и говорят: «Есенин не дает заниматься». Вхожу в класс поговорить с ним. Где он? Никто не знает. Проходит некоторое время. Все уже успокоились. Но вот в моей квартире отворяется

дверь, и тихо входит кто-то. Оказывается, это Есенин, с листком бумаги. На листке стихи. Конечно, мое дело начать с «проборции»: «Стихи стихами, а зачем людям заниматься мешаешь?» Смиренно молчит, всегда молчит. В конце концов мы примиряемся, и он вылетает из квартиры снова радостный, светлый.

У нас был обычай: выпускной класс фотографировался вместе с учителями на память. У меня таких снимков много. Но нет фотографии выпуска 1912 года. Класс был недружный. Однако Есенин снялся с выпуском 1911 года, то есть за год до своего окончания. Эта фотография у меня сохранилась.

Есенин приносил мне много своих стихотворений, которые я складывал в общий ворох ученических работ. Все они были написаны на отдельных листиках. Перед окончанием Есениным нашей школы я попросил его переписать стихи в отдельную тетрадь. Есенин принес мне одну тетрадь с четырьмя стихотворениями. Я сказал, что этого мало. Тогда он принес еще тетрадь с пятью стихотворениями. Эти две его тетради у меня сохранились[1]. Есть в них и поразившие меня когда-то «Звезды».

Когда Есенин окончил курс и мы с ним расставались, я ему советовал поселиться в Москве или в Питере и там заниматься литературой под чьим-нибудь хорошим руководством. Совет мой он принял и выполнил, и я довольно скоро имел удовольствие читать его стихи в «Ниве». Еще большее удовольствие он мне доставил тем, что прислал мне первый свой сборник стихов «Радуница» с надписью: «Доброму старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову от благодарного ученика, автора этой книги». Но я оказался слишком невежлив и неделикатен. Он от меня не получил ни ответа ни привета. Как это случилось — до сих пор не даю себе отчета... Есенин, конечно, обиделся на меня. И все-таки в 1924 и 1925 годах он присылал мне поклоны с кем-нибудь из знакомых. Обещал даже приехать в Спас-Клепики. Летом 1925 года он приезжал к себе на родину в село Константиново и, когда уехал оттуда, снова прислал мне поклон и сожаление, что не заехал в Спас-Клепики.

Н. А. САРДАНОВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮНОСТИ

Во время каникул я жил в доме дальнего моего родственника, священника села Константинова, Ивана Смирнова.

В доме его всегда бывало много народу. Уютные маленькие комнатки и необычайная приветливость их хозяев очаровывали всякого, кто туда попадал. Хозяйство в доме вела дочь священника — тетя Капа, крестная мать Сережи. Здесь я впервые и увидел приятного и опрятного одиннадцатилетнего мальчика Сережу, который был на два с половиной года моложе меня.

В долгие зимние вечера располагались мы возле лежанки, которую топила соломой старая служанка Захаровна. Интересно было смотреть, как заложенный в лежанку пук соломы с треском разгорается. Захаровна неторопливо повествует нам, как она была на Ходынке в памятный день коронации царя Николая. Незабываемое впечатление остается и от этого рассказа, и от всей обстановки. А за окном гудит снежная метель. Вошел церковный сторож дядя Алексей, подошел под благословение к дедушке, который говорит ему: «Ну, как вьюга-то, не унимается? Ты, вот что, Алеша, потрудись, поблаговести. Не ровен час, кто теперь и в дороге. Заблудиться может, а на колокол-то, глядь, и прибьется к жилью».

Вскоре призывно, размеренно гудит мощный колокол. Да, было во всем этом что-то удивительное, таинственное.

Примерно спустя год после нашего знакомства Сергей показал мне свои стихотворения. Написаны

они были на отдельных листочках различного формата. Помнится, темой всех стихотворений была сельская природа.

И зимой и летом в каникулярное время мы с Сережей постоянно и подолгу виделись. Иногда вместе работали на сенокосе или на уборке ржи и овса. Особенно интересно проходило время сенокоса.

Нельзя было не залюбоваться своеобразной красотой сенокосной поры. Глаз не оторвешь от работающего хорошего косца. Вот идет первая коса — Василий Черный. Под полинялой рубахой без пояса отчетливо выделяются очертания широкой груди, плотных плеч. Как будто играючи, легко ходит коса, описывая широкую дугу. Нарядные бабы с песнями без устали ворошат сено.

К вечеру, порядком уставшие, идем к шалашам. В сумерках запалили костры: в котелках варится неизменная пшенная каша. В ожидании ужина лежим у костров, иногда слушаем занятные сказки. В тишине ночи слышится лошадиный топот. Пастухи гонят табун лошадей. Но для чего они разогнали его изо всех сил? В темную ночь мчатся с такой невероятной скоростью? Что-то дикое, первобытное слышится в этом шуме. Вдруг среди шалашиков у костров из ночной темноты вылетает красавец конь с развевающимися хвостом и гривой. Одно мгновенье — и конь передними ногами с ходу попадает в костер; испуганный, садится на задние ноги. Из-под передних копыт вылетают искры, освещая коня, его блестящие глаза и раздувающиеся ноздри. Ко́злы и котелок с кашей далеко отлетают, а конь бешеным галопом мчится дальше среди шалашей.

Кровь стынет в жилах при мысли о том, что может произойти! Ведь на крышах шалашей подвешены острые косы...

Возвращаясь с сенокоса, переезжаем на пароме Оку и — купаться. Отплывем подальше, ляжем на спину и поем «Вниз по матушке, по Волге...»

Помню, незадолго до начала империалистической войны Ока была запружена в Кузьминском. Течение реки прекратилось, и она сделалась намного шире. Решили мы первыми переплыть реку. Было это на казанскую. Поплыли мы с правого берега на левый.

Плыли трое: московский реалист Костя Ровичь, Сергей и я. Костя был спортсмен-пловец, а мы с Сережей плавали слабо. Условия для проплыва были неважные: дул небольшой встречный ветер, и вдобавок на правом берегу возле риги стоял дедушка и не особенно приветливо махал нам дубинкой. Костя перемахнул реку легко и быстро. Вторым был Сережа, а я кое-как добрался с малой скоростью.

Уже вечером увидел я Сергея. Он сидел в дверях нового дома дедушки и на гладкой сосновой притолоке что-то писал. Это было стихотворение о нашем проплыве.

Заканчивалось оно так:

Сардановский с Сергеем Есениным,
Тут же Ровичь Костюшка ухватистый
По ту сторону в луг овесененный
Без ладьи вышли на берег скатистый.

Увидев это, я, недолго думая, написал ниже свое четверостишие:

То не легкие кречеты к небу вспарили,
Улетая от душного, пыльного поля.
На второй день казанской Оку переплыли
Рабы божии — Костя, Сережа и Коля.

Исход соревнования пока был не ясен, и Сергей написал еще ниже:

Когда придет к нам радость, слава ли,
Мы не должны забыть тот день,
Как через Оку мы плавали,
Когда не с.... еще олень.

По народному поверью, в ильин день (20 июля ст. ст.) олень довольно легкомысленно ведет себя в водоемах, так что после этого купаться уже нельзя.

Любили мы в то время читать произведения А. И. Куприна. Дедушка выписывал журнал «Нива», и к этому журналу приложением было полное собрание сочинений знаменитого писателя. Сергей обратил мое внимание на следующие строки в рассказе «Суламифь»: «И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в изумрудной чаше подобно хорошо сказанное слово».

Сам Есенин, как видно, очень пристально следил

за разговорной речью окружающих. Неоднократно он высказывал свое восхищение перед рассказчиками сказок, которых ему приходилось слушать ночами во время сенокоса. Помню я его восторг, когда получилась неожиданная игра слов в нашей компании.

В юношеские годы Есенин поражал необыкновенной памятью. Он мог наизусть прочесть «Евгения Онегина» или свое любимое «Мцыри».

Описание нашей деревенской жизни было бы неполным, если умолчать о том, как мы проводили престольный праздник — казанскую.

В дом дедушки приходили и приезжали многочисленные гости из окрестных селений. Преимущественно это были семьи духовенства, учительства и разных сельских служащих. Всего набиралось человек пятьдесят-шестьдесят. Молодежь еще днем затевала игры, ходила купаться. А вечером, после торжественного ужина, пела, танцевала. В ту пору мне казалось, что у нас бывало много интересных и талантливых людей.

Из кузьминских приходили Орловы, Брежневы, Соколовы, Белянины. Все они были музыкальны и отлично пели. На баяне играл семинарист из Кузьминска Федя Фаддеев. Ведь в то время мы не были избалованы музыкой, звучащей ныне по радио, в кино и т. д. Вдобавок Федя играл не только безукоризненно грамотно, но умел извлекать из баяна мягкие, чарующие звуки... Этот высокий, худощавый, неказистый паренек, казалось, все забывал во время игры. Сергей всегда с восторгом слушал его. Передавали мне, что, уже будучи известным поэтом, Есенин как-то просил, чтобы Федя сыграл для него в Москве. Об общем уровне исполнительства можно было судить по одобрительной улыбке знаменитого солиста Большого театра Г. С. Пирогова. (Семья Пироговых жила в селе Новоселки — в восьми километрах от Константинова.) Потом мы, очарованные, слушали, как две миловидные барышни Северовы под собственный аккомпанемент на гитаре пели простенькие песенки.

Освобождаем середину комнаты для пляски. Кузьминский псаломщик Василий Иванович Орлов, мощ-

но и ловко сложенный, напоминающий Ивана Поддубного, с какой-то непостижимой плавностью и легкостью, лихо вприсядку пляшет русскую. Вместе с ним пляшут, размахивая платочками, или сестра его Мария Ивановна или тетя Капа.

Вот плясун остановился, подбоченился и задорно поет:

Усы мои, усики перестали виться,
Жена моя барыня стала чепуриться.
Жена моя барыня стала чепуриться.
Чепчик носит, чаю просит,
Нельзя подступиться.

Потом Федя переходит на плавную, широкую народную мелодию, и чей-то тенор задумчиво запевает:

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зеленый ты мой.

А хор страстно вступает:

Ты зачем рано цветешь,
Осыпаешься.

Уже с большей взволнованностью поет запевала:

Ты зачем рано цветешь,
Осыпаешься.

На этот раз вместе с ним, давая красивую вспомогательную мелодию, поет чей-то звонкий женский голос, а хор мощно подхватывает:

Сколь далеко, милый мой,
Собираешься...

Пение это захватывает всех присутствующих. Поют все как бы в забытьи. На предельно высоких нотах звенят женские голоса, тенора прекрасно выделяются на подголосках, альты с плотными, густыми тембрами дополняют красочность исполнения, а громоподобные басы придают песне необычайную широту и мощность.

Конец вечеринки проходит в танцах, но Есенин танцами не интересовался, и танцующим я его не видел...

В моем представлении решающим рубежом в жизни Сергея Есенина был переезд его в Москву.

Это произошло в 1913 году — на восемнадцатом году его жизни. В этом же году и я, окончив среднюю школу, поступил в Московский коммерческий институт (ныне институт имени Плеханова). Сергей работал в типографии И. Д. Сытина на Пятницкой улице и жил в маленькой комнатке одного из домов купца Крылова — Б. Строченовский переулок, дом 24. Приходилось нам с ним живать и в одной комнате, а когда разъезжались, то все же постоянно виделись друг с другом. Городская жизнь, конечно, была значительно бледнее, чем деревенская.

Здесь, в маленькой комнате, мы проводили время в задушевных беседах, с восторгом вспоминали о раздолье на константиновских лугах или на Оке. Сергей с упоением рассказывал, как видел приезжавшего в типографию М. Горького, как изящно оформляет свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт. Часто он мне читал свои стихи и любил слушать мое любимое стихотворение «Василий Шибанов» А. К. Толстого.

В свободное от работы время Сергей часто бывал у своего отца, который жил в другом доме на том же дворе в молодцовской, т. е. общежитии для работников. Отец был старшим по молодцовской.

Мне помнится, что первое стихотворение Есенина было напечатано в детском журнале «Проталинка». Полученный гонорар он целиком истратил на подарок отцу. Вообще в этот период отношения Сергея с отцом были вполне хорошими.

Конечно, вначале Александр Никитич неодобрительно относился к литературным занятиям Сергея, но свое мнение он высказывал без всякой резкости...

В первые годы своей московской жизни Есенин вел довольно простой образ жизни. Бывал в молодцовской, где резался с ребятами в «козла». Любил он и наши студенческие компании. Обычно в неучебный день мы, студенты, проводили время главным образом в пении хоровых песен.

На этих вечерах Есенин беседовал с Гриней Лапиным о любимом товарище, который умер в Спас-Клепиках. Лапин был жителем этого села.

На этих же вечеринках исполняли мы скрипичные дуэты. Был у меня товарищ — прекрасный

скрипач, ученик профессора Блиндера. А мою незатейливую игру на скрипке Есенин мог слушать без конца и особо восторгался мелодичной «Славянской колыбельной песней» Неруды.

Почему-то у меня осталось яркое воспоминание о том, как мы с Есениным сидели на галерке и слушали оперу «Фауст» в театре Зимина...

К этому времени относится и учеба Сережи в Университете Шанявского. Однажды взволнованный Есенин сообщил мне, что профессор Сакулин обещает побеседовать с ним о его стихах. Вскоре Сергей с восторгом рассказывал мне, что профессор особенно одобрил его стихотворение «Выткался на озере алый свет зари...»

Он прочитал мне это стихотворение, и я впервые почувствовал, что в стихах Есенина появляется подлинная талантливость.

Однако я недоумевал, как мог профессор одобрить стихотворение, посвященное мне: на мой взгляд, оно было просто слабое.

Упоенье — яд отравы,
Не живи среди людей,
Не меняй своей забавы
На красу бесцветных дней.

Все пройдет, и жизни холод
Сердце чуткое сожмет,
Все, чем жил, когда был молод,
Глупой шуткой назовет.

Берегись дыханья розы,
Не тревожь ее кусты.
Что любовь? Пустые грезы,
Бред несбыточной мечты [1].

Последняя картина моих воспоминаний такая.

В Константинове, на усадьбе дедушки, за ригой, на высоком берегу Оки, все на той же узенькой скамеечке сидим мы с дедушкой вдвоем. «Вот, Никола,— говорит он мне,— подолгу сижу я здесь. Все вспоминаю, что было... а и что будет. Всегда ношу я с собой эту книжицу — поминанье. Всех своих родных и знакомых усопших я записываю. Вот записан твой отец, вот мать твоя — моя племянница Вера, бра-

тишка твой Володя, твоя сестра Анюта. А в конце, ищи и читай, записан твой приятель». Беру я это потрепанное поминанье, перелистываю потемневшие странички, закапанные воском от свечей, и на одной из последних читаю написанное неровным, старческим почерком: «Раб божий Сергей. Сын Александра Никитича и Татьяны Федоровны Есениных. Был писателем. Скончался в Петрограде, в гостинице. На Ваганьковском кладбище похоронен». Далее дедушка добавил: «Не стал я писать, какою смертью-то он умер. Нехорошее это дело, прости ему господи». Голос старика дрогнул — прозрачная слезинка тихо скатилась по морщинистой щеке и затерялась в белоснежных волосах бороды...

С. Н. СОКОЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Знакомство мое с Сергеем Александровичем Есениным относится к 1910 году. Я в то время жил в соседнем селе Кузьминском. В селе Константинове я дружил с Клавдием Воронцовым, сиротой, который воспитывался в доме константиновского священника Смирнова — человека интересного и самобытного.

Как-то зайдя к Клавдию Воронцову, я застал его оживленно спорящим с бойким, задорным пареньком лет тринадцати-четырнадцати. Это и был Сергей Есенин. Припоминаю, что по внешнему виду Есенин тогда мало чем отличался от прочих константиновских ребят. Ходил он обычно в белой длинной рубахе с открытым воротом. Кепку носить не любил. В руках или под рубахой у него почти всегда была какая-нибудь книга. Это последнее обстоятельство выделяло его среди сверстников.

Встречались мы в те годы с Есениным и во время наших поездок из Константинова на учебу. На лошадях вместе ехали до Дивова, затем поездом до Рязани. Я тогда учился в Рязанской духовной семинарии. В Рязани мы расставались. Сергею надо было ехать дальше по узкоколейке в Спас-Клепики, где он занимался в церковно-учительской школе.

В 1912 году, по окончании школы в Спас-Клепиках, Есенин уехал в Москву. В это время, вплоть до 1919 года, мне с ним встречаться не приходилось. В августе 1919 года я переехал из села Кузьминского в село Константиново учительствовать.

С тех пор я встречался с Есениным почти каждое лето, когда он приезжал в село навестить отца и

мать и отдохнуть в родных местах (не был он в Константинове только в 1922—1923 годах, когда выезжал за границу).

Первые годы после революции, приезжая к себе домой, Есенин был весь какой-то просветленный. Пробыв обычно несколько дней с домашними, он наведывался ко мне в школу «на огонек». Ходил по школе, вспоминая ребячьи похождения, забредал в свой класс. С любовью рассказывал о своих первых учителях Лидии Ивановне и Иване Матвеевиче Власовых.

Твердого распорядка дня Сергей Александрович не придерживался. Любил он и один побродить по лугам, и вместе с артелью порыбачить на Оке. А то пропадет: день, другой его нет. Укроется в своем любимом амбарчике (он и сейчас сохранился за домом Есениных) и пишет. Работал он, когда приезжал в Константиново, с увлечением. Здесь им были написаны многие замечательные стихи. Часто напишет новое стихотворение, просит послушать. Хорошо помню, как он читал отрывки из «Поэмы о 36».

Много в нем было энергии. Любил он веселую шутку, любил нашу русскую песню. Помнится, в 1924 году как-то вечером я сидел и играл на рояле (был у нас в школе инструмент, конфискованный в революцию у каких-то помещиков). Смотрю, кто-то лезет в окно. Ба, Есенин! Спрашиваю: «Ты чего это, брат, в окно? Или дверь забыл, где находится?» А он смеется: «Так от моего дома окно ближе, чем дверь». Потом подсел ко мне. Попросил играть, а сам запел... Пел он негромко, как бы для себя, но вкладывал в песню всю душу. В этот вечер он долго пробыл у нас. Настроение у него было хорошее. Играл с моим сыном Александром. Взял его на руки и долго пестовал. В шутку сказал ему: «Вот подрастешь к будущему году, я приеду, и мы с тобой около берез побегаем». (Сыну моему тогда шел седьмой месяц.)

При встречах мы часто засиживались с Есениным допоздна. Он расспрашивал о жизни односельчан, о школе, вспоминал годы, проведенные в Константинове...

Мне приходилось неоднократно бывать свидетелем

трогательной заботы Есенина о своих родителях и сестрах. В одну из моих поездок в Москву, кажется, это было в 1920 году, отец Есенина Александр Никитич просил передать письмо сыну. Я разыскал Есенина на квартире, в Богословском переулке. Он там жил вместе с Мариенгофом. Когда я пришел, Есенин усадил меня пить чай и стал расспрашивать о жизни в деревне, об отце и матери. Мариенгоф все время молчал. Его явно тяготило мое присутствие. Я передал Есенину письмо от отца. Он его тут же прочитал. Было видно, что он рад весточке от родителей. Есенин сразу написал ответ отцу. Вместе с письмом он передал деньги, которые просил ему вручить.

Вторично в Москве моя встреча с Есениным произошла на квартире у Галины Бениславской (в Брюсовском переулке) в день Парижской коммуны — 18 марта 1925 года. В этот день мы, трое односельчан — я, Клавдий Воронцов и Сергей Брежнев, приехав в Москву, решили навестить Есенина. Предварительно позвонили ему по телефону. К телефону подошла Екатерина Александровна. На мой вопрос, дома ли Есенин, она сказала, что его дома нет, и поинтересовалась, кто его спрашивает. Когда же узнала, что звонят константиновские, то попросила подождать минутку. Через некоторое время к телефону подошел Есенин. Он очень обрадовался нам и велел немедленно приезжать и обязательно захватить с собой гармошку. При всем желании гармошки нам разыскать не удалось, мы пришли без нее. Есенин встретил нас в коридоре. Обнимая, провел в комнату и начал хлопотать вместе с сестрами, как бы лучше угостить земляков.

Пока мы сидели, подошли Леонид Леонов, Всеволод Иванов и какие-то дамы. В необычной для нас обстановке мы почувствовали себя немного стесненными. Это быстро заметил Есенин и все внимание уделил землякам, стремясь сделать наше пребывание у него по-домашнему простым. Есенину в тот вечер очень хотелось попеть и послушать гармошку. Он позвонил кому-то, и вскоре гармошку привезли. Долго в этот вечер мы пели русские песни и наши рязанские частушки.

Последний раз мы встречались с Есениным летом 1925 года. В один из погожих дней мы отправились веселой компанией в Кузьминское, на шлюз. Были тут и однокашники Есенина по Константиновской школе, и наши учителя, и просто отдыхающие дачники. Шумная процессия растянулась по дороге. Есенин приотстал. Я подошел к нему, и всю дорогу до шлюза мы шли вместе. Есенин был сосредоточен и, как мне показалось, чем-то удручен. Какие-то заботы и грустные думы одолевали его.

Разговор зашел о литературе, о писательской среде. Есенин заговорил о недоброжелательном отношении к его творчеству со стороны некоторых критиков и части писательской среды. «Все травят меня, донимают мелочными укусами, не дают спокойно работать. Что я им сделал?» — говорил он. Потом заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах и даже процитировал:

Тяжелое детство мне пало на долю.
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской[1].

Есенин слушал внимательно, а потом сказал:

— Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин — вот истинно русская душа, вот где вершины поэзии.

Было немного странно смотреть на этого до глубины души русского человека, шагающего в модном заграничном костюме по пыльной деревенской дороге.

И еще осталось от этой беседы ощущение того, что жизнь нашего земляка в столице — не из легких.

В Кузьминском мы пробыли до вечера. Возвращались домой всей гурьбой. Есенин дурачился вместе с нами, пел частушки. Чувствовалось, что в эту минуту грустные думы отлегли у него от сердца.

Запомнилась еще одна встреча в этот приезд Есенина. Как-то под вечер мы сидели у Клавдия Воронцова. Пришел и Есенин. Мы попросили его

почитать стихи. Он охотно согласился, ибо такими просьбами односельчане его редко донимали. Как это ни покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки, в своем родном селе был как поэт мало известен. Все здесь смотрели на него, как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомить константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое «внимание» к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен[2].

А. Р. ИЗРЯДНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Познакомилась я с С. А. Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И. Д. Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его не взлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы с ним Университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913—1914 годы [1].

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. «Москва неприветливая — поедем в Крым». В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма, что делать, я не знала. Пошла к его отцу

просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете «Новь», журналах «Парус», «Заря» и других.

В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты пой ему больше песен». В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года приехал в Москву, уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой... Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго».

В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаха и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: «Под пятой, пятой хоть яйцо кати». Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в «Эстетике» [2]. В «Эстетике» на них смотрели как на диковинку...

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

— У тебя есть печь?

— Печь, что ли, что хочешь?

— Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?»

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

...Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: «Что? Почему?», говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына.

Г. Д. ДЕЕВ-ХОМЯКОВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «ПРАВДА О ЕСЕНИНЕ»



...Нужно оставить вздорный вымысел, утверждающий, что Есенин пришел в Питер прямо из рязанских сел.

Появился он в Москве весной 1912 года.

Он приехал из деревни без гроша денег и пришел к поэту С. Н. Кошкарову-Заревому.

Сергей Николаевич тогда был председателем Суриковского кружка писателей.

Привело Есенина к Заревому, близкому другу и ученику Бонч-Бруевича, желание найти пути в литературу.

Некоторое время он жил у Кошкарова и посещал собрания кружка писателей.

В 1912 году кружок являлся самой мощной организацией пролетарско-крестьянских писателей. Он только что начал выпускать журнал «Семья народников». В него входило много революционных деятелей, как близко стоящих к социал-революционерам, так и к социал-демократам...

Лето после Ленских расстрелов было самое живое и бурное. Наша группа конспиративно собиралась часто в Кунцеве, в парке бывш. Солдатенкова, близ села Крылатского, под заветным старым вековым дубом...

Там молодой поэт впервые стал публично выступать со своим творчеством.

Талант его был замечен всеми собиравшимися.

Решено было устроить его куда-либо на службу.

После ряда хлопот его устроили через социал-демократическую группу в типографию Сытина на Пятницкой улице.

Сережа был очень ценен в своей работе на этой фабрике не только как работник экспедиции, но и как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы.

Заработок дал ему возможность окрепнуть и обосноваться в Москве.

Впервые его литературные опыты поместили в детских журналах «Мирок» и «Доброе утро».

Фабрика с ее гигантскими размахами и бурливой живой жизнью произвела на Есенина громадное впечатление. Он был весь захвачен работой на ней и даже бросил было писать. И только настойчивое товарищеское воздействие заставляло его время от времени приходить в кружок с новыми стихами.

Правда, стихи его по содержанию были далеки от общественного движения. В них было много сказочного, былинного, но не было революционного порыва. Вот, примерно, одно из неизданных его стихотворений.

Пряный вечер. Гаснут зори.
По траве ползет туман.
У плетня на косогоре
Забелел твой сарафан.

В чарах звездного напева
Обомлели тополя.
Знаю, ждешь ты, королева,
Молодого короля [1].

У Есенина образ крестьянского плетня переплетался с образами королев и королей...

Главными мотивами его стихов все же были деревня и природа.

Он удивительно схватывал картины природы и передавал их в ярких образах.

В течение первых двух лет Есенин вел непрерывную работу в кружке.

Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник. В годы 1913—1914 он был чрезвычайно близок кружковой общественной работе, занимая должность секретаря кружка. Он часто выступал вместе с нами среди рабочих

аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны со значительным риском.

В это же время в кружок вошел и другой талантливый поэт — Ширяевец. Он писал нам из далекой Южной Азии, где работал в почтовой конторе одной из станций железной дороги телеграфным монтером.

Не имея лишних средств, кружок все же решил в это время заняться издательством. Вышел ряд брошюр отдельных товарищей — Кошкарова (Устинова), Завражного и других. Некоторые из них были задержаны цензурой. Охранка вообще установила наблюдение за деятельностью кружка, подослав к нам провокатора — критика Юрия Русанова.

Издательская работа подвигалась трудно. Есенина волновало последнее обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику, тогда социал-демократу Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей.

Л. М. Клейнборт откликнулся. Обещал активное содействие молодым писателям и поместил обстоятельную статью в «Современном мире»...

В конце 1914 года было решено издавать журнал «Друг народа».

В августе социал-демократическая группа выпустила литературное воззвание против войны. Есенин написал небольшую поэму «Галки», в которой ярко отобразил поражение наших войск, бегущих из Пруссии, и плач жен по убитым.

Есенин был секретарем журнала и с жаром готовил первый выпуск. Денег не было, но журнал выпустить было необходимо. Собрались в редакции «Доброе утро». Обсудили положение и внесли по три—пять рублей на первый номер.

— Распространим сами,— говорил Есенин.

Выпущено было воззвание о журнале, в котором говорилось: «...цель журнала быть другом интеллигента — народника, сознательного крестьянина, фабричного рабочего, учителя...» [2] Этим хотели привлечь всех тех, кто, как нам казалось, хотя в малой степени был настроен против войны.

Есенина тяготило безденежье кружка. Он стал

выказывать некоторую нервозность. Сданная в печать его поэма «Галки» была конфискована в наборе.

Из Петрограда ему слали хвалебные письма. Но все же первый номер «Друга народа» был выпущен.

В нем поэт поместил стихотворение «Узоры», в котором вылилась вся накипевшая грусть поэта по убитым:

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы.

После выхода первого номера, в конце декабря 1914 года, на одном из литературных собраний Есенин встречается с петроградскими писателями. Они учли способность Есенина, и, к нашему огорчению, наш молодой поэт, забрав у нас на дорогу, махнул в Питер — искать счастья...

Б. А. СОРОКИН

В УНИВЕРСИТЕТЕ ШАНЯВСКОГО

На днях, перебирая книги в своей личной библиотеке, я нашел книжку стихов Сергея Есенина «Трерядница», изданную в Москве в 1920 году. На третьей странице этой небольшой книжки надпись красными чернилами:

«Б. Сорокину — с дружбою и воспоминаниями об Университете Шанявского. Сергей Есенин. Ростов. 1920, август».

Эта надпись (круглые, не связанные между собою буковки, похожие на нечаянно рассыпанные горошины) напомнила мне о далеких годах юности, старой Москве, Университете имени Шанявского, незабываемых встречах с поэтом.

Вторая половина сентября тринадцатого года, но деревца, кусты сирени и акации в маленьком сквере на Миусской площади перед университетом еще зелены и по-летнему свежи. Я сижу на скамье и жду начала лекций вечернего отделения. Сюда, в этот тихий уголок, доносится приглушенное дыхание огромного города.

Солнце еще ярко освещает красивый фасад университета, и стекла больших окон словно плавятся в горячем блеске. Со дня моего поступления в университет прошло две недели, но я не устаю жадно впитывать все новые и новые впечатления. Лекции известных профессоров по литературе, осмотр сокровищ русского искусства Третьяковской галереи, интересные знакомства и беседы с шанявцами старших курсов, спектакли Художественного театра —

все это так ново и необычно для меня, юноши из тихой провинциальной Пензы, где только мечталось о Москве и казалось, что эта мечта никогда не будет явью.

В скверике я жду Васю Наседкина, чтобы пойти в большую аудиторию на лекцию профессора Айхенвальда. С Васей мы живем в комнатушке неказистого домишка в одном из переулков около Миусской площади. Он приехал из Башкирии. Пишет стихи. В них много солнца, ветра, тихой грусти о людях бедных деревень, разбросанных в неоглядном просторе пахучих степей. Спим мы на одной кровати, и иногда по ночам он будит меня и читает свои стихи. Мы любим поэзию, и у нас большая юношеская дружба.

— А, вот ты где?— подходя, еще издали громко говорит Наседкин. С ним стройный, в сером пиджаке паренек. — Познакомься, это Сергей Есенин, наш шанявец, первокурсник. Пишет стихи. Из Рязани. Я о тебе ему говорил.

Я встаю со скамьи, и мы знакомимся.

— Вы из Пензы? — спрашивает он, когда мы садимся.

Я говорю, что окончил пензенские педагогические курсы, которые помещались в здании бывшей гимназии, где учился Белинский.

— Это замечательно! — восклицает Есенин и встает со скамьи.

Розовый свет заката золотит его волосы и лицо, и он, словно торопясь высказать свою мысль, обращается к Наседкину:

— Ходить по классным комнатам, где когда-то сидел за партой Белинский, думать, что вот он стоял у этого окна, входил в подъезд гимназии, а после уроков тихими улицами спешил домой...

— Ну, друзья, пошли! — говорит Наседкин, и мы идем в университет. В большой аудитории еле находим свободные места и садимся рядом, слушаем лекцию профессора Айхенвальда о поэтах пушкинской плеяды. Поднимая руку и застывая на мгновение в театральной позе, профессор Айхенвальд наизусть цитирует высказывания Белинского о Баратынском.

Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу: его рука с карандашом бежит по листу тетради: «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит Баратынскому». Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает, а потом, как бы очнувшись, снова пишет...

После лекции мы спускаемся по лестнице на первый этаж. Есенин, останавливаясь, говорит: «Надо еще раз почитать Баратынского. Помните «Разуверение»? Большой, своеобразный поэт!»

Воскресный день. По стеклу окна нашей комнаты бегут струйки воды. Дождь, надоедливый и тихий, идет и идет, не переставая. Над городом лениво плывут низкие, тяжелые облака. На мостовой тускло светятся лужи. За окном серо, неуютно, а у нас на столе кипит самовар, и мы втроем — Наседкин, я и Есенин пьем чай.

Сергей с утра сидел в библиотеке университета и зашел к нам переждать дождик, так как идти ему далеко — в Замоскворечье. Отхлебывая маленькими глотками чай, Сергей, повернув голову к окну, настороженно слушает стихи Наседкина. Они певучи и солнечны, и кажется, что в комнату входит веселый летний день...

— Хорошо, Василий,— говорит он.— Твои стихи близки мне, но у тебя степи, а у меня приокский край, мещерская глухомань, березы и рябины. У вас в Башкирии и ветел-то, должно, нет? А у нас без ветел не обходится ни одно село.

Помешивая ложечкой в стакане, он рассказывал нам, что в прошлое воскресенье ходил в Третьяковскую галерею.

— Смотрел Поленова. Конечно, у его «Оки» задержался, и так потянуло от булыжных мостовых, заборов, вонючего Зарядья туда, домой, в рязанский простор. Сродни мне и Левитан. Идешь от одной картины к другой, и вот вспыхивает осень золотом берез и синью реки, грустит закат над омутом, задумался стог сена в вечерней тишине... Смотришь и

думаешь: «Да ведь это мое, родное, близкое мне, с детства вошедшее в сердце...»

— А как тебе, Сергей,— говорит Наседкин,— нравится «Над вечным покоем»?

— Нет, не нравится! Может быть, больше поживу, пойму эту картину. А сейчас мне от нее холодно... Простор воды и неба как бы уносит от бедного кладбища и церквушки и растворяет в вечном покое...

Тяжелые облака проплыли за Воробьевы горы, неожиданно осветилась улица, и на стену комнаты и стол легли полосы осеннего солнца, а в лужах на мостовой под ветром голубыми оконцами закачалось небо.

— Солнце! До завтра, друзья! — сказал Сергей, выходя из комнаты. В окно я видел, как он, легко ступая по мокрому булыжнику, перешел улицу и свернул за угол.

Дня через три Есенин нашел нас в читальном зале библиотеки. В свободные часы я и Наседкин читали сборники, выпускаемые издательством «Знание». Я перечитывал Куприна, а Василий увлекся Серафимовичем. Мы встали и пошли за Есениным в коридор. Он подвел нас к киоску, где продавались театральные билеты, и показал на афишу спектаклей Художественного театра.

— Вот, через два дня «Вишневый сад». Идем?

— Конечно! — восклицаю я.

Покупаем три билета на балкон («галерку», как тогда называли студенты места по пятьдесят копеек).

Студеный осенний вечер. Мы идем по Тверской улице, не чувствуя резкого ветра, порывисто дующего в лицо,— наши сердца полны ожидания встречи с театром, о котором мы знали только по статьям в театральных журналах.

Дрогнув, раскрывается занавес с вышитой на нем белой чайкой — и спектакль начинается... За стеклами окон одной из комнат барского дома Раневской цветут вишневые деревья, слышно щебетанье птиц, скоро взойдет солнце... Как объяснить то высокое волнение, овладевающее нами? Кажется, что нет актеров и зрителей, нет огромного города, закутанного в осеннюю мглу, а есть только кусок жизни людей вишневого сада, согретого могучей силой

таланта. Раневскую играет Книппер-Чехова, студента Трофимова — Качалов, Епиходова — Москвин, Лопахина — Леонидов.

В антракте пошли в фойе. Облокотившись на кресло, Сергей молчал. И только тогда, когда Наседкин спросил его, понравился ли спектакль, он, словно очнувшись, сердито проронил:

— Об этом сейчас говорить нельзя! Понимаешь?— И пошел в зрительный зал.

...Данилов монастырь. Старинные крепостные стены гармонируют с увядающей листвой деревьев, осеняющей бронзу и гранит намогильных памятников. Мы, постояв у могилы А. Рубинштейна, пошли к месту погребения Н. В. Гоголя. Над простой чугунной решеткой и плитой с выпуклыми буквами «Николай Васильевич Гоголь», над зеленоватым огоньком лампады, мерцающим в фонарике у чугунного креста, словно охраняя вечный покой великого писателя, деревья раскинули свои ветви, роняющие золотые листья.

Обнажив головы, стоим потрясенные простотой этого уголка кладбища с тремя словами на бронзовой плите. Есенин, сжав побелевшими пальцами решетку, не отрываясь, смотрит на живой огонек лампады, на бронзовую плиту, усеянную оранжевыми листьями.

— Да, вот она, несущаяся тройка — символ Руси... «Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух ...и дают ей дорогу другие народы и государства...» Так писать — это значит верить в лучшее будущее России,— говорит он...

Каждый из нас уносит надолго в своей душе память о «встрече» с гениальным автором поэмы о Руси.

Прошел почти год с того дня, когда в мартовское утро 1915 года я простился с Москвой.

Полк, в котором я служу, расположен в Полесье, на берегу реки Стырь. Наш взвод на фланге батальона. Слева болото чадит запахом увядающих трав. Туман плотно окутывает наспех вырытые окопы, и голоса солдат в нем звучат приглушенно, как отсыревшие струны.

Вторую неделю сеет дождь и стоят туманы. В стенках окопов вырыты подобия землянок, мы сидим в них, томясь от скуки и согреваясь у дымных, еле тлеющих костров.

Бои затихли. На той стороне реки немцы ведут работы по укреплению позиции. Как видно, нам до весны придется сидеть в этих окопах.

Одуревшие от тумана и скуки, солдаты просят вольноопределяющегося студента Московского государственного университета Синицина почитать единственную имеющуюся у него книгу «Пир» древнегреческого философа Платона. Пламя свечи освещает стены землянки с бегущими по ним струйками воды и потолок, с которого нам весело улыбается голоногий архангел Михаил, исписанный по розовым рукам и ногам матерщиной. Солдаты нашего отделения чуть не с дракой завладели огромной иконой из алтарных ворот разбитой снарядами церкви, и хозяйственный ефрейтор Карманов определил ее на потолок землянки, завалив сверху землей и бревнами.

Солдаты соседнего взвода за чтение «Пира» и потолок с архангелом шутя называют нас монахами.

Синицин читает, и его внимательно слушают. Когда он, отдыхая, закуривает, Карманов удивленно говорит:

— Складно написано, только непонятно. Ведь и зовут по-русски. У нас на деревне пастуха Платоном тоже звали, а вот ничего не поймешь...

Так идут дни... И лишь письма из светлого далекого — от родных, друзей и просто знакомых вносят радость, которую долго носишь в сердце среди печальных болот и суровой красоты могучих сосновых лесов.

Однажды в нашу землянку заглянул вестовой командира батальона Васильев и, улыбаясь, объявил:

— Сорокин, тебе пакет, а Карманову письмо...

Я вскакиваю и вырываю из его рук пакет. Торопливо разрываю. Вынимаю письмо от моей хорошей знакомой Марии и маленькую книжку. На переплете написано: «С. Есенин. Радуница. 1916 г.».

«Посылаю тебе книжку Сергея, куда вошли и знакомые нам с тобой стихи,— писала Мария.— Думаю, что ты, так же как и я, будешь обрадован первой поэтической ласточке нашего друга. Почитай стихи товарищам и, пожалуйста, сообщи, как они их встретят. Судя по твоим письмам, они в большинстве крестьяне, и поэтому я верю, что стихи Сергея им понравятся...»

Карманов сообщил солдатам нашего взвода о книжке, и в землянку к нам набилось человек двенадцать любителей послушать стихи.

Я рассказал о Сергее Есенине.

— Значит, наш, деревенский? — удивленно спросил сорокалетний Григорьев — бывалый солдат с двумя георгиевскими крестами на вылинявшей гимнастерке.

— Ну давай читай, охота послушать,— сказал белозубый Овсянников, солдат второго отделения, веселый и голосистый...

Я начал читать:

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки» [1].

Широко раскрыв глаза, внимательно слушал Овсянников. Уронив тяжелые руки на колени, как-то грустно улыбаясь, неловко сидел на подмостках Савельев — лучший пулеметчик роты.

И когда я дочитывал стихотворение:

По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про оста́льные деньки,—

кто-то глубоко вздохнул и, тоскуя, проговорил:

— Про нас написано, берет за сердце...

Я читал слышанные мною в Москве стихи, но здесь, в туманном Полесье, в землянке, похожей на волчью нору, среди простых людей, оторванных от родных семей и любимых с детства деревень, эти стихи как-то по-новому входили в душу и вносили теплоту и радость в однообразие туманных дней...

Как будто просто и буднично стихотворение «В хате», но когда я начал читать:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз,—

радостно оживились солдатские лица и потеплели глаза...

Я читал и думал, что сейчас перед моими товарищами — мужиками Саратовской, Тамбовской, Пензенской губерний — ярко встают в памяти родные хаты, где:

Старый кот к махотке крадется
На парное молоко

и

На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

Закончив чтение, я закурил. Все молчали. Не выдержав, встал Савельев и, размахивая руками, заговорил торопясь, тяжело роняя слова:

— Ну как же это, ребята! Словно дома побывал, в своей хате... Ты подумай: «Щенки кудлатые заползают в хомуты». Да ведь это я сам помню: до войны у нас сучка ощенила кутят, и они в сенях с ней жили, и хому́ты там лежали. Это все он правильно сочиняет...

По просьбе солдат пришлось два раза читать стихотворение «Топи да болота», которое заканчивалось строками: «Край ты мой забытый, край ты мой родной!..»

Когда все разошлись, Карманов сказал мне:

— От Вологды далеко моя деревня, в сосновых лесах... Край наш, правильно, забытый... Забытый, но родной — это верно! Вот он сам рязанский,

а про наши края пишет. А ты не знаешь, не бывал он у нас?

Как-то ко мне пришел пышноусый солдат седьмой роты Ведерников и попросил книжку.

— В сохранности вернем! — заверил он и, развернув платок, бережно завязал в него «Радуницу».

— Земляк мой, Карманов, рассказал о стихах, которые будто наш, деревенский написал... Почитаю ребятам, а то ведь, сам знаешь, какая скука!

Довольный, он пожал мне руку и еще раз подтвердил, что книжку принесет сам.

«Радуницу» послушали все солдаты взвода, а потом эта маленькая книжечка пошла и по другим взводам роты.

Весной шестнадцатого года, когда начались бои, я потерял вещевой мешок, а с ним и книжку. Но долго еще солдаты вспоминали стихи, тронувшие их сердца живой красотой природы и затаенной грустью стороны, где «только лес, да посолонка, да заречная коса».

Н. Н. ЛИВКИН

В «МЛЕЧНОМ ПУТИ»

Впервые я встретился с Есениным в 1915 году в редакции московского журнала «Млечный путь». Это был ежемесячный журнал, где охотно печатали молодых. Больше всего там было стихов. Отнес туда три своих стихотворения и я, тогда студент Московского университета. Стихи были напечатаны, и я был включен в список постоянных сотрудников.

Редактором и издателем «Млечного пути», первый номер которого вышел в январе 1914 года, был Алексей Михайлович Чернышев. Самоучка, не получивший в школьные годы даже начального образования, он рано начал писать стихи. Самостоятельно занимаясь своим образованием, он вступил в кружок «Писатели из народа», а затем стал выпускать свой журнал, вкладывая в него бескорыстно порядочные средства и все свое свободное время.

В 1915 году в литературном отделе журнала сотрудничали: И. Бурмистров-Поволжский, Спиридон Дрожжин, Николай Колоколов, Иван Коробов, Надежда Павлович, Дм. Семеновский, Евгений Сокол, Игорь Северянин, П. Терский, Илья Толстой, Федор Шкулев. Еще в 1914 году с рассказом «На вахте» в журнале выступил А. С. Новиков-Прибой, в пятнадцатом году Н. Ляшко опубликовал в «Млечном пути» свои короткие рассказы «Казнь», «На дороге», «Степь и горы». Свое доброе слово журнал сказал о молодом Маяковском.

В начале 1915 года в «Млечном пути» появляется стихотворение Есенина «Кручина», а затем — «Выткался на озере алый свет зари».

Молодежь, группировавшаяся вокруг журнала, весьма охотно посещала литературные «субботы» «Млечного пути». Они проходили обычно живо и интересно.

За столом писатели, поэты, художники, скульпторы, артисты. Все, кто хотел, могли прийти на эти «субботы», и всех ждал радушный прием. Читали стихи и рассказы, обменивались мнениями, спорили, беседовали о новых книгах, журналах, картинах.

На одной из «суббот» меня познакомили с очень симпатичным, простым и застенчивым, золотоволосым, в синей косоворотке пареньком.

— Есенин,— сказали мне.

Я уже читал его стихи, напечатанные в «Млечном пути», и они мне понравились.

В этот вечер Есенин принес новые стихи. Читал тихо, просто, задушевно. Кончив читать, он выжидающе посматривал. Все молчали.

— Это будет большой, настоящий поэт! — воскликнул я.— Больше всех нас, здесь присутствующих.

Есенин благодарно взглянул на меня.

Однажды, поздно вечером, мы шли втроем — я, поэт Николай Колоколов и Есенин — после очередной «субботы». Есенин возбужденно говорил:

— Нет! Здесь в Москве ничего не добьешься. Надо ехать в Петроград. Ну что! Все письма со стихами возвращают. Ничего не печатают. Нет, надо самому... Под лежачий камень вода не течет. Славу надо брать за рога.

Мы шли из Садовников, где помещалась редакция, по Пятницкой. Остановились у типографии Сытина. В 1913—1914 годах Есенин работал здесь помощником корректора. Говорил один Сергей:

— Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет...

Мы расстались. А на следующий день он уехал. И все вышло так, как он говорил. Славу он завоевал... Блок, а затем Городецкий оценили его стихи с первой встречи, помогли «встать на ноги». Уже в апреле 1915 года стихи Есенина появились в столичных журналах. За первыми публикациями последовали другие, а затем и отдельный сборник «Радуница».

Мне трудно вспомнить сейчас, при каких обстоятельствах однажды в моих руках оказался «Новый журнал для всех», издаваемый в Петрограде, где было стихотворение Есенина «Кручина», до этого напечатанное в «Млечном пути».

Должен заметить, что в те годы я относился к «Новому журналу для всех» особенно ревностно. Еще в 1910 году, когда я, ученик реального училища далекого провинциального городка Уральска, напечатал в местной газете свои первые стихи, мне выписали «Новый журнал для всех». Я читал его запоем. Он очень много дал мне для общего развития и литературной учебы. Я мечтал, чтобы мои стихи напечатали в этом журнале. Как-то я набрался смелости и послал их. Ответ пришел скоро. В нем был подробный отзыв о моих стихах и указаны недостатки. Шло время. Я приехал в Москву, поступил в университет, стал печататься в журналах и альманахах «Сполохи», «Огни», «Млечный путь», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» и в других. Но попрежнему не оставлял я свою мечту о «Новом журнале для всех», продолжая посылать туда свои стихи. Увы! Безрезультатно! Когда я увидел в этом журнале стихи Есенина, уже знакомые мне по «Млечному пути», я сгоряча, ни о чем толком не подумав, заклеил в конверт несколько своих и чужих стихотворений, напечатанных в «Млечном пути», и послал их в редакцию «Нового журнала для всех». При этом я написал, что это, очевидно, не помешает вторично опубликовать их в «Новом журнале для всех», так как напечатанные в нем недавно стихи Есенина тоже были первоначально опубликованы в «Млечном пути». К сожалению, в тот момент я думал только о том, чтобы мои стихи попали наконец в дорогой моему сердцу журнал. И совсем упустил из виду, что вся эта история может подвести Есенина. В то время вторично печатать уже опубликованные стихи считалось неэтичным.

И действительно, мое письмо поставило Есенина в несколько стесненное положение перед редакцией «Нового журнала для всех», он был мной незаслуженно обижен.

Можно было бы не вспоминать об этом прискорб-

ном для меня случае, если бы не одно важное обстоятельство.

Я уже забыл о злополучном своем письме, проводил летние каникулы в родном Уральске. Вдруг получаю письмо от редактора «Млечного пути» А. М. Чернышева, поразившее меня, как гром. В это время, при активном содействии Чернышева, готовилась к изданию моя первая книга стихов — «Инок». Анонсы о ней уже появились в журналах и газетах.

Узнав о выходе моей книги, Есенин прислал Чернышеву письмо, в котором сообщал, что если Ливкин и дальше, после своего неблаговидного поступка, будет оставаться в «Млечном пути», то он печататься в журнале не будет и просит вычеркнуть его имя из списка сотрудников.

Еще более взволнованно и резко по поводу моей необдуманной выходки он говорил с Чернышевым при встрече в Москве. Правда, в конце разговора он немного отошел. Обо всем этом и сообщил мне Чернышев. «Есенин,— писал он,— очень усиленно убеждал меня не издавать в М. П. («Млечном пути».— *Н. Л.*) Вашу книгу, но когда натолкнулся на мое решительное противодействие, перестал меня убеждать, и в конце концов мы с ним договорились до того, что... если бы вы первый написали ему и выяснили все это недоразумение, он с удовольствием пошел бы Вам навстречу по пути ликвидации этого неприятного инцидента. Я с своей стороны очень советовал бы Вам непосредственно списаться с ним, ведь Вам делить нечего...»

Надо ли говорить, что я немедленно написал письмо Есенину с извинениями и объяснениями. Неожиданно для себя я получил от Есенина товарищеское, дружески откровенное письмо. Оно и обрадовало, и успокоило, и взволновало меня. Оно открыло мне многое в Есенине, его характере, поступках, отношении к окружающим, взглядах на литературу. Из письма я узнал впервые, какой далеко не безоблачной была поначалу жизнь Есенина в Петрограде. Собственно, ради этого письма, бесконечно для меня дорогого, я и вспоминаю всю эту грустную для меня историю с «Новым журналом

для всех». Письмо Есенина датировано: «12 августа 16 г.» «Сегодня я получил Ваше письмо... Мне даже смешным стало казаться, Ливкин, что между нами, два раза видящих друг друга, вышло какое-то недоразумение, которое почти целый год не успокаивает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая говорит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от которой мне неприятно. Я только обиделся, не выяснив себе ничего, на вас за то, что вы меня и себя, но больше меня, поставили в неловкое положение. Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как может быть никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мережковские, гиппиусы и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке, по вокзалам, не мог не перепечатать стихи... Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто, сколько мне нужно, из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и со всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них, поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны.

Сейчас уже утвердившись во многом и многое осветив с другой стороны, что прежде казалось неясным, я с удовольствием протягиваю Вам руку примирения перед тем, чего между нами не было, а только казалось, и вообще между нами ничего не было бы, если бы мы поговорили лично... Вообще между нами ничего не было, говорю вам теперь я, кроме опутывающих сплетен. А сплетен и здесь хоть отбавляй и притом они незначительны. Ну, разве я могу в чем-нибудь помешать вам как поэту? Да я просто дрянь какая-то после этого был бы, которая не литературу любит, а потроха выворачивает...»

Казалось бы, после этого письма все встало на свое место. Но должен сказать откровенно, что я никогда не мог простить себе сам своего необдуманного поступка.

Что же касается моей мечты о «Новом журнале для всех», то я так и не попал на его страницы...

Прошли многие годы. Есенин стал большим, известным поэтом. Как-то в Доме Герцена, где в этот вечер выступали мы, члены Союза поэтов, я встретился с Есениным. Он первый узнал меня и протянул руку.

— А, Ливкин! — сказал он и пристально посмотрел в глаза. Ни слова не сказав мне больше, он спустился вниз, где был буфет.

Начался вечер. Мы, выступавшие, сидели в президиуме. Появился Есенин. Ему указали место за столом. Но он махнул отрицательно рукой и не сел, а как-то упал на стул в первом ряду. «Как он будет выступать в таком состоянии?» — подумал я. А публики было много. Имя Есенина на афише привлекло небывалое количество слушателей. Но я волновался недолго. Когда дошла очередь до Есенина, он встал, вышел на эстраду, пошатнулся и начал! Он читал прекрасно. Все по памяти. С большим чувством, мастерски, читал много, долго, словно предчувствовал, что это последнее его выступление в Доме Герцена.

Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ

ЕСЕНИН

Из воспоминаний

Я познакомился с Есениным зимой 1915 года в Московском народном университете имени Шанявского.

Университет Шанявского был для того времени едва ли не самым передовым учебным заведением страны. Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы, свободный доступ — все это привлекало сюда жаждущих знаний со всех концов России.

И кого только не было в пестрой толпе, наполнявшей университетские аудитории и коридоры: нарядная дама, поклонница модного Юрия Айхенвальда, читавшего историю русской литературы XIX века, деревенский парень в поддевке, скромно одетые курсистки, стройные горцы, латыши, украинцы, сибиряки. Бывали тут два бурята с кирпичным румянцем узкоглазых плоских лиц. Появлялся длинноволосый человек в белом балахоне, с босыми ногами, красными от ходьбы по снегу.

На одной из вечерних лекций я очутился рядом с миловидным пареньком в сером костюме...

Лекция кончилась. Не помню, кто из нас заговорил первый, но только через минуту мы разговаривали, как старые знакомые.

Юноша держался скромно и просто. Доверчивая улыбка усиливала привлекательность его лица.

Он рассказал, что работает корректором в издательстве Сытина, пишет стихи и печатается в журналах для детей. В доказательство он раскрыл пахнущий свежей краской номер журнала. Стихи мне понравились. Были в них какие-то необычные изги-

бы и повороты поэтической фразы. Под стихами стояла подпись: «Сергей Есенин».

Вокруг нас, двигаясь к выходу, шумела публика. Мы тоже вышли из аудитории и продолжали разговор в коридоре.

— Познакомился здесь с поэтом Николаем Колоколовым,— говорил он,— бываю у него на квартире. Сейчас он мой лучший друг.

Когда Есенин назвал фамилию Колоколова, у меня мелькнула мысль: не тот ли это Николай Колоколов, вместе с которым два года назад мы были исключены из Владимирской духовной семинарии за забастовку?

Действительно, это был он, в чем я убедился, отправившись на другой день по адресу, который дал мне Есенин.

Маленькая, узкая комнатка Колоколова была завалена дешевыми журналами, рукописями, полосками бумаги.

— Вот поступил учиться в Университет Шанявского,— весело рассказывал он,— только все некогда на лекции ходить. Много пишу.

И начал показывать номера журналов со своими стихами, рассказами, литературными обозрениями, рецензиями.

— Берут все, и даже деньги платят!

Пришел раскрасневшийся от холода Есенин, разделся и повесил пальто на гвоздик. Было видно, что здесь он чувствует себя своим человеком.

Перед этим Колоколов получил гонорар и решил по случаю встречи устроить маленький пир...

За окном глухо гудела и возилась огромная многолюдная Москва, а у нас по-домашнему мурлыкал самовар, располагая к дружеским разговорам.

Перелистывая книжку «Журнала для всех», Есенин встретил в ней несколько стихотворений Александра Ширяевца — стихи яркие, удалые...

— Какие стихи! — горячо заговорил он.— Люблю я Ширяевца! Такой он русский, деревенский!

Оказалось, что Есенин печатается не только в детском «Мирке» и «Добром утре». Он писал лирические стихи, пробовал себя в прозе и, по примеру Колоколова, тоже печатался в мелких изданиях.

Говорили о журналах, редакторах и редакторских требованиях. Самой жгучей темой тогдашней журнальной литературы была война с Германией. Ни один журнал не обходился без военных стихов, рассказов, очерков. Не могли остаться в стороне от военной темы и мои приятели.

Наутро Колоколов накупил в соседнем киоске свежих газет и журналов. В одном еженедельнике или двухнедельнике мы нашли статью Есенина о горе обездоленных войной русских женщин, о Ярославнах, тоскующих по своим милым, ушедшим на фронт. Помнится, статья, построенная на выдержках из писем, так и называлась: «Ярославны». Кроме нее в номере были есенинские стихи «Грянул гром, чашка неба расколота», впоследствии вошедшие в поэму «Русь», тоже проникнутую сочувствием к солдатским матерям, женам и невестам...

Как-то среди разговора о стихах Есенин сказал:

— Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси.

И спросил меня:

— А ты как?

Мои тогдашние стихи тоже были о деревне, о родине. Стихи Есенину были близки. Нас роднила любовь к народному творчеству, к природе, к меткому и образному деревенскому языку.

Комната Колоколова на некоторое время стала моим пристанищем. Приходил Есенин. Обсуждались литературные новинки, читались стихи, закипали споры. Мои приятели относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки, неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, наскакивали друг на друга, как два молодых петуха, готовых подраться!

По-прежнему встречал я Есенина и в университете, а иногда мы с ним бродили по улицам. С просторной Миусской площади, где находился наш университет, к Тверской вели тихие улицы и переулки с галками на седых деревьях за заборами и с ярлычками о сдаче комнат в окнах домов. Было приятно шагать по нешироким тротуарам, дышать зимним воздухом и разговаривать.

Чуть ли не в самом начале нашего знакомства Есенин сказал мне о своем намерении переселиться в Петроград. Мы шли по Тверской, мимо нас мчались лихачи, проносились, отсвечивая черным лаком, редкие автомобили. Есенин говорил:

— Весной уеду в Петроград. Это решено.

Ему казалось, что там, в центре литературной жизни, среди борьбы различных течений, легче выдвинуться молодому писателю. Звал с собой и меня:

— Поедем? Вдвоем в незнакомом городе легче, веселее. А денег достанем, заработаем...

Он словно предчувствовал свой будущий успех. Было жаль расставаться с этим славным юношей, с которым у нас завязались такие хорошие отношения. Но Петроград нисколько не манил меня, и я промолчал. Есенин же, должно быть, принял мое молчание за согласие и стал всерьез считать меня товарищем предстоящего путешествия за славой и признанием.

Запомнилось, как в другой раз, сойдясь в университете, мы с Есениным пошли в буфетную комнату, где всегда было много народу. Помешивая ложечкой чай, Есенин говорил кому-то из подсевших к нам знакомых:

— Достану к весне денег и поеду в Петроград. Возьму с собой Семеновского...

Здесь, в буфетной комнате, я читал Есенину свою поэму.

Была она не лучшим моим творением, но я гордился тем, что ее перепечатала из «Старого Владимирца» какая-то другая провинциальная газета. Есенину поэма, должно быть, тоже нравилась, по крайней мере при удачных строках он издавал одобрительные восклицания и его глаза сияли.

К этому времени Есенин знал, кажется, всех литераторов-шанявцев. То были люди разных возрастов, вкусов, взглядов.

Самым авторитетным среди них считался автор социальных поэм Иван Филипченко, человек в пенсне, с тихим голосом и веским словом. Молодой брюнет с живыми, улыбчивыми глазами на матовом тонком лице, Юрий Якубовский был художником и поэтом. Писали стихи сибиряк Янчевский и приехав-

ший из Баку Федор Николаев, сын крестьянина с Урала Василий Наседкин и дитя богемы, голубоглазая, с желтыми локонами, падавшими из-под бархатного берета, Нелли Яхонтова.

Среди этой компании Есенин сразу получил признание. Даже строгий к поэтам непролетарского направления Филипченко, пренебрежительно говоривший о них: «мух ловят», даже он, прочитав за столиком буфетной комнаты свежие и простые стихи Есенина, отнесся к ним с заметным одобрением.

Обаяние Есенина привлекало к нему самых различных людей. Где бы ни появился этот симпатичный, одаренный юноша, всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое душевное богатство...

Однажды вечером мы с Колоколовым зашли за ним, чтобы куда-то вместе пойти.

Дверь нам открыла какая-то женщина. Узнав, что мы к Есенину, она провела нас из прихожей в просторную комнату, освещенную высоко подвешенной электрической лампочкой. Есенин поднялся навстречу нам из-за большого черного стола, на котором одиноко стояла чернильница с красными чернилами. Он держал листок бумаги с мелко написанными строчками стихов.

Комната показалась нам неуютной и холодной.

Втроем мы ходили фотографироваться. По дороге Есенин оживленно говорил:

— Нам надо издать коллективный сборник стихов. Выпустим его с нашими портретами и биографиями. Я берусь это устроить.

Снялись мы пока на общей карточке, отложив фотографирование для задуманного сборника на будущее.

Сборники писателей из народа с портретами и биографиями авторов были тогда в ходу. Издавали их сами авторы вскладчину. Наиболее крупным объединением писателей из народа был литературно-музыкальный кружок имени Сурикова. Выяснилось, что Есенин хорошо знаком с суриковцами.

Он повел меня к ним и познакомил с председателем кружка поэтом С. Кошкаровым, дородным мужчиной в очках с золотой оправой.

Был солнечный мартовский день, и мы от Кошкарова пошли к жившему в Замоскворечье гусляру-суриковцу Ф. А. Кислову.

— Хороший старик,— говорил по пути Есенин.— Я у него бывал. Ласковый такой!..

На крыльце одноэтажного дома мы позвонили. Нас встретил седобородый старичок в длинном сюртуке. Он весь лучился добротой, радушием. Увидев Есенина, обрадовался:

— Сережа, милости просим!

Раздевшись в прихожей, мы попали в небольшой зал. Солнце пробивалось сквозь кисейные занавески и листву комнатных цветов. От рисунчатых изразцов по-зимнему натопленной печи веяло жаром. Гусли были большие, стояли на черной лакированной подставке. Музыкант уселся на табуретку, старчески негнувшимися пальцами прикоснулся к завеневшим струнам, взял аккорд и слегка дребезжащим голосом запел:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Песни, которые исполнялись Ф. А. Кисловым, суриковский кружок издал отдельной книжечкой с портретом старого гусляра на обложке.

Добрый старик дал нам по книжечке на память.

Перебирая струны, он предложил Есенину:

— Хочешь, Сережа, научу тебя играть на гуслях?

Были в репертуаре гусляра и старинные русские песни, и плач Иосифа Прекрасного, и псалом царя Давида, переложенный в стихи Димитрием Ростовским. Была в книжечке и песня о гуслярах, написанная, видимо, кем-то из поэтов-суриковцев.

Пока мы слушали музыку, в соседней комнате, где блестели серебряные оклады божницы, румяная старушка, жена гусляра, ставила на стол чайную посуду, тарелки с нарезанным пышным и румяным пирогом...

Простившись с хлебосольными хозяевами, мы вышли на улицу и вскочили на подножку проходящего трамвая.

В почти пустом вагоне Есенин встретил знакомого, тоже, кажется, суриковца — везло нам в этот день на встречи с ними. Это был юноша рабочего вида, поэт Устинов. Сидя напротив нас, он доверительно рассказывал Есенину о своих делах. Напечатал первую книжку стихов, и тут же цензурой она была конфискована. Удалось спасти только несколько экземпляров.

Есенин посочувствовал поэту. А в вагоне так пахло хмельным воздухом весны, что и сам Устинов не мог долго печалиться о конфискованной книжке. С улыбкой махнул рукой и пошел к выходу.

Он сошел, а мы поехали на Арбат. Пустой вагон мотался и гремел, за полуоттаявшими окнами проплывали здания, вывески, фонари, прохожие.

Мы решили навестить Юрия Якубовского. Жил он с молодой женой Марианной и недавно родившейся дочкой.

В студенческой комнате Якубовских было много развешанных по стенам рисунков работы хозяина, занимавшегося живописью, и совсем мало мебели. Все же кое-как уселись. Марианна видела Есенина впервые и захотела познакомиться с его стихами. Есенин начал читать. И оттого ли, что в его сердце все еще звенела весенняя радость, или от сочувственного внимания слушателей, читал он охотно и много. Его не приходилось упрашивать. Прочитав одно стихотворение, Есенин тут же переходил к другому.

— Он пел, как птица,— говорил потом Якубовский, вспоминая наше посещение.

Ходили мы на творческие собрания сотрудников журнала «Млечный путь». Этот маленький литературно-художественный журнал, издававшийся поэтом-приказчиком А. М. Чернышевым, стал для многих начинающих авторов путем в большую литературу.

Алексей Михайлович Чернышев был замечательным человеком. Весь свой заработок он тратил на журнал. Сам тоже писал стихи...

Сотрудники журнала получали корреспондентские билеты с русским и французским текстом.

Печатались в журнале молодые безымянные писатели. Среди них Есенин был едва ли не самым юным, и все, собиравшиеся в редакции «Млечного пути», относились к нему особенно любовно и ласково.

Сидя за большим столом, поэты и беллетристы читали свои произведения. Читал и Есенин:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло [1].

Светла была душа поэта. Верилось, что ни одно облачко не омрачает ее.

Подчас Есенин казался проказливым мальчишкой. Он дурачился, делал вид, что хочет кончиком галстука утереть нос, сочинял озорные частушки.

То ли в шутку, то ли всерьез ухаживал за некрасивой поэтессой, на собраниях садился с ней рядом, провожал ее, занимал разговором. Девушка охотно принимала ухаживания Есенина и, может быть, уже записала его в свои поклонники.

Через несколько дней девушка пригласила поэтов «Млечного пути» к себе.

— Завтра у меня день рождения, приходите!

Пошли Есенин, Колоколов, Николаев и я.

Сидели за празднично убранным столом. Старшая сестра поэтессы познакомилась с нами и скромно ушла в соседнюю комнату. Бутылка легкого вина повысила наше настроение. Виновница торжества светилась радостным оживлением, мило улыбалась и обносила гостей сладким пирогом. С ней произошла волшебная перемена. Куда девалась ее некрасивость! Она принарядилась, казалась женственной, похорошевшей.

Футурист-одиночка Федор Николаев, носивший черные пышные локоны и бархатную блузу с кружевным воротником, не спускал с нее глаз. Уроженец Кавказа, он был человек темпераментный и считал себя неотразимым покорителем женских сердец.

Подсев к девушке, Николаев старался завладеть ее вниманием. Я видел, что Есенину это не нравится.

Когда поэтесса вышла на минуту в комнату сестры, он негодующе крикнул Николаеву:

— Ты чего к ней привязался?

— А тебе что? — сердито ответил тот.

Произошла быстрая, энергичная перебранка. Закончилась она тем, что Есенин запальчиво бросил сопернику:

— Вызываю тебя на дуэль!

— Идет,— ответил футурист.

Драться решили на кулаках.

Вошла хозяйка. Все замолчали. Посидев еще немного, мы вышли на тихую улицу. Шли молча. Зашли в какой-то двор...

Враги сбросили с плеч пальто, засучили рукава и приготовились к поединку. Колоколову и мне досталась роль секундантов.

Дуэлянты сошлись. Казалось, вот-вот они схватятся. Но то ли весенний воздух улицы охладил их пыл, то ли подействовали наши уговоры, только дело кончилось примирением.

После этой несостоявшейся драки я понял, что ласково улыбавшийся рязанский паренек умеет и постоять за себя...

Переселение Есенина в Петроград совершилось без меня. Мы встретились уже после революции...

Л. М. КЛЕЙНБОРТ

ВСТРЕЧИ

«Издательская работа подвигалась трудно,— пишет о суриковцах Деев-Хомяковский,— Есенина волновало это обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей»[1]. С Ширяевцем, заброшенным в одну из наших дальних окраин, я уже состоял в переписке. О Есенине же я слышал в первый раз.

По совету С. Н. Кошкарова, у которого он жил, Есенин и сам переслал мне тетрадь своих стихов. Он писал мне, что родом он из деревни Рязанской губернии, что в Москве с 1912 года, работает в типографии Сытина; что начал он с частушек, затем перешел на стихи, которые печатал в 1914 году в журналах «Мирок» и «Проталинка». Позднее печатался в журнале «Млечный путь» [2].

Когда возник «Друг народа» — двухнедельный журнал Суриковского кружка, С. Д. Фомин мне писал: «В редакционную комиссию избраны: Кошкаров, Деев, Фомин, Есенин, Щуренков и др.» Наконец в январе 1915 года я получил и первый номер журнала со стихотворением Есенина «Узоры».

Первое представление о Есенине связалось у меня, таким образом, с суриковцами. И не об одном Есенине. О Клюеве существует мнение, что до «Сосен перезвон» он не печатался; его же стихи либо устно, либо в списках переходили из местности в местность. Однако это не так. Клюев получил крещение там же, где Есенин, только пораньше, и не в «Друге народа», а в «Доле бедняка». Я напомнил как-то об этом самому

Клюеву. Он смотрел на меня так, точно я о нем открывал ему вещи, которых он сам не знал... Ширяевец, в свою очередь, начинает с того, что вступает в Суриковский кружок. В том же «Друге народа» помещены и его стихи.

Ни стихов Клюева, ни стихов Ширяевца тех лет не выделишь из всей груды виршей, которыми заполнялись все эти издания. И то же должно сказать о тетради, присланной мне Есениным. Ничто, почти ничто еще не отличало его от поэтов-самоучек, певцов-горемык. Чтобы дать представление о ней, привожу одно из стихотворений. Речь в нем идет о девушках в светлицах, что вышивают ткани в годину уже начавшейся войны:

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна [3].

Другие стихи были не лучше, например «Пороша», «Пасхальный благовест», «С добрым утром!», «Молитва матери», «Сиротка», «Воробышки»[4]. Без сомнения, лучшее из них было «Сыплет черемуха снегом...», напечатанное позднее в «Журнале для всех» (1915 г., № 6) [5], затем «Троицыно утро, утренний канон...»

— Лев Максимович? — обратился ко мне паренек, подходя со стороны калитки: совсем юный, в пиджаке, в серой рубахе с галстуком, узкоплечий, желтоволосый. Запахом ржи так и пахнуло от волос, остриженных в кружок.

— Есенин,— сказал он своим рязанским говорком.

Я сидел в саду своего загородного дома в Лесном. Тихие сумерки уже заволакивали и скамейку, на которой я сидел, и калитку, в которую он вошел. Но в воздухе, сухом и легком, ничто еще не сдавалось, и звóнок был крик диких птиц где-то в высоте.

— Вы обо мне писали в «Северных записках» [6].

Синие глаза, в которых было больше блеска, чем тепла, заулыбались.

Не успел он, однако, сесть, как откуда-то взялась моя собака, со звонким лаем кинувшаяся на него.

— Трезор! — прикрикнул я. Но это лишь раззадорило ее.

— Ничего,— сказал он, не тронувшись с места. Затем каким-то одним движением привлек собаку к себе...

— Собака не укусит человека напрасно.

Он знал, видимо, секрет, как подойти к собаке. Более того, он знал и секрет, как расположить к себе человека. Через короткое время он уже сидел со мной на балконе, тихий сельский мальчик, и спрашивал:

— Круглый год здесь живете?

— И зимой, и летом.

— В городе-то душно уже.

Потом сочувственно:

— Житье здесь! Воздух легкий, цветочки распускаются.

Ему здесь все напоминало деревню.

— У нас теперь играют в орлянку, поют песни, бьются на кулачки.

Во всем, что он говорил, было какое-то неясное молодое чувство, смутная надежда на что-то, сливавшаяся с молодым воздухом лета...

Он рассказывал мне об Университете Шанявского, в котором учился уже полтора года, о суриковцах, о «Друге народа», о том, что он приехал в Петроград искать счастья в литературе.

— Кабы послал господь хорошего человека,— говорил он мне прощаясь.

Опять пришел... Принес несколько брошюр, только что вышедших в Москве,— сборничков поэтов из народа, отчеты Университета Шанявского и секций содействия устройству деревенских и фабричных театров, ряд анкет, заполненных писателями из народа. Принес и цикл своих стихов «Маковые побаски», затем «Русь», еще что-то...

Я передал часть из них М. К. Иорданской, ведавшей беллетристическим отделом в «Современном мире», часть Я. Л. Сакеру, редактору «Северных записок». Сказал об Есенине и М. А. Славинскому, секретарю «Вестника Европы», мнение которого имело вес и значение в журнале. «Северные записки» взяли все стихи, «Современный мир» — одно. Это сразу окрылило его...

Затеяв работу о читателе из народа * — работу, опубликованную целиком уже в годы революции,— я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживавшие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Глеб Успенский. Разумеется, я не мог не интересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах.

Он, без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов. Но читал он, в лучшем случае, беллетристов. И то, по-видимому, без системы. Так, Толстого он знал преимущественно по народным рассказам, Горького — по первым двум томам издания «Знания», Короленко — по таким вещам, как «Лес шумит», «Сон Макара», «В дурном обществе». Глеба Успенского знал «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд». Еще хуже было то, что он не любил теорий, теоретических рассуждений.

---

* См. *Л. Клейнборт.* Русский читатель-рабочий. Ленинград, Изд. Губ. Проф. Совета, 1924.

— Люблю начитанных людей,— говаривал он, обозревая книжные богатства, накопленные на моих книжных полках.

А вслед за тем:

— Другого читаешь и думаешь: неужели в своем уме?

Он всем существом был против «умственности». Уже в силу этого моя просьба не могла быть ему по душе.

Однако он то и дело углублялся в сад, лежа на земле вверх грудью то с томом Успенского, то с томом Короленко. За ним бежал Трезор, с которым он был уже в дружбе. Правда, пишущим я его не видел. Все же он мне принес наконец рукопись в десять — двенадцать страниц в четвертую долю листа...

Писал же он вот что.

О Горьком он отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях — босяках. По его мнению, самый тип этот возможен был «лишь в городе, где нет простору человеческой воле». Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит все то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.

Из произведений Короленко Есенину пришлись по душе «За иконой» и «Река играет», прочитанные им, между прочим, по моему указанию. «Река играет» привела его в восторг. «Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике»,— писал он. Короленко стал ему близок «как психолог души народа», «как народный богоискатель».

В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало — это «превосходство

земледельческой работы над другими», которое проповедовал Толстой,— религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально. Но оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни он выделял Успенского из группы разночинцев-народников. Как сын деревни, вынесший долю крестьянина на своих плечах, он утверждал, что подлинных крестьян у них нет, что это воображаемые крестьяне. В писаниях их есть фальшь. Вот у Успенского он не видел этой фальши. Особенно пришелся ему по вкусу образ Ивана Босых... [7]

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

То, что рассказано мною ниже, является первой главой не только моих, но и всяких воспоминаний о городской жизни Сергея Есенина. Это то, что уцелело в моей памяти о первой его весне в тогдашнем Петербурге (1915 год), о первых его шагах к славе, свидетелем которых мне пришлось отчасти быть...

1

Первая моя встреча с Сергеем Есениным произошла 28 марта 1915 года. Начиналось второе полугодие войны, и чувствительный тыл под сенью веселого национального флага заметно успокаивался. Запах крови из лазаретов мешался с духами дам-патронесс, упаковывавших в посылки папиросы, шоколад и портянки. На улицах, в киосках, басистые студенты возглашали знаменитое: «Холодно в окопах!» В пунктах сбора пожертвований на возбужденном Невском пискливые поэтессы и женственные поэты — розовые и зеленолицые, забракованные и окопавшиеся — читали трогательные стихи о войне и о своей тревоге за «милых». Некоторые оголтелые футуристы, не доросшие до Маяковского, но достаточно развязные и бойкие, играли на созвучиях пропеллера и смерти. Достигший апогея модности, Игорь Северянин пел под бурные рукоплескания про «Бельгию — синюю птицу» [1] (папиросы «Король Альберт» еще не вышли из моды). Патриотическое суворинское «Лукоморье» печатало на лучшей бумаге второсортные стихи о Реймском соборе под портретами главнокомандующих.

В зале Армии и Флота был большой вечер поэтов, один из многих. В этот день, помню, седовласый Сологуб, явясь публике в личине добродушия, читал стихи о «невесте-России» [2]. И неожиданно, не в лад с другими, весь сдержанный и точно смущенный появился на эстраде в черном сюртуке Александр Блок. Его встретили и проводили рукоплесканиями совершенно иного звука и оттенка, нежели те, с которыми только что обоняли запах северянинской пачули. Волнуясь, он прочел стихи о России, о своей, блоковской, России и о человеческой глупости, прочел обычным, холодноватым и все-таки страстным, слегка дрожащим голосом, приглушенным и чистым одновременно, два раза быстро схватившись рукою за сердце. Был на этих вечерах под знаком патриотизма гнетущий налет.

Не то в перерыве, не то перед началом чтений я, стоя с двумя молодыми поэтами у двери в зал, увидел поднимающегося по лестнице мальчика, одетого в серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник (может быть, это был Городецкий) остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин*. Так, помнится, в этот вечер он и оставался преимущественно с нами троими, а мы, очень сильно им заинтересованные, конечно, старались отвечать на его удивительно приветливую улыбку как можно ласковее. Гость был по тому времени необычный. Из расспросов, на которые он отвечал охотно и просто, выяснилось, как пришел он прямо с вокзала к Блоку, как тот направил его к Городецкому, что Струве принял его стихи в свой толстый и важный журнал, что он читал у себя на родине многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и прочесть им то, что привез. О Блоке, который принял

---

* Нам послышалось не «Есенин», а «Ясенин», и мы невольно произвели эту фамилию не то от «ясности», не то от «ясеня», не подозревая, что она означает «осенний» (есень).

его, кажется, со свойственной ему сдержанностью и немногословием, он сказал:

— А я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал «Стихи о Прекрасной Даме» *.

Чем больше он говорил (с немного застенчивой, казалось, гордостью и настойчивым оканьем в произношении) о своей жизни в деревне, интерес к которой он угадал, верно, не в нас первых, о том, как он стал писать стихи («уйдешь рыбу удить, да так и не вернешься домой два месяца! Только на бумагу денег и хватало!»), тем в больший восторг приходили окружившие его несколько человек. И не только потому, что принадлежали к чувствительному тылу, а потому, что с первых минут знакомства, не зная еще даже его стихов, эти «интеллигенты» ощутили в пришедшем то очарование свежести, присущей ему тогда полной непосредственности, какого-то первородного, но не грубого здоровья, юности — не то тихой, не то озорной, запаха далекой деревни, которое показалось им почти спасительным. И весь облик его, ласковый и доверчивый, располагал к нему каждого, кроме заядлых снобов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее.

По окончании вечера небольшая компания (шесть-семь человек), все люди, так или иначе близкие к поэтической культуре, пошли вместе с Есениным в известный многим «подвал» на Фонтанке, 23. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К. Ляндау, устроивший себе жилье из бывшей прачечной, завесив его коврами и заполнив своей библиотекой и антикварными вещами. Ничего общего с публичными подвалами богемы это логово не имело, но некоторые представители ее стучались сюда нередко (прямо в решетчатое окно). На круглом большом столе под лампой появился ликер шартрез и венецианские рюмки. Есенина посадили у этого стола, а большинство гостей устроилось в полумраке на диванах, чтобы его слушать. Помню, было жарко, и Сергей, сняв пиджачок, остался в своей голубой рубашке. Ему не понравился шартрез, он выпил и

* Эти и нижеследующие буквальные слова Есенина (все, что поставлено в кавычки), а также даты я беру из собственных моих писем того времени к другу, находившемуся на фронте.

поморщился. «Что, не нравится?» — «Поганый!» Такого рода реплик и характеристик было им произнесено немало, и, когда присутствующие улыбались, гость, поглядывая на них, сам отвечал немного застенчивой, немного лукавой улыбкой — такой, мол, как есть...

Про него в тот приезд говорили иронические языки, что его наивность и народный говор — нарочитые и наигранные. Пожалуй, Сергей и чувствовал тогда, что его рязанские обороты и местный словарь помогали ему быть центром общего внимания, но в минуты, когда покровительственно улыбающиеся «наблюдатели» припирали его к стене и доводили до краски в лице и ощущения неловкости, эти корявые словечки вырывались у него еще более непосредственно.

В этот вечер он был среди людей, которые ему полюбились, и ничто его не смущало. С радостью принялся он за чтение стихов, вошедших потом в его первую книгу. Первое впечатление совершенно пронзило слушателей — новизной, трогательностью, настоящей плотью поэтического чувства. Он читал гораздо громче, чем говорил, читал в обычной своей, есенинской манере, которую впоследствии только усовершенствовал. Клюевских растянутых мелодий в этой читке не было и помину, простые строки рубились упрямо и крепко, без всякой приторности.

Прочел он почти всю книгу, ему не давали отдохнуть, просили повторять, целовали его, чуть не плакали. И менее и более впечатлительные чувствовали, что здесь — в этих чужих и близких, не очень зрелых, но подлинных и кровных песнях — радостная надежда, настоящий русский поэт.

Покончив со стихами, Сергей принялся за частушки; говорил с гордостью, что их у него собрано до четырех тысяч и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать; многие частушки были уже на рекрутские темы; были тут и «страдания» (двустишия), довольно однообразные, но очень любимые и защищаемые самим Сергеем; он жалел только, что нет тальянки. Ему пришлось разъяснять свой словарь — вокруг были «иностранцы», — и ни «паз», ни «дежка», ни «улогий», ни «скатый» не были им понятны. Попутно Сергей рассказывал о своей жизни в отеческой

«Кузьминской волости», о любви своей к бродяжничеству, об исключении из учительской семинарии [3], про любимого деда.

Говорили и о современных поэтах. Не только к Блоку и к поколению старших, но и ко многим, едва печатавшимся и случайно попавшимся ему на глаза в каком-нибудь мелком журнале, у него было определенное отношение. Видно было, что он читал их с зорким и благожелательным вниманием, предпочитая чистую лирику. Но о Брюсове он отозвался, как о ликере: «Поганый». Говоря о Блоке, с нежностью вспомнил, как тот беседовал с ним об искусстве: «Не столько говорил, сколько вот так объяснял руками... «Искусство — это, понимаете...» А сказать так и не умел». По-видимому, Блок искал особенного для него языка.

Так прошел первый вечер, и с тех пор мы с Сережей постепенно сблизились — в частых товарищеских встречах, чтении стихов, прогулках по городу — до тех пор, покуда его не стали звать повсюду нарасхват. Называть себя он предложил Сережей, как звали его дома, но это не привилось.

Еще два характерных вечера из периода его первых шагов. 30 марта редакция «Нового журнала для всех» созвала литературную молодежь на очередную вечеринку — в свое маленькое помещение, где умели принимать по-домашнему, тепло и скромно. Не помню, с кем пришел туда Есенин. Гости были разные: из поэтов по преимуществу молодые акмеисты, охотно посещавшие «вечера с чаем». Наиболее признанным среди них кандидатом в метры был Мандельштам; кроме него выступали Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие. После Мандельштама, читавшего, высокопарно скандируя, строфы о ритмах Гомера («голову забросив, шествует Иосиф», говорили о нем тогда), на маленькую эстраду вышел в своей русской рубашке Есенин. Он начал с довольно длинного стихотворения, которое называл поэмой (если не ошибаюсь, это был «Микола»). В таком профессиональном и знающем себе цену обществе он несколько терялся и проигрывал. Большинство смот-

рело на него только как на новинку, на «любопытное явление». Его слушали с добродушными улыбками, снисходительно хлопали «коровам» и «кудлатым щенкам», идиллически настроенные члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали презрительные усмешки. Кончив, Есенин отошел в угол и, заложив пальцы за пояс, окруженный любопытствующими, почтительно и добросовестно отвечал на расспросы. Его готовы были покровительственно приручить. Трудно сказать, как относился к этому обращению сам Сергей; пожалуй, он принимал тогда все как удачу; он радовался первым победам и в толстых и в тонких журналах, тому, что голос его все-таки слышали, ходил, как в лесу, озирался, улыбался, ни в чем еще не был уверен, но крепко верил в себя.

Памятен и другой вечер — у юного поэта, причислявшего себя по случайности к футуристам, вечер богемный, приятельский и очень характерный. Тут была поэтическая разноголосица. В обществе (человек двадцать пять) случайно преобладали те маленькие снобы, те иронические и зеленолицые молодые поэты, которые негласно объединялись под знаком полового равнодушия к женщине — крайне типичная для того времени фаланга. Их называли нарицательно «юрочками»; нередко они бывали остроумны и всегда сплетничали и хихикали; среди них были и более утонченные, очень напудренные эстеты, и своего рода мистики с истерией в стихах и в теле, но некоторые были и порозовее, уже приехавшие с фронта. Такой состав присутствовавших был неорганизованным, случайным, однако никого удивить не мог. Это было привычное в младших поэтических кругах «бытовое явление».

Но почти ни одному из этих маленьких денди не пришелся по вкусу Есенин: ни его наружность, ни его стихи. То, что органически их от него отталкивало, объяснялось и «петербургским» снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью к тому, что было у него и чего им не хватало: подлинности, здоровья и поэтической «внешкольности». Это была, по существу, не литературного порядка зависть, хотя им и легко было немедленно нацепить на Есенина ярлык «кустар-

ного петушка», сусального поэта. Ярлык этот оставался за ним недолго и был признан некоторыми акмеистами старшего призыва *.

Есенин, не казавшийся нелепым в этом кругу только потому, что там ничто не могло быть странным и все могло быть забавным, принимал их обращение за столичную любезность и не мог на первых порах разобраться в этой упадочной мути, которая в лице других своих представителей так вклинилась впоследствии в его биографию **.

В маленькой комнате, куда собрались после холостого беспорядочного чая, уселись очень тесно — кто на подоконнике, кто на столе, кто на полу. На полу у стенки присел и Есенин, которого хозяин просил петь частушки, напирая на то, что у него есть, как он сам говорил, и «похабные». Погасили для этой цели электричество. Но простая черноземная похабщина не показалась слушателям достаточно интересной. В углах шептались и посмеивались — не то над Есениным, не то на свои темы. Пел Сергей с перерывами, нескладно и невесело, видимо, несколько смущенный. И когда голос одного крайне наглого футуриста, читавшего перед этим поэму об аэропланах, вдруг громко произнес исключительно циничную фразу, пение оборвалось на полуслове. По общему внезапному молчанию можно было заключить, что многим стало чего-то стыдно и что это радение в темноте не могло продолжаться. Тотчас зажгли свет, и большинство гостей, в том числе Есенин, стали расходиться.

Так, попав сначала — по счастью — к поэтам старшим, Сергей познакомился со многими сверстниками по перу. Темные стороны этого неловкого знакомства точно не коснулись его тогда; он ничего серьезно не различал и не замечал, по простоте ли,

---

* Целая группа царскосельских поэтов ультимативно отказалась участвовать в изящном «Альманахе муз» (начало 1916 г.), если на страницы его будут допущены «кустарные» Клюев и Есенин. Клюев, однако, еще раньше печатался в «Гиперборее» (органе цеха поэтов), его изощренная глубинность и формальная узорчатость находили себе больше защитников.

** См. статью *Б. Лавренева* «Казненный дегенератами», вечерняя «Красная газета», 30 декабря 1925 г.

потому ли, что, упорно пробивая себе путь в этом интеллигентском лесу, ему неинтересно и не надо было ничего замечать.

В Петербурге он пробыл после этого весь апрель; об этих днях напоминает характерный снимок, сделанный плохой уличной фотографией: в пиджаке, из-под которого угловато топорщится отложной воротник рубашки, но уже в новой фетровой шляпе (ее фасона он не изменил и в Париже), Сергей вышел на снимке немного «разбойным» парнишкой с чертами хулигана. Та пастушья нежность, которой все восхищались, не нашла здесь отображения.

Его стали звать в гости в богатые семьи и в «салоны»; это усилилось с осени, когда он приехал вторично. Но мне мало приходилось его видеть в этой обстановке, достаточно анекдотической. Памятно многим, как толстые дамы лорнировали его в умилении, и стоило ему только произнести с ударением на «о» «корова» или «сенокос», чтобы все пришли в шумный восторг. «Повторите, как вы сказали, ко-ро-ва? Нет, это замечательно!» Наша общая сентиментальность, описанная мной выше, вылилась здесь в гротескные формы, а Сергей, улыбчиво и терпеливо мигая глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: «Чего они не поняли?»

Хотя у него не были еще отпущены его замечательные желтые кудри, его называли «пастушком», «Лелем», «ангелом», и всякий по-своему «норовил его по шерсти бархатной погладить».

В обращении с теми, кого он тогда еще не думал и не хотел называть «чужим и хохочущим сбродом», была в Сергее какая-то укладливая вежливость, патриархальная крестьянская благовоспитанность. Но сквозь нее, как непокорная прядь из-под скуфейки, изредка пробивался озорной, лукавый огонек, напоминавший, что «кудлатый щенок» не всегда будет забавлять их так ласково и незлобиво.

Немного позже (во второй приезд) случилось мне быть его спутником в очень аристократическом доме, где все было чопорно и строго. Его позвали прочесть стихи старому, весьма почтенному академику, знатоку литературы и мемуаристу. Хозяйка дома искренне удивлялась, что он такой «чистенький» и воспи-

танный, несмотря на простую русскую рубашку, что он как следует держит ложку и вилку и без всякой мещанской конфузливости отвечает на вопросы. Но Сергей все-таки слегка робел перед сановным академиком и норовил стоять, когда тот вел с ним беседу, так что мне приходилось тихонько дергать его сзади за рубашку, чтобы он сел.

Профессор слушал снисходительно, кое-что одобрял, но не раз вносил свои стилистические и логические поправки. «Милый друг, а Пушкина вы читали?» Сергей ответил, что читал. — «Ну так вот, подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится «на известку колоколен»[4] ? Во-первых, на известку креститься нельзя, а во-вторых, крестится не рука ваша, а вы сами», и т. п.

Не бывая лично в салоне Мережковских, где, конечно, были со своей точки зрения заинтересованы Есениным, человеком «от земли», и куда Сергею небесполезно было приходить ввиду большой влиятельности хозяев в мире журналов и критики, который ему надо было завоевать, я помню, как отзывался о них в это время Сергей. К Философову он относился очень хорошо, тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно-мягким и ласковым тоном *.

Сам Мережковский казался ему мрачным и как-то стеснял его. О Гиппиус, тоже рассматривавшей его в лорнет и ставившей ему с усмешкой испытующие вопросы, он отзывался с неудовольствием. Помню его буквальные слова по поводу одной ее статьи: «Глупая статья. Она меня как вещь ощупывает» [5]. К женщинам из литературной богемы Сергей относился с вежливой опаской и часто потешал ближайших приятелей своими впечатлениями и сомнениями по этой части...

Такова была среда, в которой поневоле вращался Сергей и с которою он был инстинктивно не менее осторожен, чем доверчив. Некоторые говорили, что

* Философов редактировал тогда небольшой журнал «Голос жизни». Впоследствии отношение к нему Сергея резко изменилось, он разочаровался в его авторитете, почувствовал его отчужденность и сильно ругал его.

его неминуемо развратят, но за него, оказалось, бояться было нечего: он был среди «иностранцев» достаточно умен и без хитрости перехитрил их. С шутливым недоверием относясь к богемной эротике, Сергей однажды рассказывал в дружеской беседе, какова бывает любовь в деревне, лирически ее идеализируя. Тут не было, помнится, никаких личных признаний, и любовь отчасти была только поводом вспомнить о рязанских девушках и природе. Ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи и в глазах тех, кто этого в действительности не знает. От этого полубыстрого описания деревенской любви у меня конкретнее всего остался в памяти образ серебрящихся ночью соломенных крыш*.

29 апреля мы проводили Сережу на вокзал. Он уехал на родину с «большими ожиданиями», зная, что вернется. В Петербурге с июня были уверены, что он в солдатах. Слух этот оказался не до конца верным. Сергей, временно освобожденный, мирно провел лето 1915 года в с. Константинове.

2

...Есенин вернулся в город в октябре 1915 года и 25 октября выступил в организованном Городецким большом вечере под названием «Краса», где кроме него и Клюева — поэтов крестьянства — выступали еще представители города — Ремизов и сам Городецкий. На этом вечере Есенин вынес наконец на эстраду свою любимую тальянку. В основу этого

---

* К деревне и дому он возвращался чуть ли не во всех наших разговорах до последнего года жизни. Он заговаривал об этом с внезапным приливом нежности и мечтательности, точно отмахиваясь от всего, что вьется и путается вокруг него в маревах беспокойного сна. Ни в коем случае не была для него деревня только основной «лирической темой» (назло формалистам). Это был просто самый почвенный уголок его личного внутреннего мира, реальнейшая точка, определяющая его сознание. Мать, сестры (особенно младшая), родина, дом — многие помнят, я думаю, как говорил о них Есенин не только в стихах.

нарочито «славянского» вечера была положена несомненная погоня за народным стилем, и с той белой с серебром русской рубашки, которую посоветовали тогда надеть Сереже, началась театрализация его выступлений, приведшая потом к поддевке и сафьяновым сапогам, в которых он и Клюев ездили в 1916 году показаться Москве (я лично не видел его в этом наряде). Нашлись в то время и иные стилизаторы, рекомендовавшие Есенину ходить в поэтической черной бархатной куртке, но народный стиль, конечно, восторжествовал над европейским. В ноябре Есенин отошел от Городецкого, и с этих пор его ближайшим другом, учителем и советчиком становится Николай Клюев, и начинается полоса их общей работы, прошедшей под знаком верности народным истокам творчества, и той «распри», о которой упоминает Есенин в автобиографии [6]. Эти сложные взаимоотношения двух индивидуально ярких поэтов, эта распря, о которой трудно говорить в коротких словах, неизбежно станут большой темой для будущего исследователя, и к ней, конечно, нельзя подходить без тонкого и бережного анализа. Но влияние Клюева на Есенина в 1916 году было, во всяком случае, огромно.

Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и философии, инстинктивно упрямо стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин почти благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжелые, многодумные, изощренно-мистические стихи и «беседные наигрыши», Сергей не раз молча указывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!

В 1916 году беседы Клюева, его особенный язык, его узорчатые рассказы об олонецких непроходимых лесах и старообрядческих скитах, о религиозной культуре севера вообще производили большое впечатление на слушателей. К единству своего пути с судьбой Есенина, к их общей крестьянской миссии Клюев относился крайне ревниво, настойчиво опекая Сергея и подчас в лицо говоря «интеллигентам», что они Есенину не нужны и ничего, кроме засорения, не принесут в его жизнь и поэзию. Из тогдашнего постоянного общения с Клюевым родился, конечно, и

теоретический трактат Есенина «Ключи Марии», вышедший впоследствии, после ссоры с Клюевым, под знаком имажинизма[7]. И, обрушиваясь позже (в 1917 году) на многих современников с запальчивостью огульного отрицания, отвергая и самого «нежного апостола» Клюева, Сергей не раз прибавлял, на минуту задумываясь: «Но зато какой поэт!»

В ином свете представляется отношение Есенина к Блоку. Их встречи не были частыми. Блока нельзя было видеть на рядовых литературных сборищах, и во внешней жизни Есенин от него почти не зависел, но изредка, по невольному влечению, приходил навестить его и поговорить с ним. Так было до 1918 года, так случилось в те дни, когда Сергей (после Октябрьской революции) упорно настаивал на том, что Блок — «плохой поэт». Был, если не ошибаюсь, только один случай, когда, явясь к Блоку, он держал себя с ним, по собственному признанию, вызывающе и дерзко, а потом объявил, вернувшись домой, что у него с Блоком кончено. Это был период, когда, вооружаясь против всех, кто говорил и пел о России, он хотел утвердить вовне одного «пророка Есенина»...

То, что было в Блоке похоже на холод и сухость, его неизменная и, может быть, углубившаяся «от дней войны, от дней свободы»[8] замкнутость всегда несколько отшатывали и уводили от него Есенина. Не мне одному приходилось замечать в нем и слышать в его словах нечто подобное отвращению к педантизму и европейской выдержанности Блока. Но инстинкт заставлял Сергея не терять его из виду. К Блоку «только сначала подойти трудно», говорил он после этих встреч. Преодолев наплывающее на него чувство отчуждения, он вновь начинал видеть в Блоке родного ему поэта, первого, к кому он пришел, и пришел не случайно.

В памяти моей осталось, как на одном из вечеров (появление на них Блока, как я сказал, было редкостью) неподвижное и несколько надменное лицо поэта вдруг прояснилось самой ребяческой улыбкой, когда на эстраде появился Сергей. Из своего одиночества Блок лучше, чем кто-либо, предупреждал об опустошающей опасности хождения по буржуазным салонам и излишнего общения с литературными деге-

нератами, советуя ему хранить себя и углубленно работать. И помню, как Сергей, сам не забывавший — в разгаре и сумбуре рассеивающих вечеров — о работе над собой и своими стихами, наставительно и серьезно уговаривал одного из приятелей готовиться к экзаменам, говоря ему: «Ну, запрись ты хоть на время от баб. Ты сиди, сиди, как Блок сидит...»

О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного из Тифлиса за год до смерти:

«Если бы у меня не было... Клюева, Блока... что бы у меня осталось? Хрен да трубка, как у турецкого святого» [9].

М. П. МУРАШЕВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Сергей Есенин появился в русской литературе внезапно, как появляются кометы в небе. Каждая комета имеет своих спутников разной величины, немало вокруг нее песка и пыли. Так и Есенин имел вокруг себя разных спутников и сопровождающие его литературные пыль и песок.

Мне, одному из первых свидетелей появления Есенина в Петрограде, пришлось с ним столкнуться вплотную на его творческом пути.

Из автобиографии Сергея Есенина известно, что первый, к кому он пришел в Петербурге, был Александр Александрович Блок, который и направил его к Сергею Городецкому и ко мне. Я в то время близко стоял к некоторым редакциям журналов.

Вот что писал мне А. Блок:

«Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш А. Блок.

P. S. Отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. (Городецкому.— *М. М.*). Посмотрите и сделайте все, что возможно.— *А. Б.*».

С этого дня начинается мое знакомство с Есениным, а впоследствии тесная дружеская связь.

Как сейчас, помню тот вечер, когда в первый раз пришел ко мне Сергей Александрович Есенин, в синей поддевке, в русских сапогах, и подал записку А. А. Блока. Он казался таким юным, что я сразу

стал к нему обращаться на «ты». Я спросил, обедал ли он и есть ли ему где ночевать? Он сказал, что еще не обедал, а остановился у своих земляков. Сели за стол. Я расспрашивал про деревню, про учебу, а к концу обеда попросил его прочесть свои стихи.

Есенин вынул из сверточка в газетной бумаге небольшие листочки и стал читать. Вначале читал робко и сбивался, но потом разошелся.

Проговорили долго. Время близилось к полуночи. Есенин заторопился. Я его удержал и оставил ночевать. Наутро я ему дал несколько записок в разные редакции и, прощаясь, предложил временно пожить у меня, пока он не подыщет комнату.

Спустя некоторое время он рассказал мне, что перед приездом в Петроград жил в Москве, учился в Университете Шанявского и уже имеет жену и сына.

Первые месяцы жизни поэта в Петрограде не были плодотворными: рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи. Помню, он принимался писать, но написанное его не удовлетворяло. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки. Не раз, бывало, ходит, ходит по кабинету и скажет:

— Миша, хочешь послушать новое стихотворение?

Читал, а сам чутко прислушивался к ритму. Затем садился и записывал.

Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось.

На второй или на третий месяц пребывания в Петрограде Сергей вдруг заявил мне:

— Михаил, мне надо съездить в деревню.

Уехал. Из деревни писал:

«У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше».

Возвращаясь из деревни, поэт всегда писал много. Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне законченным, но когда Сергей принимался его записывать, то делал так: напишет строчку — зачеркнет,

снова напишет — и опять зачеркнет. Затем напишет совершенно новую строчку. Отложит в сторону лист бумаги с начатым стихотворением, возьмет другой лист и напишет почти без помарок. Спустя некоторое время он принимался за обработку стихов; вначале осторожно. Но потом иногда изменял так, что от первого варианта ничего не оставалось.

Есенин очень много внимания уделял теории стиха. Он иногда задавал себе задачи в стихотворной форме: брал лист бумаги, писал на нем конечные слова строк — рифмы — и потом, как бы по плану, заполнял их содержанием. В то время он много читал классиков, как русских, так и иностранных. Особенно любил все вновь выходящие книги Джека Лондона. Из современных поэтов любил Белого и Блока.

Раз как-то зашел ко мне Александр Александрович Блок и принес два стихотворения для сборника (в то время я готовил для одного издательства литературный альманах). Затем мы вместе ушли. Без меня пришел Есенин. На столе нашел стихи Блока, прочел и написал записку, а внизу приписал:

«Ой, ой, какое чудное стихотворение Блока! Знаешь, оно как бы светит мне!»

Есенин очень любил стихи Блока и часто читал их на память.

Есенин зорко следил за журналами и газетами, каждую строчку о себе вырезал. Бюро вырезок присылало ему все рецензии на его стихи. Он очень прислушивался к хорошей критике, но литературная болтовня его злила.

В 1915 году мне с трудом удалось провести в жизнь устав литературно-художественного общества под названием «Страда». Есенин предлагал назвать его «Посев», но потом сам отказался от этого названия. Организационное собрание общества состоялось на квартире Сергея Городецкого.

Есенин развивал широкие планы по созданию крестьянского журнала, хотел вести отдел «Деревня», чтобы познакомить читателя с тем, как живет, чем болеет крестьянин.

— Я бы стал писать статьи,— сказал Есенин,— и такие статьи, что всем чертям было бы тошно!

Журнал организовать нам не удалось, но сборник собрали скоро. Сергей поместил в нем стихотворение «Теплый вечер» [1], которое только что привез из деревни.

Вскоре после издания сборника «Страда» вышла первая книга стихотворений Есенина — «Радуница». Получив авторские экземпляры, Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище. Потом, как бы разглядев недостатки своего первенца, проговорил:

— Некоторые стихотворения не следовало бы помещать.

Я взял книгу, разрезал упругие листы плотной бумаги и перечитывал давно знакомые строчки стихов:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

. . . .

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты [2].

Ставя книги на полку, Есенин со вздохом произнес:

— Надо приниматься за поэмы.

На книге, оставленной на моем письменном столе, Есенин написал:

«Другу славных дел о Руси «Страде великой» Михаилу Павловичу Мурашеву на добрую память. Сергей Есенин. 4 февраля 1916 г. Петроград».

Весна 1916 года. Империалистическая война в полном разгаре. Весной и осенью призывали в армию молодежь. После годовой отсрочки собирался снова к призыву и Есенин. Встревоженный, пришел он ко мне и попросил помочь ему получить железнодорожный билет для поездки на родину, в деревню, а затем

в Рязань призываться. Я стал его отговаривать, доказывая, что в случае призыва в Рязани он попадет в армейскую часть, а оттуда нелегко будет его вызволить. Посоветовал призываться в Петрограде, а все хлопоты взял на себя. И действительно, я устроил призыв Есенина в воинскую часть при петроградском воинском начальнике. Явка была назначена на 15 апреля.

Хотя поэт немного успокоился, но предстоящий призыв его удручал.

Есенин стал чаще бывать у меня. Я старался его успокоить и обещал после призыва перевести из воинской части в одно из военизированных учреждений морского министерства.

В одно из таких посещений, 15 марта 1916 года, придя домой с работы, я застал Сергея за моим письменным столом.

Он писал стихи на подвернувшихся под руку моих личных бланках.

Зная его скрытность в вопросах творчества, я немного схитрил — принес полотенце, мыло и сказал:

— На, иди мой руки. Сейчас обедать будем.

Он повиновался, а я в это время заглянул в написанное. Передо мной лежало уже законченное и переписанное стихотворение «Деревня», взятое мною потом для сборника «Творчество», в редакции которого я принимал деятельное участие.

Тут же были наброски, начальные строки других стихотворений...

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам...[3]

Перед уходом в армию Сергей принес мне на сохранение свои рукописи, а черновые наброски на моих бланках передал мне со словами:

— Возьми эти наброски, они творились за твоим столом, пусть у тебя и остаются.

За обедом мы много говорили о петроградской литературной жизни. Сергей в этот раз рассказал о своих литературных замыслах: он готовился к написанию большой поэмы.

После обеда, когда перешли в кабинет, он прочел

несколько новых стихотворений и в заключение преподнес мне свой портрет, написав на нем:

«Дорогой дружище Миша,
Ты, как вихрь, а я, как замять,
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.

Сергей Есенин. 1916 г., 15 марта».

Принимая подарок, я сказал:

— Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за дружески теплую надпись, но сохранить о себе память должен просить тебя я, так как я старше тебя намного и, естественно, должен уйти к праотцам раньше твоего.

— Нет, друг мой,— грустно ответил Сергей,— я недолговечен, ты переживешь меня, ты крепыш, а я часто трушу перед трудностями. Ты умеешь бороться с жизнью.

Сергей Есенин стал звать меня с собой к Блоку.

— Уж больно хочется повидать Александра Александровича, а я уже с месяц не видал. Миша, позвони ему по телефону, может быть, у него найдется полчаса для нас.

Позвонил. Ответили, что Блока нет дома, но ждут с минуты на минуту, к обеду. Прошел час или полтора, но ответного звонка не было.

Чтобы успокоить Сергея, я предложил пойти к Блоку на авось. Он жил недалеко. В квартире Александра Александровича нам сказали, что он звонил и приедет домой очень поздно.

Обратно пошли мы по набережной реки Пряжки. Несмотря на раннюю весну, вечер был теплый. Солнце сползало за силуэты мрачных корпусов судостроительных заводов. Гигантские краны, точно жирафы, вытянули свои шеи. Где-то ухали паровые молоты.

Прошли набережную реки Мойки, вышли к Новому адмиралтейству и завернули на Английскую набережную. Особняки петербургской знати хранили молчание. Только за зеркальными стеклами парадных подъездов изредка виднелись парчовые галуны бородатых швейцаров.

Прошли Николаевский мост, вышли к Сенатской площади. Обе набережные Большой Невы в вечерних лучах солнца казались удивительно прекрасными, их архитектурный ансамбль был строг и величествен. Лед на Неве почернел, переходы по нему закрыты.

— По этой набережной любил ходить Александр Сергеевич Пушкин,— задумчиво промолвил Есенин.

В то время я собирал материал для литературных альманахов «Дружба» и «Творчество». У меня встречались писатели, участвовавшие в редактировании сборников. Одно из таких литературных совещаний было назначено на 3 июля. Я пригласил и Сергея Есенина.

Все собрались. Пришел Есенин. Ждали Блока, но он почему-то запаздывал.

В это время, возвращаясь с концерта на Павловском вокзале, зашел ко мне скрипач К. Вслед за ним пришел художник Н., только что вернувшийся из-за границы, откуда он привез мне в подарок репродукцию с картины Яна Стыки «Пожар Рима». Эта картина вызвала такие споры, что пришлось давать высказываться по очереди. Причиной споров была центральная фигура картины, стоящая на крыше дворца с лирой в руках, окруженная прекрасными женщинами и не менее красивыми мужчинами, любующимися огненной стихией и прислушивающимися к воплям и стонам своего народа. Горячо высказывались писатели, возмущенно клеймили того, кто совмещал поэзию с пытками. Есенин молчал. Скрипач К.— тоже. Обратились к Есенину и попросили высказаться.

— Не найти слов ни для оправдания, ни для обвинения — судить трудно,— тихо сказал Есенин.

Потребовали мнения К.

— Разрешите мне сказать музыкой,— произнес он.

Все разом проговорили: «Просим, просим!»

К. вынул скрипку и стал импровизировать. Его импровизация слушателей не удовлетворяла. Он это почувствовал и незаметно для нас перешел на музыку Глинки «Не искушай» и «Сомнение». Эти звуки дополняли яркие краски картины.

В этот момент по телефону позвонил А. Блок. Услышав музыку, он спросил, что за концерт. Я рассказал, в чем дело. Он изъявил желание послушать музыку. К., зная, что его слушает А. А. Блок, сыграл еще раз «Не искушай». Блок поблагодарил К., извинился перед собравшимися, что не может присутствовать на сегодняшнем совещании из-за болезни, и просил отложить заседание на следующий день.

Сергей Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:

«Сергей Есенин.

16 г. 3 июля.

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Прим(ечание). Влияние «Сомнения» Глинки и рисунка «Нерон, поджигающий Рим». *С. Е.*»[1]

Я был поражен содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и я тут же спросил его:

— Сергей, что это значит?

— То, что я чувствую,— ответил он с лукавой улыбкой.

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:

— Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?

— Серьезно,— чуть слышно ответил Есенин.

— Тогда я вам отвечу,— вкрадчиво сказал Блок.

На другой странице этого же альбома Александр Александрович написал ответ Есенину — отрывок из поэмы «Возмездие», над которой в то время работал и которая еще нигде не была напечатана:

«ИЗ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок.

13.VII — 1916 г.» [5]

В первые годы после революции мне часто приходилось иметь связь с Московским Пролеткультом, который находился в бывшем особняке Маргариты Морозовой на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). В этом же здании проживали некоторые пролетарские поэты. Поэт М. Герасимов жил в ванной комнате, одно время вместе с ним жил и Сергей Есенин. Частым гостем у них был поэт Сергей Клычков.

В этой же ванной комнате зародилась «Московская трудовая артель художников слова». «Трудовая артель» начала издавать книжечки своих членов.

Как-то, придя на заседание московского совета Пролеткульта, я встретил в зале Сергея Есенина, который, увидав меня, радостно проговорил:

— Вот и хорошо, что пришел, помоги нам в издательских премудростях. Нам надо выбрать шрифт, формат.

Он сунул тощую книжечку образцов шрифтов типографии Меньшова и добавил:

— Входи к нам в артель.

Я дал согласие и предложил ему заходить ко мне на Волхонку в ЦК Пролеткультов...

Дней через десять Есенин с Клычковым пришли ко мне на Волхонку похвастать своими книжечками.

Есенин написал мне на книге «Сельский часослов»:

«*Милому Михаилу на ядреную ягодь слова русского.*

С. Есенин».

Через неделю, к концу рабочего дня, часов в пять, пришел ко мне Сергей Есенин, закутанный коричневым шарфом. Только светились глаза яркой лазурью из-за индевелых ресниц. Подсел к топившейся железной печурке, растирая озябшие руки, и стал рассказывать, что переехал из Маргаритиной ванны к Сахарову и приступает к серьезной работе.

Отогревшись, Сергей начал говорить о деле. Сотрудники все ушли, во всем этаже остались мы да уборщицы, подметавшие комнаты.

— Давай решим, каким шрифтом будем набирать,— предлагал Сергей.— Я думаю выбрать «антик».

Видимо, ему это слово нравилось, но шрифт этот вряд ли был ему знаком. Он вынул из кармана свою книжечку «Преображение» и написал на ней «В набор, «антик».

Список книг издания артели, находящийся в конце книги, Сергей исправил. Некоторые книги добавил, а нескольких авторов совсем вычеркнул.

Я заметил Есенину:

— Сергей, так скоропалительно нельзя отдавать в набор. Возьми свои книги, пересмотри, возможно, некоторые стихи удалишь, а новые вставишь, часть следует переработать. Собери все лучшее и побольше, на солидный томик. Я тебе дам набор не в полосах, а в гранках, ты до сдачи в типографию поработай над ними. Понял?

— Понял,— сказал Сергей и на книжке «Преображение» написал:

«Ну, тогда не в набор эту книгу, а лишь в разбор. Много в ней тебе не нравится, присмотрись, гляди, и понравится. Любящий *Сергей*. 18.I—1919 г.».

Последняя встреча с Сергеем Александровичем Есениным состоялась у меня за несколько дней до его отъезда в Ленинград в 1925 году.

Придя ко мне, Есенин был грустен и чем-то удручен.

— Что с тобой? — спросил я его.

— Плохо пишется,— ответил Сергей.

Я не стал его допрашивать больше о настроении, а предложил чаю или по стаканчику легкого вина — рислинга.

Когда я назвал слово «рислинг», Сергей лукаво улыбнулся и сказал:

— Это слово напомнило мне Питер... Альбомы далеко? Дай-ка я их перелистаю.

Я подал ему альбомы.

— Михаил, какое прекрасное начало поэмы «Возмездие» Александра Александровича Блока! Она ведь автобиографична.

Сергей передал мне альбом, а сам пошел к книжному шкафу, спрашивая: «На какой полке книги с автографами?»

— На третьей от верха.

Сергей долго стоял у книг, перебирая их, ища что-то.

— Твоя «Радуница» тоже там, книги стоят хронологически, по годам,— заметил я и принялся в альбоме рисовать, как рисуют в минуту ожидания. Рисовал большим пером, чернилами. На рисунке получился обрыв, на котором росли две березки, справа — река.

Сергей вернулся от шкафа и проговорил:

— А ну, покажи, что натворил?

— Березки как будто,— передавая ему альбом, сказал я. Сергей взял из подставки карандаш и на рисунке написал:

«Это мы с тобой.

С.Е.».

Затем вдруг Сергей заторопился уходить, проговорив:

— Проводи меня.

И мы пошли. Это была моя последняя встреча с поэтом.

Ю. Д. ЛОМАН

ФЕДОРОВСКИЙ ГОРОДОК

Сравнительно небольшие комнаты нашей квартиры на императорской ферме в Царском Селе были заставлены предметами русского старинного обихода. Уникальная парча на стенах служила красивым фоном для икон древнего письма, а на видном месте отцовского кабинета висела картина «Патриарх Гермоген» кисти В. М. Васнецова, подаренная им отцу.

По вечерам в гостиной или кабинете отца собирались художники, архитекторы, музыканты, собиратели древностей и литераторы. Велись горячие споры о русской старине, о чистоте нашей речи и о возрождении художественной Руси.

Из гостей мне запомнились художники В. М. и А. М. Васнецовы, М. В. Нестеров, Н. К. Рерих, И. Я. Билибин; архитекторы А. В. Щусев, А. В. Померанцев и С. С. Кречинский, заходил руководитель великорусского оркестра В. В. Андреев, а коллекционер древних русских икон академик Н. П. Лихачев привозил показывать редчайшие древние иконы.

Когда отец бывал в Москве, он непременно встречался с Васнецовым, Щусевым и Нестеровым.

С 1913 года отец руководил строительством Федоровского городка в Царском Селе. Этот городок строился по идее архитекторов, художников, археологов, о которых я уже говорил. Он должен был стать местом деятельности Общества возрождения художественной Руси. Официальное название городка — Городок при Федоровском государевом соборе.

Архитектурный ансамбль представлял собой обособленный городок, обнесенный кремлевской стеной со сторожевыми башнями, бойницами, каменными, с

богатой резьбой воротами. В городке было пять домов.

Перед началом строительства отец с В. М. Васнецовым ездил по Волге, осматривая памятники русской архитектурной старины.

В Городке было решено создать уникальную коллекцию древнерусских орнаментов XVI и XVII веков: коллекцию парчи, коллекцию оружия XVI века, коллекцию икон и церковной утвари XVI и XVII веков.

Городок строился на частные средства.

С 1914 года в нем был размещен лазарет для раненых солдат, а в 1916 году открылся второй, офицерский лазарет. Лазареты носили имя великих княжон Марии и Анастасии.

Кроме того, был создан военно-санитарный поезд, привозивший с фронта в Царское Село раненых, которые размещались в многочисленных царскосельских лазаретах, и санитарная колонна.

В 1915 году в одном из домов Федоровского городка отец занял две большие комнаты для своего кабинета и столовой. Он проводил в Городке целые дни и приходил домой только ночевать. В это же время моя мать заведовала хозяйством лазарета и тоже почти не бывала дома.

Каждый день после окончания школьных занятий я приходил в Городок и проводил там все свое свободное время. Моими излюбленными местами были конюшня, гараж и различные мастерские Городка. Среди детей моего возраста друзей у меня не было, и я всегда был со взрослыми — солдатами или посетителями отца. Произошло это по следующим причинам. Когда мне исполнилось шесть лет, отец свел меня в казарму и, обращаясь к солдатам своей роты, сказал: «Я привел к вам своего сына, воспитайте его так, чтобы ваши дети, если им придется служить под его командою, сказали — он хороший командир».

Как-то отец себя плохо почувствовал и сказал, что пойдет домой отдохнуть. Я увязался за ним. Через некоторое время после того, как мы пришли домой, раздался звонок, и в передней появился поэт Клюев, которого я довольно хорошо

знал, а с ним пришел очень молодой кудрявый блондин.

Поразила меня молодость гостя и его волосы. Когда гости ушли, я спросил, кто это был, отец ответил, что это крестьянский поэт, самородок Сергей Есенин и что он будет служить в Федоровском городке. Слово «поэт» я хорошо знал, отец часто говорил о том, что наш предок Юхан Ломан был крупным шведским поэтом, а дед Николай Логинович Ломан сотрудничал в журнале «Искра».

В следующий раз я увидел Есенина на концерте в солдатском лазарете. Концерт проходил в самой большой, угловой палате. Там были устроены подмостки, на которых выступали артисты. Есенин был одет в русский костюм и читал свои стихи.

После концерта отец устроил для артистов в столовой ужин. Во время ужина артисты пели и играли на различных музыкальных инструментах. Есенин читал стихи, из которых я запомнил «Русь».

Когда я был свободен от школьных занятий, я носил солдатскую форму и погоны с ефрейторской нашивкой. На погонах был вензель, состоящий из букв АΘ, ниже вензеля шли четыре буквы ЦВСП, а еще ниже цифра 143. Это означало: Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 имени императрицы Александры Федоровны.

Есенин носил такую же форму и такие же погоны.

Дело в том, что почти все солдаты, обслуживающие лазареты, числились по поезду и поочередно совершали в нем поездки.

Военно-санитарный поезд, насколько я помню, состоял из двадцати одного пульмановского вагона. Он был необычайно комфортабелен; синие вагоны с белыми крышами выглядели очень нарядно. Правда, после налета австрийской авиации крыши были перекрашены в защитный цвет.

Комендантом поезда был очень богатый человек, имевший горчичные заводы в городе Сарепта, Александр Васильевич Воронин.

Еще в 1908—1909 годах, когда отец командовал первой ротой своднопехотного полка, у него служил рядовым солдат Костюк Георгий Павлович. После окончания действительной службы он окончил курсы

и стал шофером казенной машины отца. В 1915 году он был снова призван в армию и оставался шофером в Городке. В 1916 году Костюк женился на очень хорошенькой и необычайно трудолюбивой портнихе лазарета — Вареньке. К свадьбе молодожены получили квартиру в Городке.

Вскоре после переезда на новую квартиру Костюк пригласил на новоселье отца. Как всегда, отец взял меня с собой. Кроме того, он пригласил к Костюку Есенина, артиста В. В. Сладкопевцева и художника Нарбута. Все они служили в лазарете — с той разницей, что Есенин был солдатом, а Сладкопевцев и Нарбут — военными чиновниками.

В столовой мы уже застали небольшую компанию солдат. За столом сидели шоферы Федор Прибытков и Сергей Анищенко, банщик Афанасий Воронин.

За столом было весело. Сергей Анищенко рассказывал истории из заводской жизни, которые я слушал развесив уши, потому что мир, из которого пришел Анищенко, был для меня совершенно неизвестен. В прошлом он тоже был солдат сводного полка; отслужив солдатскую службу, поступил на Балтийский завод, а затем стал шофером.

В этом же доме, только по другой лестнице, жил Есенин. В комнате стояло четыре солдатские койки, покрытые серыми одеялами, над койками дощечки с фамилиями солдат, под дощечкой полотенце с вышитым красным петухом. Одну из коек занимал Есенин, вторую — девятнадцатилетний Костя Прибытков, брат шофера Федора Ивановича Прибыткова. Костя был призван в армию почти одновременно с Есениным. У него один глаз плохо видел, и он был призван нестроевым. Я забегал к Косте и видел в комнате Есенина. Он или писал что-то, сидя на табуретке у квадратного стола, или лежал на койке.

Как-то поздно вечером приехал отец и с ним несколько человек. Среди них был Есенин, режиссер Н. Н. Арбатов, артист де Лазари, баянист Федор Ромш и гитарист Саша Макаров. Кроме того, был муж покойной артистки Марии Гавриловны Савиной — Анатолий Евграфович Молчанов. И, если мне память не изменяет, был артист Владимир Николаевич Давыдов и артистка Ростова. Они ехали прямо

на машинах в Петроград (у Есенина была увольнительная). Как сказал отец, артисты выступали в одном из царскосельских лазаретов и на перепутье заехали к нам поужинать.

В день именин великой княжны Марии Николаевны в одной из комнат офицерского лазарета состоялся концерт. Вели концерт Есенин и Сладкопевцев. Кроме того, Есенин читал свои стихи. Во втором отделении концерта был показан «Вечер в тереме боярском» в постановке Н. Н. Арбатова. На концерте была императрица и все четыре великие княжны. За участие в концерте Есенин получил золотые часы с гербом и цепочкой, Арбатов — золотую брошь, а Сладкопевцев— золотой кулон.

Вскоре состоялся следующий концерт, в нем участвовала балерина, впоследствии народная артистка СССР Агриппина Яковлевна Ваганова, певица Н. В. Плевицкая и еще много артистов, которых я не помню. Как всегда, читал свои стихи Есенин, а Сладкопевцев читал свои детские рассказы. После концерта по обыкновению для артистов был устроен ужин.

12 февраля 1917 года мы переехали на новую квартиру в здании трапезной Федоровского городка. Это был двухэтажный каменный дом, отделанный белым камнем и напоминающий Грановитую палату. В нем было много сводчатых палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых лестниц и переходов. Дом был обставлен специально сделанной мебелью в русском старинном стиле.

В трапезной палате, расписанной древними русскими гербами, происходили заседания Общества возрождения художественной Руси.

Я уверенно называю дату переезда — 12 февраля 1917 года потому, что это число выгравировано на сохранившемся у меня блюде. На нем изображен витязь, принимающий у бояр хлеб-соль. Оно покрыто красивым орнаментом с вделанными в него уральскими самоцветами.

На этом блюде в день переезда отцу поднесли хлеб-соль, и оно стояло в столовой — малой трапезной. Эта комната была весьма примечательна. Своды ее были расписаны текстами из русских пословиц,

например: «Добрая весть — коли говорят, пора есть», «Русский аппетит ничему не вредит», «Рыба — вода, ягода — трава, а хлеб — всему голова», «Что там ни говори, а на русской черной каше выросли богатыри».

Для росписи потолков были применены яичные краски — вапа. Краски были яркие и в то же самое время создавали иллюзию старины. Своим убранством комната напоминала старинные русские хоромы. Одна дверь из столовой вела в столбовую палату — музей уникальных вещей древнего русского обихода и икон.

Вскоре после нашего переезда в Городок как-то вечером в столовую пришли Есенин, Федор Прибытков, Костюк, Анищенко, Воронин, Елисей Васильевич Канаев и еще несколько солдат, фамилий которых я не помню. Есенин долго разглядывал блюдо, на котором лежал хлеб, покрытый расшитым полотенцем, и стояла старинная серебряная солонка, наполненная солью.

Закончились разговоры, и под гармонь стали петь песни. Был великий пост, и песни были соответствующие. Пели про двенадцать разбойников и про бродягу. Когда пели «Бродягу», на словах «Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша...» отец прервал пение и сказал, что «мамаша» совершенно не подходит к русскому народному языку, на что Есенин возразил, что сейчас в деревне поют частушки, язык которых становится все более и более похожим на городской.

Это был последний раз, когда я видел Есенина в Царском Селе.

...Шел 1941 год. В сентябре пятая дивизия народного ополчения заняла оборону на Пулковских высотах, в нескольких километрах от Федоровского городка. Я был одним из бойцов этой дивизии. Преграждая фашистам дорогу на Ленинград, мы вели тяжелые многодневные бои на южных подступах к городу. Во время этих боев я не раз вспоминал слова Есенина:

Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод [1].

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. В этом смысле он ничуть не был похож на того пастушка с деревенской дудочкой, которого нам поспешили представить поминальщики.

Есенин появился в Петрограде весной 1915 года. Он пришел ко мне с запиской Блока. И я и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом. В незадолго перед этим выпущенном «Первом альманахе русских и инославянских писателей» — «Велесе» уже были напечатаны стихи Клюева. Блок тогда еще высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов.

Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские «прибаски, канавушки и страдания»... Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос,— которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр,— сине-

глазый. Таким я его нарисовал в первые же дни и повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским, а дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева. Оба портрета пропали вместе с моим архивом, но портрет Есенина можно разглядеть на фотографии Мурашева.

Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам.

Что я дал ему в этот первый, решающий период? Положительного — только одно: осознание первого успеха, признание его мастерства и права на работу, поощрение, ласку и любовь друга. Отрицательного — много больше: все, что воспитала во мне тогдашняя питерская литература: эстетику рабской деревни, красоту тлена и безвыходного бунта. На почве моей поэзии, так же как Блока и Ремизова, Есенин мог только утвердиться во всех тональностях «Радуницы», заслышанных им еще в деревне. Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества.

Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и вообще все живописное искусство этого периода было отравлено совершенно особым подходом к земле, к России — подходом, окрашенным своеобразной мистикой и стремлением к стилизации. Мы очень любили деревню, но на «тот свет» тоже поглядывали. Многие из нас думали тогда, что поэт должен искать соприкосновения с потусторонним миром в каждом своем образе. Словом, у нас была мистическая идеология символизма.

Но была еще одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это — Николай Клюев.

К этому времени он был уже известен в наших кругах. Религиозно-деревенская идеалистика дала в нем благодаря его таланту самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им.

Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для

начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»

Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла. В нее входили кроме Клюева и Есенина Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были талантливы, все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов, весьма сочувственно относившийся к Есенину, и художник Рерих. Блок чуждался этого объединения. Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас. Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — «Краса». Общее выступление у нас было только одно: в Тенишевском училище — вечер «Краса». Выступали Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания. Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях. Был объявлен сборник «Краса» с участием всей группы. В неосуществившемся же издательстве «Краса» были объявлены первые книги Есенина: «Рязанские побаски, канавушки и страдания» и «Радуница».

«Краса» просуществовала недолго. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими «врагами». Вероятно, бывал там и Есенин.

Весной и летом 1916 года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Угар войны проходил, в Питере становилось душно, и осенью 16-го года я уехал в турецкую армию на фронт. В самый момент отъезда, когда я уже собрал вещи, вошли Клюев и Есенин. Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодовольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и после медоточивых слов Клюева попрощались. Как оказалось, надолго. С Есениным — до 21-го года, а с Клюевым — и того больше...

Лютой, ветреной и бесснежной зимой 1921 года я приехал на постоянную работу в Москву. Две недели мы жили в уютном и теплом вагоне, но на дальних рельсах. В первый же день оттуда пешком через пустынную, заледенелую Москву я пришел на Тверскую. День прошел в явках по месту службы. Было уже темно, когда я добрел до «Кафе поэтов». Одиночество сковывало меня. Блок и Верхоустинский умерли. Единственным близким человеком в Москве был Есенин.

Я вошел и, как был в шинели, сел на скамью. Какая-то поэтесса читала стихи. Вдруг на эстраду вышел Есенин. Комната небольшая, людей немного, костюм мой выделялся. Есенин что-то сказал, и я вижу, что он увидел меня. Удивление, проверка впечатления (только что была напечатана телеграмма о моей смерти), и невыразимая нежность залила его лицо. Он сорвался с эстрады, я ему навстречу — и мы обнялись, как в первые дни. Незабвенна заботливость, с какой он раскинул передо мной всю «роскошь» своего кафе. Весь лед 16-го года истаял. Сергей горел желанием согреть меня сердцем и едой. Усадил за самый уютный столик. Выставил целую

тарелку пирожных — черничная нашлепка на подошве из картофеля: «Ешь все, и еще будет». Желудевый кофе с молоком — «сколько хочешь». С чудесной наивностью он раскидывал свою щедрость. И тут же, между глотков, торопился все сразу рассказать про себя — что он уже знаменитый поэт, что написал теоретическую книгу, что он хозяин книжного магазина, что непременно нужно устроить вечер моих стихов, что я получу не менее восьми тысяч, что у него замечательный друг, Мариенгоф. Отогрел он меня и растрогал. Был он очень похож на прежнего. Только купидонская розовость исчезла. Поразил он меня мастерством, с каким научился читать свои стихи.

За эти две недели, что я жил в вагоне и бегал по учреждениям, я с ним виделся часто.

На другой же, вероятно, день я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно. Тут же собрал все свои книги и сделал нежнейшие надписи: на любимой тогда его книге «Ключи Марии» — «с любовью крепкою и вечною»; на «Трерядници» — «наставнику моему и рачителю». Вероятно, в этот же день состоялась большая эскапада. Он повез меня вместе с Клычковым и еще кем-то к Коненкову. Там пили, пели и плясали в промерзлой мастерской. Оттуда в пятом часу утра на Пречистенку к «Дуньке» (так он в шутку называл Дункан), о которой он мне говорил уже как о факте, который все знают. Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли.

Припоминаю еще одно посещение Айседорой Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная, со сверточком еды и апельсином, обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал, он называл этот рисунок — «в Дунькином платке». В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна.

Это было в Богословском переулке, где Есенин

жил вместе с Мариенгофом. Там я был у него несколько раз, и про один надо рассказать. Я застал однажды Есенина на полу, над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о «машине образов». На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово — название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехстепенные имажинистские сочетания образов. Я отнесся скептически к этой идее, но Есенин тогда очень верил в возможность такой «машины».

О моем вечере стихов, о встрече с Брюсовым в «Кафе поэтов» и другом не буду говорить — это сейчас стороннее.

Из всех бесед, которые у меня были с ним в то время, из настойчивых напоминаний — «Прочитай «Ключи Марии» — у меня сложилось твердое мнение, что эту книгу он любил и считал для себя важной. Такой она и останется в литературном наследстве Есенина. Она далась ему не без труда. В этой книге он попытался оформить и осознать свои литературные искания и идеи. Здесь он определенно говорит, что поэт должен искать образы, которые соединяли бы его с каким-то незримым миром. Одним словом, в этой книге он подходит вплотную ко всем идеям дореволюционного Петербурга. Но в то же самое время, когда он оформил свои идеи, он создал движение, которое для него сыграло большую роль. Это движение известно под именем имажинизма.

В страстной статье в «Красной газете» Борис Лавренев обрушился на тогдашнюю компанию Есенина, на имажинистов, называя их «дегенератами», а Есенина «казненным» ими [1]. Это не совсем верная концепция, и даже совсем неверная. Конечно, и тогдашний (и позднейший) быт Есенина сыграл свою роль в его преждевременной гибели. Близоруко видеть в имажинизме и имажинистах только губительный быт. Имажинизм сыграл гораздо более крупную роль в развитии Есенина. Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключи-

тельно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Он хотел быть европейцем. Словом, его талант не умещался в пределах песенки деревенского пастушка. Он уже тогда сознательно шел на то, чтобы быть первым российским поэтом. И вот в имажинизме он как раз и нашел противоядие против деревни, против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни.

В имажинизме же была для Есенина еще одна сторона, не менее важная: бытовая. Клеймом глупости клеймят себя все, кто видит здесь только кафе, разгул и озорство.

Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле в быту он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость внешнего дендизма. И хитрый Клюев очень хорошо понимал значение всех этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в «Четвертом Риме». «Не хочу укрывать цилиндром лесного черта рога!» «Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души!» «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу!» [2]. Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу.

Моя ошибка и ошибка всей критики, которая, впрочем, тогда почти не существовала, что «Ключи Марии» не были взяты достаточно всерьез. Если б какой-нибудь дельный — даже не марксист, а просто

материалист, разбил бы имажинистскую, идеалистическую систему этой книги, творчество Есенина могло бы взять другое русло.

Это другое русло он судорожно искал все последние годы. В рамках лирического стихотворения ему было уже тесно. Лирика разрешается или в театр или в эпос. Есенин брал и тот и другой путь. Опыт выхода в театр он проделал в «Пугачеве».

На этой книге не написано, что́ это: драма или поэма в диалоге. Вернее всего, Есенин не до конца продумал форму, когда писал «Пугачева». Но я помню, как он увлекался им. Много раз я слышал его великолепную декламацию отрывков из драмы. С широкими жестами, исступленным шепотом: «Вы с ума сошли, вы с ума сошли...» Особенно он любил читать конец. И такое же у него было властное требование отклика, как и на «Ключи Марии». На этот раз отклик я ему дал такой же полнозвучный, как и при первом его приходе ко мне. Своим пафосом темного бунта «Пугачев» захватил меня. Я сказал Есенину то же, что написал в № 75 «Труда» (22 г.): «Критика спит. Только этим можно объяснить, что крупные явления нашей литературы остаются не отмеченными. Это лучшая вещь Есенина. Она войдет в сокровищницу нашей пролетарской литературы». Однако в широкой прессе «Пугачев» не был замечен, не был поставлен на сцене, напечатан был только в тысяче экземпляров. На первую свою большого размаха работу Есенин не получил надлежащего отклика. Не увидев «Пугачева» на сцене, он больше не возвращался к драматургическому творчеству. А все данные для работы в этом направлении у него были.

Оставался путь в эпос. Очередной работой была «Страна негодяев». Ею Есенин увлекался так же, как и «Пугачевым», и говорил мне о ней, как о решающей своей работе.

Из последних встреч запомнились мне три.

Первая — на похоронах Ширяевца. Мы все остро переживали эту смерть. Похоронив друга, собрались в грязной комнате Дома Герцена, за грязным, без скатерти, столом над какими-то несчастными бутылками. Но не пилось. Пришибленные, с клубком в

горле, читали стихи про Ширяевца. Когда я прочел свое, Сергей судорожно схватил меня за руку. Что-то начал говорить: «Это ты... замечательно...» И слезы застлали ему глаза. Есенин не верил, что Ширяевец умер от нарыва в мозгу. Он уверял, что Ширяевец отравился каким-то волжским корнем, от которого бывает такая смерть. И восхищало его, что бурный спор в речах над могилой Ширяевца закончился звонкой и долгой песнью вдруг прилетевшего соловья.

Вторая встреча — ужин в том же Доме Герцена, уже в раскрашенном и убранном подвале, в октябре, вероятно, или даже в ноябре. Мы пришли компанией, Есенин уже был там. Он вскоре присоединился к нам, сел рядом. Вспоминали старину. Он был тихий, милый, грустный. Затеял пение частушек. Пел с Сахаровым свои нам, потом в ответ Вера Духовская спела свои. Голос был у него уже хриплый, лицо стертое, и сквозь этот его облик, как сквозь туман годов, виделся мне ранний, весенний Сергунька. Потом он, весь как-то исказившись, стал читать «Черного человека». Сквозь мастерство чтения пробивалась какая-то внутренняя спазма. Докончить не мог — забыл. По его волнению я видел, что здесь опять что-то для него важное. Вызов отчаянья был в нем.

И еще одна встреча, последняя, на углу Советской площади и Тверской. Он был с Толстой, под руку. Познакомил. Вид у него был скверный. «Тебе отдохнуть надо».— «Вот еду в санаторию. Иду в Госиздат деньги получать». Мы поцеловались, а следующий поцелуй он уже не мог возвратить мне.

Вся работа Есенина была только блистательным началом. Если б долю того, что теперь говорится и пишется о нем, он услышал бы при жизни, может быть, это начало имело бы такое же продолжение. Но бурное его творчество не нашло своего Белинского.

М. М. МАРЬЯНОВА

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Первая моя встреча с Есениным произошла в 1915 году в Петрограде, на обеде у Иеронима Иеронимовича Ясинского.

Воскресенье было днем, когда собирались писатели и поэты у радушного Иеронима Иеронимовича, дружески встречавшего новые таланты. Всех объединял за столом воскресный пирог и клюквенное варенье. Каждый новый гость должен был читать свои произведения — такова была традиция в доме Ясинского.

На фоне окружавших меня людей наружность Есенина показалась необычной. Больше всего привлекали внимание его голубые глаза и золотые кудри. Поражала его улыбка, необыкновенно мягкая и обаятельная.

В том, как он читал стихи, чувствовалось мастерство, можно сказать, врожденное. Мне показалось, что, читая, он иногда скашивал глаза, как бы следя за впечатлением, какое производит. Я слушала Есенина, невольно наблюдая за ним. Удовольствие было настолько большим, что мне захотелось проверить себя, и я взглянула на Ясинского. Ясинский слушал Есенина так внимательно, как никогда ни одного из поэтов. Когда Есенин закончил чтение, ему аплодировали дружно все присутствующие, и больше всех — сам хозяин.

Ясинский немало сделал для упрочения литературного успеха Есенина. Он печатал стихи молодого поэта в «Биржевых ведомостях». Тогда же по инициативе Иеронима Иеронимовича был организован альманах «Страда». Во главе его стоял меценат

Семеновский, но главным вдохновителем и редактором этого альманаха был Ясинский. Тут были напечатаны стихи Есенина, произведения Леонида Андреева, Зои Ясинской (дочь Иеронима Иеронимовича) и мои стихи «В стране напевной». Недалеко от Технологического института было небольшое помещение, на дверях его красовалась надпись — «Страда». Это и был клуб, где собирались участники общества «Страда», выступавшие со своими произведениями.

Я часто заставала там Есенина. Но, как это случается, сотрудники не поладили с редактором, а тот с меценатом, и, к огорчению всех, альманах «Страда» прекратил свое существование. Вслед за ним распалось общество «Страда» и закрылся клуб.

После нашей первой встречи у Ясинского Есенин стал бывать у меня. В то время мы с мужем Д. И. Марьяновым жили на Забалканском проспекте. В нашем доме собирались молодые, начинающие авторы. Особенно ярко запомнился один день. Пришел Есенин утром, чем-то возбужденный, радостный, попросил меня прочесть мои стихи, потом начал смотреть мой альбом и вдруг совершенно неожиданно написал:

«МАЛЬВИНЕ МИРОНОВНЕ

С. Есенин.

В глазах пески зеленые
И облака.
По кружеву крапленому
Скользит рука.
То близкая, то дальняя,
И так всегда.
Судьба ее печальная —
Моя беда.

9 июля 1916 г.»

В этот же день он написал мне в альбом стихотворение «Небо сметаной обмазано...», а несколько дней спустя — «За темной прядью перелесиц...».

Однажды мы выступали с Есениным и Ясинским в Тенишевском училище. Это было мое первое выступление, и я очень волновалась. Как во сне я поднялась по ступеням на эстраду. Мне казалось, что это не я, а кто-то другой читал за меня. Потом спустилась

вниз и увидела улыбающегося, аплодирующего Есенина.

Недели за две до Февральской революции Есенин снова зашел ко мне. В этот раз он написал в альбом стихотворение «Колокольчик среброзвонный...»

Когда началась Февральская революция, я еще находилась в Петрограде. В этот день я была на Васильевском острове и обратно уже не могла вернуться — трамваи стояли. Пришлось идти домой пешком. Вернувшись, я застала у нас Есенина. Это была наша последняя встреча в Петрограде.

А. А. БЛОК

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ПИСЕМ

9 марта 1915 г.

...Днем у меня рязанский парень со стихами [1].

...Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык.

22 апреля 1915 г.

Весь день брожу, вечером в цирке на борьбе, днем у Философова, в «Голосе жизни». Писал к Минич и к Есенину...

Дорогой Сергей Александрович!

Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем.

Вам желаю от души остаться живым и здоровым.

Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.

Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло.

Будьте здоровы, жму руку.

Александр Блок.

21 октября 1915 г.

Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо.

25 октября 1915 г.

Вечер «Краса» (Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов) — в Тенишевском училище.

3 января 1918 г.

...На улицах — плакаты: все на улицу 5 января... К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов).

Весь вечер у меня *Есенин.*

4 января 1918 г.

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я — младший (слова дóроги — только «проткнутые яйца»).

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) — как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест наверх; вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы — западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве (опять ответ на мои мысли — о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее.

Никогда не нуждался.

Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это — не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими силами выяснили).

[Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве — за его революционность.]

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Служить не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может ее проглотить, она уже его тащит за собой, не он ее [2].

22 января 1918 г.

Декрет об отделении церкви от государства...

Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «Утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему — «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя», но «нельзя простить» [3].

Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!

Правда глаза колет.

30 января 1918 г.

В редакции «Знамени труда» [4] (матерьял для первой книжки «Нашего пути»). Иванов-Разумник, Есенин, Чапыгин, Сюннерберг, Авраамов, М. Спиридонова — заглянула в дверь.— Стихотворение «Скифы»...

20 февраля 1918 г.

Совет Народных Комиссаров согласен подписать мир. Левые с.-р. уйдут из Совета.— В «Знамени труда» — мои «Скифы» со статьей Иванова-Разумника.— В «Наш путь» — Р. В. Иванов, Лундберг, Есенин.— Заседание в Зимнем дворце (об А. Б. Гиппиусе, о Некрасове, о Миролюбове). Улизнул.— Вечер в столовой Технологического института:

$9^1/_2$—12 час. (меня выпили). Есенин, Ганин, Гликин, Прждиельский, Е. Книпович, барышни, моя Люба.

21/8/ февраля 1918 г.

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поет. Сволочь подпевает ей (мой родственник). Это — слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

15 000 с красными знаменами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину.

Больше уже никакой «реальной политики». Остается лететь.

Настроение лучше многих минут в прошлом, несмотря на то, что вчера меня выпили (на концерте).

2 марта 1918 г.

В Тенишевском училище читать на вечере «Русский крестьянин в поэзии и музыке» (культурно-просветительная комиссия при объединенных демократических организациях). Устругова, Есенин. (Звал Миклашевский.) Ничего этого, очевидно, не было...

С. Т. КОНЕНКОВ

ПЕВЕЦ РУСИ

Глубокая осень. Москва 1917 года. Революция Великого Октября победоносно завершает свои дела. Умолкают последние залпы орудий с Ходынского поля по Александровскому юнкерскому училищу на Арбатской площади. Я слышу характерный звук снарядов, пролетающих через мою студию.

А повсюду музыка и пение. Народ празднует победу: всеобщее ликование, торжествующая радость, большое веселье.

У себя в мастерской на Пресне я открываю выставку своих работ: их около пятидесяти. Мой помощник и друг дядя Григорий занят последними приготовлениями к вернисажу. Он в белом фартуке с метлой в руках посыпает дорожки, подметает и ровняет песок. Большое красное знамя у входа в студию. Народ идет — дядя Григорий всех радостно встречает.

На выставке появился Есенин. Голубые глаза, волосы цвета спелой ржи, стройный, легкая походка и живой вид. Я стою и любуюсь им, и мне кажется, что мы с ним знакомы давно-давно.

А народ валом валит в студию. Народ новый: взволнованный, интересующийся. Вся Пресня здесь. Целые фабрики пришли. Рассматривают, высказывают свои суждения, спрашивают.

Скрипач Сибор у статуи Паганини исполняет лучшие произведения гениального итальянца. Растроганный музыкой, Сережа Есенин встает на стул, высоко подняв руку, выразительно жестикулирует.

Он читает новые стихи — все замерли, слушают.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер![1]

С тех пор Есенин частый посетитель моей студии. Он читает все новые и новые стихи, подолгу говорит со мной, спрашивает. Я делаю с него рисунки, вырубаю из дерева его портрет.

Время летит незаметно. Почти всегда с Есениным Сергей Клычков.

Получен ответственный заказ — я работаю над мемориальной доской в память павших Героев Революции. Поэты Есенин, Клычков и Герасимов пишут кантату, которая будет исполнена в день открытия мемориальной доски. Музыку сочиняет композитор Иван Шведов. Помню, как торжественно, величаво прозвучали строки, написанные Есениным.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц[2].

Однажды Сергей Александрович появился у меня в мастерской с Айседорой Дункан. Она предлагала поэту поехать в Европу, побывать в Америке. Из этой поездки Есенин возвратился неудовлетворенный. И Европа и Америка ему не понравились. Было ясно, что никогда он не полюбит любой другой страны и до последнего часа будет «всем существом в поэте» воспевать «шестую часть земли с названьем кратким «Русь».

Вернувшись из Америки, Есенин зашел ко мне и прямо спросил: «Каково он выглядит». Дядя Григорий коротко ему ответил: «Побурел». Есенин рассмеялся.

Вскоре с выставкой картин и скульптур русских художников я отправился в Америку. Хлопот, связанных с выставкой, заказов было столько, что я не заметил, как прошло пять лет. Устав от американской колготы, отправился в Италию. В Сорренто довелось мне встретиться с Горьким. Я лепил его портрет. Во время сеансов мы беспрестанно разгова-

ривали, конечно о России. Вспомнили Есенина. Горький запечалился, задумался надолго и сказал глухо так: «Да, там еще многие разобьют себе головы». Его пророчество сбылось. Многие поэты не пережили бурной и трудной поры. Так случилось и с титаном Маяковским, который раньше осудил слабость Есенина. Эти факты ныне принадлежат истории. Важно, что два великих русских поэта — Маяковский и Есенин — остались верными возвышенной идее Ленина и прославили в своих произведениях приход новой эры, проникновенно показав кровную связь революции и народа.

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы» [3].

Есенин говорит, что партия и после смерти Ленина еще упорнее «творит свои дела», поэт горд сознанием того, «что сумрачной порою одними чувствами я с ним дышал и жил».

Маяковский и Есенин — два характера, два больших поэта эпохи. Маяковский шел вперед и увлекал за собой других. «Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!» Есенин воспел Русь так, как никто до него, со всей несказанной поэтичностью ее природы и жизни, со всей ее патриархальностью и пережитками. И он навеки вошел в духовный мир миллионов своих сограждан.

Это был крупный, красивый человек. Его внешность, его стихи еще тогда, при жизни, казались мне явлением под стать Шаляпину. Он был обаятельнейшим человеком — таким я стремился запечатлеть его облик в памяти и скульптурных работах.

Прошло время, и сняты бесчисленные напластования легенд и сплетен, вязким илом окружавшие имя Есенина. Отныне и навсегда золотые россыпи его поэзии принадлежат каждому гражданину его родной России, всем, всем, всем.

Все, что связано с именем Сергея Александровича Есенина, дорого нам, это наша общенациональная

святыня. Думая о солнечном даре Пушкина, я невольно прихожу в мыслях к Есенину.

Он был великим патриотом и звонкозвучным певцом народа, он говорил, что Русь предпочитает раю.

Но ему досталась нелегкая доля. Не мог он до конца понять свое время и оттого жестоко мучился.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен [4].

Какая боль, какая поэтическая страсть в горьком раздумье поэта, как радостно сознавать, что его поэзия очень, очень нужна строителям нового мира, горячо любима народом, глубоко почитаема в каждом уголке Великой земли — России.

П. В. ОРЕШИН

МОЕ ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Часов около девяти вечера слышу — кто-то за дверью спрашивает меня. Дверь без предупреждения открывается, и входит Есенин.

Было это в семнадцатом году, осенью, в Петрограде, когда в воздухе уже попахивало Октябрем. Я сидел за самоваром, дописывал какое-то стихотворение. Есенин подошел ко мне, и мы поцеловались. На нем был серый, с иголочки, костюм, белый воротничок и галстук синего цвета. Довольно щегольской вид. Спрашивает улыбаясь:

— С Клюевым ты как... знаком?

— Нет.

— А с Городецким? А с Блоком?

— Нет.

Попросил чая.

— Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...

Засунул обе руки в карманы, прошелся по большой комнате, по ковру, и тут я впервые увидел «легкую походку» — есенинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин, и в первые дни нашего знакомства мне все казалось, что у него ноги длиннее, чем следует. На цветистом ковре, под электрической лампочкой, в прекрасно сшитом костюме, Есенин больше походил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэта, воспевающего тальянку и клюевскую хату, где «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты». Потом поглядел на меня так, поглядел этак и сел за стол.

— А Клычкова знаешь?

— И Клычкова не знаю.

— Ну, ладно... я не за тем пришел... Это я так... Хорошая у тебя комната!.. А Ширяевца знаешь?

— Никогда не видал.

Смеется.

— Вот чудак!

Поглядел я на него: хорош!..

Ему всего двадцать два года, от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щек». Если бы я не видел его воочию, я никогда не поверил бы, что «свет от розовой иконы на златых моих ресницах» написано им про самого себя.

А когда он встряхивал головой или менял положение головы, я не мог не сказать ему, что у него хорошие волосы, и опять он вместо ответа улыбнулся и заговорил о стихах. После я понял эту его улыбку, которая говорила: «А ты думаешь, я не знаю, что хорошо и что плохо?.. Отлично знаю!» И действительно: разве мы не читали потом: «старый клен головой на меня похож», «ах, увял головы моей куст», или «тех волос золотое сено превращается в серый цвет», или «запрокинулась и отяжелела золотая моя голова».

В комнате было холодно, пришлось подогреть самовар и достать из-за гардины с подоконника запасную колбасу и хлеб. За окном висел густой петроградский туман. Самовар крутился горячим паром к самому потолку. Я сидел на диване. Есенин под электрической лампочкой, на середине комнаты читал стихи, взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ... [1]

Голос его гремел по всей квартире, желтые кудри стряхивались на лицо. Гляжу: дверь слегка при-

открывается... Что такое? Оказывается, вся хозяйская семья, человек шесть, кроме ребят, столпились возле двери послушать Есенина. Читка его в те времена была еще не такая роскошная, какую мы слышали позже, но уже и тогда он умел отточить каждое слово, оттенить каждый образ и приковать к себе внимание слушателей. По крайней мере хозяйская семья, толпившаяся за дверью, потом уже вся постепенно влезла в комнату и простояла около часа, пока Есенин не кончил читать. Окончив чтение, Есенин сел на стул, вздернув на коленях отлично выутюженные брюки, и вопросительно прищурил глаза.

— Очень хорошо! — сказал я.

От всей моей колбасы и от всего самовара через каких-нибудь два-три часа ничего не осталось. За эти два-три часа мы переворошили всю современную литературу, основательно промыли ей кости и нахохотались до слез.

— Вот дураки! — захлебываясь, хохотал Есенин.— Они думали, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то, знаешь... я неграмотный, говорит! Через о... неграмотный! Это в салоне-то... А думаешь, я не чудил? А поддевка-то зачем! Хрестьянские, мол!.. Хотя, знаешь, я от Клюева ухожу... Вот лысый черт! Революция, а он «избяные песни»... На-ка-зание! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути...— И вдруг весело и громко, на всю квартиру: — А знаешь... мы еще и Блоку и Белому загнем салазки! Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит — здорово, а я... Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!

— А ну-ка...

Я думал, что Есенин опять разразится полным голосом и закинет правую руку на свою золотую макушку, как он обыкновенно делал при чтении своих стихов, но Есенин только слегка отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шепотом:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...

Пою и взываю:
Господи, отелись![2]

И вдруг громко, сверкая глазами:

— Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать... Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим существом, каждым своим желтым волосом в прихотливых кудрявинках, и только в синих прищуренных глазах был виден светлый кусочек этого глубокого внутреннего хохота. Волосы на разгоряченной голове его разметались золотыми кустами, и от всего его розового лица шел свет. Я совершенно искренне сказал ему, что этот образ «господи, отелись» мне тоже не совсем понятен, но тем не менее, если перевести все это на крестьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же роде. Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассмеялся.

— Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ничего тут не понимаю...

Я увидел, что Сережа хитрит, но перевести разговор на другую тему не мог. Ведь он был очень большой и настойчивый говорун, и говор у него в ту пору был витиеватый, иносказательный, больше образами, чем логическими доводами, легко порхающий с предмета на предмет, занимательный, неподражаемый говор. Сам он был удивительно юн. Недаром его звали Сережа. Юношеское горение лица не покидало его до самой смерти. Но пока он кудрявился в разговорах, я успел сообразить коечто такое, чему невозможно было не оправдаться.

Я понял, что в творчестве Сергея Есенина наступила пора яркого и широкого расцвета. В самом деле, до сей поры Есенин писал, подражая Клюеву, изредка прорываясь своими самостоятельными строками и образами. У него была и иконописная символика, заимствованная через Клюева в народном творчестве: «Я поверил от рожденья в богородицын

покров». Или: «Пойду в скуфье смиренным иноком иль белобрысым босяком». Но кто же не видит, что «пойду в скуфье смиренным иноком» — это целиком клюевская строчка, а «иль белобрысым босяком» — строчка совершенно самостоятельная, строчка есенинская, из которой в дальнейшем и развилась его поэзия. Вот его детство, написанное уже впоследствии, в пору ясного самосознания и расцвета:

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет» [3].

Вот где настоящий Есенин. Но этот настоящий Есенин уже сквозил и в те первые революционные дни. Выслушав целый ряд революционных стихотворений, написанных уже не по-клюевски, я увидел, что Есенин окончательно порывает всякую творческую связь и с Клюевым, и с Блоком, и с Клычковым, и с многими поэтами того времени, времени конца семнадцатого года, когда поэты и писатели разбивались на группы и шли кто вправо, кто влево. Есенин круто повернул влево. Но это вовсе не было внезапное полевение. Есенин принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем, что по существу он никогда не был с Клюевым. Клюеву, а вместе с Клюевым и многим в то время он говорит:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь [4].

Видя в первый раз Есенина в глаза, я изумлялся его энергии и удивлялся его внешнему виду. В нем было то, что дается человеку от рождения: способ-

ность говорить без слов. В сущности, он говорил очень мало, но зато в его разговоре участвовало все: и легкий кивок головы, и выразительнейшие жесты длинноватых рук, и порывистое сдвигание бровей, и прищуривание синих глаз... Говорил он, обдумывая каждое слово и развивая до крайних пределов свою интонацию, но собеседнику всегда казалось, например мне, что Есенин высказался в данную минуту до самого дна, тогда как до самого дна есенинской мысли на самом деле никогда и никто донырнуть не мог! Одну и ту же тему, один и тот же разговор он поворачивал и так и этак и по существу высказывался всегда одинаково, только с разных сторон, разными образами... Например, если он в семнадцатом году сказал: «Господи, отелись!», то потом, в восемнадцатом году, он, продумав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно логического оформления, и получилось вот что:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка [5].

Что это за «красный телок», можно легко догадаться. Но ведь и не в этом дело, как Есенин принял Октябрь, а в том, как его совершенно крестьянская психология художественно реагировала на события и какими путями Сергей Есенин в конце концов пришел к «Руси Советской» и к своей знаменитой «Песне о великом походе», в которых он окончательно выявил свое поэтическое и человеческое лицо...

Ночь затянулась, и первое наше знакомство сразу перешло в дружбу. Есенин уже готов был сидеть хоть до утра. Задорный смех и гневные вспышки в сторону «современных старцев» в литературе меняли Есенина: в одну и ту же минуту Есенин был грозен и прекрасен своей неподражаемой смешливой юностью.

— А знаешь,— сказал он, после того как разговор об отелившемся господе был кончен,— во мне... понимаешь ли, есть, сидит эдакий озорник! Ты знаешь, я к богу хорошо относился, и вот... Но ведь

и все хорошие поэты тоже... Например, Пушкин... Что?

Было около четырех часов утра, когда мы разошлись. Есенин надел меховой пиджак и шляпу. Я предложил ему заночевать у меня, но он отказался.

— А жену кому?.. Я, брат, жену люблю! Приходи к нам... Да вообще... так нельзя... в одиночку!

И тут, уже готовый к выходу, Есенин прочитал мне несколько стихотворений об одиночестве. Память у него была огромная, и поэтов-классиков он знал наизусть и читал превосходно. Проводив Есенина, я вернулся в свою большую холодную комнату, отнес пустой ледяной самовар на кухню, вздохнул об уничтоженной колбасе и лег спать.

После этого вечера мы виделись часто и подолгу. Я бывал у Есенина, Есенин бывал у меня. Я встречал его в редакциях газет и журналов и, к моему удивлению, видел, как быстро вширь и в глубину расцветает Есенин. Весной восемнадцатого года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есенина эта весна и этот год были исключительно счастливым временем. О нем говорили на всех перекрестках литературы того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцветал своим великолепным талантом с необыкновенной силой. Его Октябрь в творчестве стал окончательно вырываться наружу. Осенью восемнадцатого года в московских «Известиях» были напечатаны его стихи:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик [6].

Таким образом, окидывая взглядом этот первый год моего общения с Есениным, я невольно должен сказать, что такой огромный художественный рост и такая пышность расцвета творчества за один год могут быть только у совершенно исключительного и самобытного поэта, и таким исключительным и самобытным художником, удивительным человеком и тончайшим лириком был, есть и останется в истории русской поэзии Сергей Есенин.

Н. Г. ПОЛЕТАЕВ

ЕСЕНИН ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Из воспоминаний

В первый раз я встретил Есенина в 1918 году в Пролеткульте на литературном собеседовании в нарядной гостиной морозовского особняка. Кого только не перебывало на этих собеседованиях! Рядом с седовласым поэтом Вячеславом Ивановым — молодой пекарь Федор Киселев, против угрюмого Александровского — восторженный, жестикулирующий Андрей Белый, Казин, Орешин, Шершеневич. Все они называли друг друга «товарищ». Только В. Иванову да Белому делались иногда исключения: называли их по имени-отчеству. Не помню, кто читал стихи, когда вошел Есенин. Я ни разу не видел его прежде и сразу был поражен его видом. Как ни типичны были все другие фигуры, на нем прежде всего у всякого остановились бы и застыли глаза... Волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове, пышные, волнистые; черты лица тонкие, почти девичьи; голубые глаза, блестевшие необычной улыбкой. Думалось, как мог появиться здесь такой человек в годы пулеметной трескотни, гудящих аэропланов, голодного пайка? Я решил, что, наверное, это артист, пришел читать чьи-нибудь стихи, но, нечаянно услышав фамилию Есенин, я подумал: «А как он все-таки похож на свои стихи!» Но и первое мое предположение, как я потом убедился, было верно: в этом большом, глубоко волнующем поэте, на редкость искреннем, были черты театральности.

В этот же вечер Есенин прочел нам несколько своих стихотворений, из которых мне запомнились «Зеленая березка» [1] и «Вот оно, глупое счастье».

Читал он необычайно хорошо. В Москве он читал лучше всех. Недаром молодые поэты читали по-есенински:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Возможно ли было в четырех строчках нарисовать полнее картину вечера, дать этой картине движение, настроение. «Березка» его так и звенела в ушах звоном осеннего прощального ветра. В этом юноше — ему тогда было двадцать три года — мы сразу увидели большого мастера. Нечего и описывать наше удивление и восторг. Когда вечером я возвращался домой с одним старым восторженным коммунистом, он беспрерывно повторял мне:

— Подумайте только, какая сила прет из рабочей и крестьянской среды: Александровский, Казин и, наконец, такая красота — Есенин...

В этом же году я был в гостях у одного студийца Пролеткульта, куда был приглашен и Есенин. Семья, к моему величайшему тогда изумлению, оказалась буржуазной: богатая обстановка, рояль, дочь с высшим музыкальным образованием. Есенин к такому обществу и такой обстановке, казалось, уже давно привык и держался свободно, как избалованный ребенок. По просьбе хозяев он довольно охотно читал стихи, те же самые, что и в Пролеткульте, и, странное дело, за чайным столом их приятнее было слушать. Дочь хозяев очень долго и хорошо играла нам на рояле, причем Есенин особенно просил играть Вертинского. На мое удивление, что ему нравится в Вертинском, он сказал:

— Вот странно, нравится, да и все!

На вопрос дочери хозяина, нет ли у него нот на его собственные стихи, он беззаботно отвечал:

— Мне подарил Н. (он назвал одного известного и модного композитора) ноты, но они где-то запропастились.

Обычно говорил он мало, отрывистыми фразами, стараясь отвечать более жестами и улыбкой красивых глаз, в которой больше было любезности и блеска,

чем ласки и внимания... Одет он был на этот раз в костюм, как всегда, хороший, что называется с иголочки. Помню, я всегда удивлялся: крестьянский сын, двадцати всего лет, — и уже он известный поэт, он небрежно теряет ноты известного композитора, сочиненные на его стихи, он снисходительно любезно обращается с барышнями с высшим музыкальным образованием. Мы возвращались из гостей вместе: я — в свое молчаливое, как могила, Дорогомилово, он — в ванную купцов Морозовых. А кругом была вьюга, на тротуарах непроходимые горы снега. Было все непонятно и хорошо. Был восемнадцатый год. Ели мерзлую картошку, но голову не вешали. Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.

— Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!

Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел несколько гоголевских фраз из описаний природы. Он, видимо, затруднялся объяснить красоту того или другого выражения и старался передать ее мне голосом, интонацией, жестами, всеми средствами своего мастерского чтения. Вся его театральность куда-то исчезла. Передо мною вырос человек, до самозабвенья любящий красоту русского слова...

Н. А. ПАВЛОВИЧ

КАК СОЗДАВАЛСЯ КИНОСЦЕНАРИЙ «ЗОВУЩИЕ ЗОРИ»

Я встречалась с Сергеем Есениным в 1918 и 1919 годах. В 1918 году я была секретарем литературного отдела Московского Пролеткульта, а Михаил Герасимов заведовал этим отделом. Жил он там же в бывшей ванной — большой, светлой комнате с декадентской росписью на стенах; ванну прикрыли досками, поставили письменный стол, сложили печурку.

Бывая в Пролеткульте, в эту комнату заходили к Герасимову Есенин, Клычков, Орешин, а Есенин иногда оставался ночевать.

В то время наиболее видными московскими пролетарскими поэтами были Герасимов, Александровский и Полетаев. Я же была молодой, но уже печатавшейся с 1913 года писательницей из буржуазной среды. В те годы я всецело находилась под влиянием Блока, его поэзии, его статей об интеллигенции и революции. Я страстно принимала его поэму «Двенадцать», и она сыграла большую роль в моем собственном признании революции и сближении с пролетарскими поэтами...

Все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе.

Обособленность человеческая кончается, индивидуализм преодолеется в коллективе. Вместо «я»

в человеческом сознании будет естественно возникать «мы». А как же будет с художественным творчеством, с поэзией?

Можно ли коллективно создавать литературные произведения? Можно ли писать втроем, вчетвером? Об этом мы не раз спорили и решили испытать на деле. Так появились и киносценарий «Зовущие зори»[1], написанный Есениным, Герасимовым, Клычковым и мной, и «Кантата», написанная Есениным, Герасимовым и Клычковым.

Эти юношеские опыты для сегодняшнего читателя и наивны и несовершенны, но в них отразились и эпоха, и наши тогдашние художественные искания, и мы сами, до некоторой степени явившиеся прототипами отдельных персонажей. Материалом для «Зовущих зорь» послужил и Московский Пролеткульт, и наши действительные разговоры, и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха, когда бои в Кремле были вчерашним, совсем свежим воспоминанием.

Мы были и ощущали себя прежде всего поэтами, оттого и в списке авторов помечено — «поэты». Свой реалистический материал мы хотели дать именно в «преображении» поэтическом; одна из частей сценария так и названа — «Преображение». Для Есенина был особенно дорог этот высокий, преображающий строй чувств и образов. Исходил он из реального, конкретного, не выдумывая о человеке или ситуации, но как бы видя глубоко заложенное и только требующее поэтического раскрытия.

Для Есенина, как и для нас — его соавторов, было важно показать ритм и стремительность этого преображения действительности. Так, Саховой — деревенский увалень — становится одним из безымянных героев революции, офицер Рыбинцев переходит к большевикам, его жена Вера Павловна становится другим человеком и уходит вместе с женой рабочего Наташей на фронт.

Некоторые собственные психологические и даже биографические черты мы вложили в героев сценария. В Назарове, «рабочем, бывшем политэмигранте, с ярко выраженной волей в глазах и складках рта, высокого роста», есть черты Михаила Гераси-

мова, который после революции вернулся из политэмиграции. Правда, Герасимов — сын железнодорожного рабочего, спокойный, сильный и красивый человек, крепко ходящий по земле,— совсем не был похож на «вихревую птицу», как значится в сценарии. Все сравнения его с птицей, относящиеся к «преображению», задуманы Есениным. Некоторые черты Веры Павловны Рыбинцевой навеяны моим тогдашним обликом. Я была романтической интеллигенткой, попавшей в «железный» Пролеткульт. Но, конечно, отчасти узнавая себя в Рыбинцевой, я никак не могу отождествлять себя с этим персонажем сценария.

Все развитие образа Рыбинцевой — это попытка показать в художественной форме революционное перевоспитание человека, пусть вышедшего из других социальных слоев, но ставшего на сторону революции.

Разработка образа Рыбинцевой как бы по молчаливому уговору (ему и книги в руки!) была предоставлена Герасимову, но основная наметка дана всеми.

Наташа Молотова в основном разработана мной. Ее образ имеет непосредственную связь с образом Тани из моей поэмы «Серафим». Обе они вышивают алое знамя, обе уходят на демонстрацию, а потом в бой.

Саховой ближе Клычкову: от Есенина тут может быть только налет мягкого юмора. А сцены в Кремле, арест и бегство Рыбинцева должны быть отнесены главным образом к Есенину. Вся эта часть сценария идет под знаком есенинского «преображения».

Эпизоды 13, 14, 15, 16—23 мы придумывали в столовой на Арбате, куда часто ходили все вместе обедать из Пролеткульта. Я помню голые деревянные доски стола, облупленную посуду, оловянные ложки, прокуренную комнату. Отсюда как противопоставление — «величественный зал, роскошная сервировка и изобилие пищи», как это дается в картинах будущего в сценарии. В картине рабочего праздника фон — «фабричные трубы» — был данью вкусам Герасимова. Кадры «работа будет нашим отдыхом» предложены тоже Герасимовым.

Начало IV части «На фронт мировой революции» в основном принадлежит Есенину и Клычкову, а конец — Герасимову. Его же — образ «мадонны на фоне моря».

Возникает вопрос: был ли этот сценарий случайным для Есенина? Едва ли.

Весь этот непродолжительный период сближения с пролетарскими поэтами был существен для его пути. В тогдашней литературе шел сложный процесс отмирания старого и возникновения нового. Было ясно одно, что по-прежнему писать уже нельзя, что надо искать каких-то иных форм.

Есенин не мог не видеть недостатков нашего незрелого детища, но он своей рукой переписывает большую часть чистового экземпляра сценария, не отрекаясь от него, желая довести до печати.

Жизнь потом разметала нас, но «Зовущие зори» остаются для меня дорогим воспоминанием о товарищах моей молодости.

П. А. КУЗЬКО

ЕСЕНИН, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

В 1915 году в Екатеринодаре появилась новая газета либерального направления — «Кубанская мысль». Редактором этой газеты был брат известного поэта Сергея Городецкого — Борис Митрофанович Городецкий.

Я был знаком с Б. М. Городецким с 1908 года, когда он редактировал журнал «На Кавказе», в котором я сотрудничал и был секретарем редакции. И теперь он предложил мне работать в новой газете.

Осенью 1915 года к Борису Митрофановичу ненадолго приехал погостить его брат Сергей Городецкий.

Узнав, что я работаю в «Кубанской мысли», Сергей Митрофанович дал мне прочесть несколько стихотворений неизвестного мне поэта — Сергея Есенина.

Меня заинтересовал молодой поэт, и я написал статью в № 60 «Кубанской мысли» от 29 ноября 1915 года «Поэты из народа». Она оказалась одним из первых печатных откликов на стихи молодого поэта.

Когда я писал статью о Есенине, я не мог предполагать, что судьба столкнет меня с поэтом и что я буду с ним дружен.

В том же номере газеты «Кубанская мысль» было помещено и стихотворение Сергея Есенина «Плясунья», переданное в редакцию С. Городецким.

Оказалось, что Есенин печатался в те далекие времена не только в «Кубанской мысли». Много лет спустя, перелистывая старые номера «Ростовской речи», я встретил в № 6 этой газеты от 1 января 1916 года стихотворение Есенина «Русалка под

Новый год». Поскольку оно никогда больше не печаталось, я его привожу здесь.

Ты не любишь меня, милый голубь,
Не со мной ты воркуешь, с другою,
Ох, пойду я к реке под горою,
Кинусь с берега в черную прорубь.
  Не отыщет никто мои кости,
  Я русалкой вернуся весною.
  Приведешь ты коня к водопою,
  И коня напою я из горсти.
Запою я тебе втихомолку,
Как живу я царевной, тоскую,
Заману я тебя, заколдую,
Уведу коня в струи за холку!
  Ох, там терем стоит под водою —
  Там играют русалочки в жмурки,—
  Изо льда он, а окна-конурки
  В сизых рамах горят под слюдою.
На постель я травы натаскаю,
Положу я тебя с собой рядом.
Буду тешить тебя своим взглядом,
Зацелую тебя, заласкаю.

В стихотворениях «Плясунья» и «Русалка под Новый год» уже чувствуются задатки того большого лиризма и удали, которыми будет так насыщено последующее творчество Есенина.

После Великой Октябрьской революции я переехал в Петроград и работал в Народном комиссариате продовольствия.

В конце января 1918 года вновь назначенный нарком продовольствия А. Д. Цюрупа поручил мне прикрепить к секретариату коллегии несколько машинисток из числа тех, которые только что были набраны для комиссариата.

Через два-три дня ко мне подошла одна из новых машинисток, молодая интересная женщина, и спросила:

— Товарищ Кузько, не писали ли вы когда-нибудь в газете о поэте Сергее Есенине?

Я ответил, что действительно в 1915 году я написал о Есенине статью в газете «Кубанская мысль».

Протягивая мне руку и радостно улыбаясь, она сказала:

— А я жена Есенина, Зинаида Николаевна.

В тот же вечер я уже был на квартире у Есениных, которые жили где-то неподалеку от комиссариата.

Сергей Александрович встретил меня очень приветливо.

Был он совсем молодым человеком, почти юношей. Блондинистые волосы лежали на голове небрежными кудряшками, слегка ниспадая на лоб. Он был строен и худощав.

Беседуя, мы вспомнили с ним о моей статье в «Кубанской мысли» и о его стихотворении «Плясунья». Вспомнили и о Сергее Городецком.

Беседа наша затянулась допоздна. Разговор шел главным образом о поэзии и известных поэтах того времени. Деталей разговора я, конечно, не помню. Когда я собрался уходить, Сергей Александрович встал из-за стола, взял с книжной полки книжечку и, сделав на ней надпись, протянул ее мне.

— Это вам в подарок.

Книжечка была «Исус-младенец». Обложка ее разрисована красками. Отвернув обложку, я увидел надпись:

«Петру Авдеевичу за теплые и приветливые слова первых моих шагов.

Сергей Есенин. 1918».

Мы распрощались, выразив надежду, что будем часто встречаться.

Уже в московский период наших встреч Сергей Александрович сделал мне дарственные записи — на одном из первых двух сборников «Скифы» и на книжках «Пугачев», «Голубень» и «Исповедь хулигана». На сборнике «Скифы» Есенин сделал мне такую дарственную надпись:

«Милому Петру Авдеевичу Кузько на безлихвенную память.
С. Есенин. 1918, май. Москва».

После моего первого посещения Сергея Александровича началась наша дружба.

По характеру своей работы в Комиссариате продовольствия я уже побывал раза два или три в Смоль-

ном — в Совнаркоме, где мне посчастливилось близко видеть и слышать великого Ленина. Я не мог не поделиться с Сергеем Александровичем своей радостью.

Он с большим интересом стал расспрашивать меня: как выглядит Ленин, как говорит, как держится с людьми? Я ему рассказал о Ленине все, что сам мог тогда подметить во время напряженных деловых заседаний[1].

В конце февраля 1918 года мы были с Есениным на вечере в зале Технологического института, на котором выступал А. А. Блок.

Блок был восторженно встречен многочисленной аудиторией. Он читал любимые публикой — «Незнакомку», «На железной дороге», «Прошли года», «Соловьиный сад», «В ресторане».

Во время чтения Блок стоял, слегка прислонившись к колонне, с высоко поднятой головой, в военном френче.

Читал он спокойным голосом, выразительно, но без всяких выкриков отдельных слов. Он был бледен и, по-видимому, утомлен. Сидевший рядом со мной в одном из первых рядов Есенин любовно поглядывал на Блока, иногда пытливо посматривал и на меня, желая узнать мое впечатление. Один раз он не выдержал и шепнул мне на ухо:

— Хорош Блок!

По окончании концерта мы все вышли на улицу. Блока сопровождала большая толпа почитателей его таланта. Мы с Есениным, держась вместе, не упускали Блока из виду и понемногу к нему проталкивались. Когда мы остались втроем, Есенин познакомил меня с Александром Александровичем. Мы пошли провожать его домой.

Несмотря на блестящий успех своего выступления, Блок был несколько мрачноват.

По каким улицам мы шли, я сейчас не помню, я еще тогда мало знал Петроград. Одно время шли по какой-то набережной, прошли по железному мостику.

Когда постепенно разговорились, Есенин сказал Блоку, что я член коллегии Комиссариата продо-

вольствия и литературный критик, написавший о нем статью в далеком Екатеринодаре, «где живет брат Городецкого»,— пояснил Сергей Александрович. Поговорив немного о заградительных отрядах Наркомпрода и о продовольственном положении Петрограда, мы коснулись и вопроса об отношении интеллигенции к революции. Блок оживился. Это было время, когда он написал свою знаменитую поэму «Двенадцать». Все его мысли в это время были сосредоточены на вопросе об отношении интеллигенции к революции. Вопрос этот был тогда очень злободневным, тревожащим всех. Блок только что (в январе 1918 года) опубликовал на эту тему свою известную статью «Интеллигенция и Революция».

В ней он призывал интеллигенцию обратиться лицом к революции. Я читал эту статью и хорошо ее помню. Блок, весь насыщенный этой сложной проблемой, во время разговора подчеркивал, что в шуме, который он вокруг себя слышит, звучит новая музыка. Он также говорил о мире и братстве народов как о знаке, под которым проходит русская революция...

Проводив Блока, мы с Есениным отправились по домам, делясь по дороге своими впечатлениями о поэте.

Эти три месяца, проведенные в Петрограде, останутся в моей памяти навсегда.

В начале марта 1918 года Советское правительство переехало в Москву.

К этому времени наши отношения с Есениным стали настолько дружескими, что он, узнав о моем отъезде 8 марта в Москву, сам предложил мне две рекомендательные записки к своим московским друзьям-писателям. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать эти письма, которые характеризуют Есенина как заботливого и внимательного к людям человека. Одна из этих записок была адресована Белому:

«Дорогой Борис Николаевич!

Направляю к Вам жаждущего услышать Вас человека Петра Авдеевича Кузько. Примите и обогрейте его. Любящий Вас

Сергей Есенин».

Другая записка была написана к поэтессе Л. Столице:

«Дорогая Любовь Никитична!

Верный Вам в своих дружеских чувствах и всегда вспоминающий Вас, посылаю к Вам своего хорошего знакомого Петра Авдеевича Кузько.

Примите его и обогрейте Вашим приветом. Ему ничего не нужно, кроме лишь знакомства с Вами, и поэтому я был бы рад, если бы он нашел к себе отклик в Вас.

Человек он содержательный в себе, немного пишет, а общение с Вами кой в чем (чисто духовном) избавило бы его от одиночества, в которое он заброшен по судьбе России.

Любящий Вас

Сергей Есенин» [2].

Вместе с секретариатом Наркомпрода выехала в Москву и Зинаида Николаевна Есенина, а Сергей Александрович задержался в Петрограде на несколько дней.

В Москве служащие Наркомпрода разместились в нескольких гостиницах по Тверской улице. Нарком, члены коллегии и несколько ответственных работников поместились в гостинице «Красный флот» (бывш. «Лоскутная»), что находилась в снесенном теперь квартале на Манежной площади. Зинаида Николаевна поселилась тоже в одной из гостиниц на Тверской.

В Москве весны еще не чувствовалось. Снег окончательно не сошел с тротуаров, в гостиницах было сыро и неуютно.

Довольно часто Есенин приходил к нам вместе с женой, мои дети привыкли к нему и называли «дядя Сережа»...

Когда Есенин заходил ко мне в «Лоскутную», он говорил:

— Петр Авдеевич, а я написал новое стихотворение. Прочитать?

Я, конечно, выражал желание прослушать новое стихотворение и, усевшись за стол, клал перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

Обычно записанные мною стихотворения * я передавал на машинку у себя в канцелярии Зинаиде Николаевне.

Когда Есенин прочитал у меня в «Лоскутной» «Инонию», она произвела на меня очень сильное впечатление.

Нужно сказать, что о поэзии мы в то время разговаривали очень мало, а если и говорили, то только о стихотворениях Есенина.

Темой наших разговоров в это время были Октябрьская революция, ее значение и, конечно, Ленин.

Мне выпало большое счастье слышать выступления Ленина не только на заседаниях Совнаркома, но и на съездах партии, где решались очень важные вопросы.

Я говорил Есенину, что выступления Ленина незабываемы, что они поражают изумительной глубиной мысли и необыкновенной силой логики. Я рассказывал также Есенину о необычайной скромности Ленина и его простоте в отношениях с людьми и в своей личной жизни. И здесь, как и в Петрограде, Есенин с повышенным интересом расспрашивал меня о моих впечатлениях о Ленине.

Одной из постоянных тем нашего разговора была также продовольственная политика Наркомпрода, и Есенин часто спорил со мною, защищая мешочничество и ругая заградительные отряды. Есенин не всегда понимал жесткую продовольственную политику большевиков, его очень тревожило положение страны — голод, разруха.

Как-то во время одной из наших бесед (это было летом 1918 года) я рассказал Есенину о том, какую огромную организаторскую работу по снабжению населения продуктами первой необходимости выполняет А. Д. Цюрупа и его коллегия и как скромно живут нарком и его помощники. Народный комиссар продовольствия А. Д. Цюрупа обедал вместе со

---

* Так происходило и с поэмами Есенина «Пантократор», «Сельский часослов» и др. Одна из таких поэм — «Инония», записанная моей рукой, сейчас находится в Центральном архиве литературы и искусства, о чем говорится в примечании к «Инонии» во втором томе пятитомного собрания сочинений Есенина.

своими сослуживцами в наркомпродовской столовой (бывш. ресторан Мартьяныча в том же здании в Торговых рядах), причем частенько без хлеба.

Есенин попросил познакомить его с Цюрупой. Будучи секретарем коллегии, я легко устроил эту встречу.

Цюрупа был внимателен и приветлив с Есениным. Во время короткого разговора Цюрупа сказал, что он рад познакомиться с поэтом, что он о нем слышал и читал некоторые его стихотворения, которые ему понравились. При прощании Александр Дмитриевич просил передать привет Зинаиде Николаевне, которая в это время уже не работала в комиссариате. Сергей Александрович был очень доволен этим свиданием.

По характеру своей работы мне приходилось бывать в кабинете у Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова, который иногда беседовал со мной о положении продовольственного дела на местах и о крестьянстве. Однажды мы заговорили и о Есенине. Я рассказал Якову Михайловичу о своем знакомстве с поэтом. Оказалось, что Свердлов знал о Есенине и ценил его талант, хотя ему не нравилось есенинское преклонение перед патриархальной Русью.

Те два рекомендательных письма, которые дал мне в Петрограде Есенин на имя А. Белого и Л. Столицы, я все как-то не удосуживался использовать — некогда было. Месяца через три после приезда в Москву в Доме союзов состоялся литературный вечер, на котором выступал и Андрей Белый. Есенин познакомил меня с ним.

В Москве у Есенина появилось много новых друзей, в числе которых были Мариенгоф, Шершеневич, Колобов.

Есенин и Мариенгоф открыли книжный магазин на Никитской улице, который назывался магазином «Артели художественного слова».

Когда я заходил в магазин, я всегда заставал Есенина за чтением книг. Меня интересовало, что он читает. Оказалось, это были почти всегда книги древнерусской литературы, как, например, «Слово

о полку Игореве», «Послание Даниила Заточника» и др. Есенин говорил мне, что чтение таких книг обогащает его творчество. (Вспомним его книгу «Ключи Марии».)

В феврале 1919 года я был откомандирован в распоряжение украинского Наркомпрода в Киев, где пробыл до августа.

По возвращении в Москву меня направили в войска внутренней охраны республики.

Летом 1920 года меня, по просьбе наркома Луначарского, как бывшего журналиста откомандировали в распоряжение Наркомпроса, где я стал ученым секретарем Литературного отдела.

Теперь наши встречи с Есениным в основном продолжались в ЛИТО.

В ЛИТО происходили литературные «пятницы». На этих вечерах помимо пролетарских и крестьянских писателей выступали артисты Художественного театра, в том числе Качалов, Оленев, Тарасова-Шевченко, а также такие режиссеры, как Таиров, Мейерхольд, Берсенев. Заходил к нам и художник Якулов, автор проекта памятника в Баку 26 комиссарам, и многие другие.

Когда публика узнавала, что в очередную «пятницу» будет выступать Владимир Маяковский или Сергей Есенин, зал набивался до отказа.

Помню, в первом номере журнала «Художественное слово» (1920 г.), выходившем под редакцией Брюсова, появилась небольшая рецензия Валерия Яковлевича о «Голубени». Брюсов очень хорошо отозвался о «Голубени», указав и на некоторые ее недостатки. Я показал эту рецензию Есенину, он был очень обрадован.

У меня сохранилась запись от 31 января 1926 года одной из моих бесед с Мейерхольдом о Есенине.

Когда Всеволод Эмильевич был уже женат на Зинаиде Николаевне Райх (бывшей жене Есенина), я заходил к Мейерхольдам несколько раз. С Мейерхольдами жили и дети Есенина.

В одно из посещений Мейерхольда мы разговорились о Сергее Александровиче. Я попросил Всеволода Эмильевича высказать свое мнение о

Есенине и его творчестве (Всеволод Эмильевич знал его еще в Петербурге). Он сказал мне следующее:

«Путь Есенина не был прямым, ровным. Он был изгибным и излучным.

Но у Есенина был еще путь подгорья и были высокие взлеты и глубокие падения. Он жил — и его творчество временами сливалось с жизнью, и это трудно отделить.

Он рос и формировался под сильным влиянием среды, иногда ей целиком поддаваясь, иногда с нею борясь. Тут могли быть и глубокие трагические моменты.

У Есенина была борьба с петербургским влиянием мережковских, городецких и с религиозным уклоном Клюева. Затем острое изображение в определенных заостренных тонах богемной грязи и тины. Ему всегда приходилось вести борьбу с вредными влияниями.

И лиризм — оттого, что жизнь и поэзия временами в нем нераздельно сливались.

Есенин читал мне «Пугачева», и я почувствовал какую-то близость «Пугачева» с пушкинскими краткодраматическими произведениями. Есенин читал мне пьесу как бы в конкурсном порядке, когда предлагались и другие произведения к постановке. Он читал, так сказать, внутренне собравшись.

В этом чтении, визгливо-песенном и залихватски удалом, он выражал весь песенный склад русской песни, доведенной до бесшабашного своего удальского выявления. Песенный лад Есенина связан непосредственно с пляской — он любил песню и гармонику. А песня, подобна мистерии,— явление народное.

Ни Качалов, ни Книппер совсем не умеют читать Есенина».

В последний раз я видел Есенина на Тверской. Это было почти накануне его отъезда в Ленинград...

Разговор наш как-то не клеился. Мы перекинулись обычными в таких случаях фразами и разошлись...

Л. В. НИКУЛИН

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

Впервый раз я увидел его в 1918 году, в середине лета, в одном из тех московских кафе, где состоятельные господа в тот голодный год лакомились настоящим кофе с сахаром и сдобными булочками. Теперь на том месте, на углу Петровки и Кузнецкого переулка, разбит сквер, и только старожилы помнят дом с полукруглым фасадом, где было это кафе.

Постепенно состоятельные господа перекочевали на Украину, в гетманскую державу, и владельцы кафе для привлечения новых клиентов назвали свое предприятие «Музыкальной табакеркой» и за недорогую плату выпускали на эстраду поэтов. Поэты читали стихи случайной публике — эстетам в долгополых визитках и цветных жилетах, окопавшимся в тылу сотрудникам банно-прачечных отрядов — так называемым земгусарам, восторженным ученицам театральных школ; но приходили сюда и ценители поэзии, главным образом провинциалы — врачи, учителя, студенты.

Меньше всего проявляли интерес к выступающим на эстраде сами поэты, они обычно сидели не в круглом зале, а в примыкающей к нему комнате и читали друг другу стихи — свои, чужие:

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет... [1]

Спорили о вечности, о нетленной красоте, о том, что эти стихи оценят потомки, и иные были серьезно уверены в том, что вернется прежняя удобная,

приятная жизнь, а с ней придут слава и бессмертие.

Здесь я познакомился с Борисом Лавреневым. Оба мы писали стихи и, возвращаясь ночью из «Табакерки», убеждали себя в том, что сегодня были там в последний раз. Бродили по ночной Москве, разносили вдребезги литературные авторитеты, не обращая внимания на отдаленные и не слишком отдаленные выстрелы. Однако в следующий же вечер снова встречались в той же «Табакерке» — как-никак иной раз там можно было услышать самого Брюсова. По-прежнему в примыкающей к залу комнате поэты хвалились сборниками своих стихов в пестрых обложках; стихи издавали меценаты, а иногда и сами поэты, отказывая себе в самом необходимом. Какие только не изобретали названия для сборников — «Барабан строгого господина», «В лимонной гавани Иокогама»[2] или что-то в этом роде.

Все это теперь кажется нелепым, искусственным, а около сорока лет назад к этим вывертам относились серьезно, азартно спорили, восхищались, иногда заглушая то, что происходило в это время на эстраде.

Словом, в «Табакерке» был обыкновенный вечер, не обещающий ничего замечательного, но вдруг все притихли — из круглого зала донесся молодой, чистый и свежий голос, и в нем было что-то завлекательное, зовущее. Все сгрудились в арке, соединяющей комнату поэтов с залом.

На эстраде стоял стройный, в светлом костюме молодой человек, показавшийся нам юношей. Русые волосы падали на чистый, белый лоб, глаза мечтательно глядели ввысь, точно над ним был не сводчатый потолок, а купол безоблачного неба. С какой-то рассеянной, грустной улыбкой он читал, как бы рассказывая:

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы как ночь
Да глаза голубые, кроткие.

— Есенин!

Жизнь Есенина, чудо, случившееся с ним, крестьянским юношей, ставшим одним из первых русских поэтов, наших современников,— все это было хорошо известно. Но как-то странно было видеть его, автора

стихов «Русь», внешне ничем не подчеркивающего своей биографии — ни в одежде, ни в повадках. На нем не было поддевки, он не был острижен в скобку, как некоторые крестьянствующие поэты, не было и сапог с лаковыми голенищами. Светло-серый пиджак облегал его стройную фигуру и очень шел ему — такое умение с изящной небрежностью носить городской костюм я видел еще у одного человека, вышедшего из народных низов,— у Шаляпина.

Непринужденно и просто Есенин читал стихи, не подчеркивая их смысла, не нажимая по-актерски на выигрышные строфы, и стихи доходили, что называется, брали за сердце, притом читал он без тени какого-либо местного говора.

С первого взгляда Есенин производил поистине обаятельное впечатление. Я много раз слышал, как читал стихи Маяковский, слышал не раз Блока, Брюсова, Бальмонта, у каждого было что-то свое, волнующее не только потому, что мы слушали произведение из уст автора.

Мне кажется, как бы ни читал автор свои стихи, он всегда читает лучше декламатора, или, как это теперь называется, мастера художественного слова.

Голос у Есенина был тогда чистый, приятный, от этого еще трогательнее звучали проникнутые нежной грустью строфы:

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Стихи назывались «Товарищ», многие тогда уже знали, что это произведение о Февральской революции, написанное под впечатлением похорон на Марсовом поле жертв уличных боев в Петрограде.

В то время уже немало было написано стихов о революции, свергнувшей царизм, притом разными поэтами, но остались в литературе «поэтохроника» Маяковского «Революция» и «Товарищ» Есенина.

После этого вечера мне случалось довольно часто слушать Есенина, притом в разной обстановке. Надо сказать, что его с особенным вниманием слушали

неискушенные люди, в самом чтении Есенина было непостижимое очарование.

В стихах «Товарищ» есть резкая смена ритма:

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

Вместе с этой сменой ритма он сам как-то менялся. Вот блеснули глаза, вскинулась ввысь рука, и трагически, стенящим зовом прозвучало:

Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!
Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус...

И вслед за этим звонко, восторженно он выкрикнул:

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..

Дошел почти до конца стихотворения и вдруг, рванув воротник сорочки, почти с ужасом крикнул:

Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

И после долгого молчания, когда вокруг была мертвая тишина, он произнес торжественно и проникновенно:

Но спокойно звенит
        За окном,
То погаснув, то вспыхнув
        Снова,
Железное
        Слово...

И, как долгий отдаленный раскат грома, все усиливающийся, радостно-грозный:

Рре-эс-пу-у-ублика!

Успех он имел большой. Легко спрыгнув с эстрады, сел на место, за столик. Был долгий перерыв—

поэты понимали, что невыгодно читать после Есенина. К столу, где сидел Есенин, подсел какой-то, видимо незнакомый ему, человек и упорно допытывался у поэта, почему у него в стихах присутствует Исус. С кошкой этот человек еще мог примириться, но Исус его беспокоил и чем-то мешал.

Заливаясь смехом, Есенин объяснил собеседнику:

— Ну, голубчик... просто висит в углу икона, висит себе и висит.

Потом вдруг зажал уши и по-мальчишески звонко закричал:

— Братцы, спасите! Он меня замучил!

Я встречал Есенина довольно часто в Клубе поэтов на Тверской улице, ныне улица Горького, в Книжной лавке поэтов, в проезде Художественного театра. Есть люди, видевшие Есенина в тяжелые для него и для окружающих минуты; мне посчастливилось — я никогда не видел его потерявшим человеческое достоинство. Но в одной встрече было что-то горестное. Он только что возвратился из поездки в Америку. Близость его к Айседоре Дункан, американская поездка создали нездоровую сенсацию вокруг поэта. В ту пору при Московском Камерном театре Таиров создал нечто вроде мюзик-холла — артистическое кабаре под названием «Эксцентрион». Здесь собирались актеры, художники, литераторы, новинкой был вывезенный из-за границы танец «шимми», и мы увидели грузную, в открытом голубовато-зеленом платье немолодую женщину — Айседору Дункан, танцующую в паре с Таировым. Далеко за полночь пришел Есенин, он почему-то был во фраке, очевидно для того, чтобы поразить нас, но эта одежда воспринималась именно как маскарадный костюм; мне помнится, он всячески старался показать свое пренебрежение к этой парадной одежде. Озорно, по-мальчишески, он вытирал фалдами фрака пролитое вино на столе, и когда теперь, перечитывая Есенина, я нахожу строки:

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу? [3] —

я вспоминаю ту давно минувшую ночь и Есенина в одежде, которая на этот раз ему совсем не шла и была одета ради озорства.

Еще раз я слушал чтение его стихов в мастерской художника Якулова. Поэт читал чудесные стихи о жеребенке, догоняющем поезд,— стихи из «Сорокоуста».

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

С какой нежной жалостью, теплотой он произносил: «Милый, милый...» Голос, правда, уже был не тот юный, звенящий, глаза были воспаленные и точно поблекли, но по-прежнему певучая сила была в его голосе, в этих оплакивающих красногривого жеребенка стихах. Сколько доброты в иных произведениях Есенина! Кто еще может так, как он, писать о животных...

Видел я Есенина и среди имажинистов, тех декадентствующих поэтов, которые желали заработать долю славы, общаясь с ним, старались публично подчеркнуть свою близость к нему, особенно на людях. Они уводили его в уголок, о чем-то шептались, афишировали близость выкриками «Сережка!», демонстративными объятиями и поцелуями.

Затем помню прощание с умершим в Доме печати.

В гробу лежал мальчик с измученным, скорбным лицом...

Я был на вечере, где выступал Маяковский, ждали, что он прочтет только что законченное стихотворение на смерть Есенина. Те, кто приложил руку к гибели Есенина, болтали о том, что надо ожидать «выходки» со стороны Владимира Владимировича.

Стихи Маяковского о Есенине мы знаем. Они исполнены печали, и в них признание таланта и уважение к творчеству поэта. Да и не мог иначе написать Маяковский о Есенине, которого ценил, о поэте, посвятившем Ленину такие строки:

Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,

А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон [4].

Мы любили и будем любить лучшее, что создал поэт.

В сокровищнице русской поэзии стоцветными огнями сияют алмазы его стихов.

Дарование сынов нашего народа, дарование таких одаренных людей, как Сергей Есенин, еще раз убеждает нас в том, какими неисчерпаемыми творческими силами богат наш великий народ.

Рюрик ИВНЕВ

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства и Совнарком во главе с В. И. Лениным переехал в новую столицу. Петроградская область была объявлена Северной коммуной.

Нарком просвещения А. В. Луначарский, у которого я был в то время секретарем, остался в Петрограде, а меня назначил своим секретарем-корреспондентом в Москве.

Вскоре по приезде в Москву возобновились мои встречи с Есениным, с которым я был знаком в Петрограде. В это же время я познакомился с Анатолием Мариенгофом; он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем директора Еремеева.

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редакции газеты «Звезда» и напечатал несколько моих стихотворений.

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он тоже пишет стихи. Не помню, как познакомились с Есениным Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов», наделавшего в свое время много шума. Надо сказать, что если футуризм возник как бы стихийно, почти одновременно в Москве, Петрограде, Одессе и еще в кое-каких городах России, то имажинизм был чисто кабинетным течением, ибо никаких принципиальных поводов к его возникновению не было. Кроме того, ни Есенин, ни я никогда не были имажинистами в

том понимании, как это мыслилось Мариенгофом и Шершеневичем.

Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинизма, так как об этом написано довольно много и воспоминаний, и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем теория имажинизма, которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич.

В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну», то есть выхлопотать у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской (ныне улица Горького). Туда вошли кроме Есенина и меня писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.

Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.

Я долго колебался дать согласие, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин так умел уговаривать, что я сдался, тем более, что он имел еще одного мощного союзника: невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мною «уплотнился», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру писательской коммуны. Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен. Есенин не удивился, что у меня так мало вещей, потому что тогда больше теряли, чем приобретали вещи. Жизнь в коммуне началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю — других напитков он не признавал.

Здесь надо упомянуть (и это очень важно для уяснения некоторых обстоятельств жизни Есенина

после возвращения его из Америки), что в ту пору он был равнодушен к вину, то есть у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей. Ему нравилось наблюдать тот ералаш, который поднимали подвыпившие гости. Он смеялся, острил, притворялся пьяным, умышленно поддакивал чепухе, которую несли потерявшие душевное равновесие собутыльники. Он немного пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали.

Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовали. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому, проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое упадническое настроение и, как мог, утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы засядем за работу. При этом он так хитро улыбался, что я понимал, что он сам не верит тому, что говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. В противоположность Гусеву-Оренбургскому он не признавал чая — ни крепкого, ни слабого. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное свободное место в пятикомнатной квартире — это моя кровать. На остальных — застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча спихнул кого-то со своей койки и уложил меня.

На другой день, когда все гости разошлись и мы остались вдвоем, мы вдруг решили написать друг другу акростихи. В квартире было тихо, тепло, все гости разошлись, тишайший Гусев-Оренбургский пил в своей комнате свой излюбленный чай. Никто нам не мешал, и вскоре мы обменялись листками со стихами. Вот при каких обстоятельствах «родился» акростих Есенина, посвященный мне. Это было 21 января 1919 года. Вот почему Есенин к дате добавил «утро» [1].

Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось, если не увеличивалось. Я вернулся в свой «ледяной дом», проклиная его и одновременно благословляя мысль не рвать с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в коммуну, оставил за собой мою прежнюю комнату, то разразился одобрительным хохотом. Мы продолжали встречаться с ним каждый день. Оба мы сотрудничали в газете «Советская страна», выходившей раз в неделю, по понедельникам. Есенин посвятил мне свое стихотворение «Пантократор», напечатанное впервые в этой газете, я тоже посвящал ему ряд стихов.

Удивительное было время. Холод на улице, холод в учреждениях, холод почти во всех домах и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание. Когда вспоминаешь друзей, ушедших навсегда, обычно видишь их лица по-разному — то веселыми, то печальными, то восторженными, то чем-то озабоченными, но Есенин с первого до последнего дня встречи передо мной выплывает из прошлого всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринок в глазах, оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный.

Мы говорили с Есениным обо всем, что нас волновало тогда, но ни разу ни о школе имажинистов, в которую входили, ни о теории имажинизма. Тогда в голову не приходили мысли анализировать все это. Но теперь я понимаю, что это было очень характерно для Есенина, ибо весь имажинизм был «кабинетной затеей», а Есенину было тесно в любом самом

обширном кабинете. Мне кажется, что мы были похожи тогда на авгуров, которые понимали друг друга без слов. Но дружба с Есениным не помешала мне выйти из группы имажинистов, о чем я сообщил в письме в редакцию, которое было опубликовано 12 марта 1919 года в «Известиях ВЦИК» (№ 58). Оно было вызвано тем, что я не соглашался со взглядами Мариенгофа и Шершеневича на творчество Маяковского, которое я очень ценил.

Мой разрыв с имажинистами совершенно не повлиял на дружеские отношения с Есениным, мы продолжали не менее часто встречаться и после этого. 20 марта 1919 года я выехал в командировку в Киев и Харьков. Рассчитывал вернуться в Москву месяца через два. Но вихрь гражданской войны оторвал меня от Москвы на полтора года, я смог вернуться только в ноябре 1920 года.

В первый же день приезда в Москву я помчался к Есенину в Козицкий переулок. Жил он уже не в писательской коммуне, о которой я рассказывал раньше, а в том же переулке, рядом с театром Корша, вместе с Мариенгофом. В общей квартире на третьем этаже они занимали две комнаты. Было часов семь вечера. Есенина и Мариенгофа не было дома. Соседи сказали, что они на литературном вечере в Большом зале консерватории. Я отправился на Большую Никитскую. Как только я вошел в консерваторию, то первыми, кого я увидел, были Есенин и Мариенгоф. Они в это время сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки. Мое появление было для них совершенно неожиданным.

После окончания вечера они повели меня к себе, и мы до рассвета пили чай и говорили, говорили без конца обо всем, что тогда нас интересовало. Я вкратце рассказал им о моих странствиях, похожих на страницы из приключенческого романа, они — про свои литературные дела, про свое издательство и свой книжный магазин на Никитской улице, который обещали мне показать завтра же.

И вот на другой день я увидел своими глазами

этот знаменитый в то время книжный магазин имажинистов на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе — старые книги дореволюционных изданий.

Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавком (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».

Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно... Он показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.

Мариенгоф стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь — поэт за прилавком!..»

При первой встрече с Есениным и Мариенгофом не было сказано ни одного слова о моем выходе из группы имажинистов. Радость встречи после долгой разлуки была так велика, что никому из нас не приходило в голову возвращаться к прошлому и обсуждать причины моего разрыва с имажинистами.

Разумеется, мы читали друг другу свои стихи. Мариенгоф любил только «острые блюда» в стихах, у Есенина был более широкий взгляд на искусство. Любовь к поэзии у Есенина была врожденной, если так можно выразиться. Он необычайно тонко чувствовал, когда стихотворение настоящее, идущее из глубины души, и когда оно искусственное, надуманное. Есенин чувствовал, как никто, малейшее фальшивое звучание. С ним было очень легко и радостно не теоретизировать о стихах, а просто слушать его стихи и читать ему свои...

Есенину пришла в голову мысль устроить необыкновенный литературный вечер, на котором выступали бы поэты всех направлений. Мы долго обсуждали с ним этот вопрос вдвоем, потому что Мариенгоф был против устройства такого вечера «всеобщей поэзии». Он считал, что лучше устроить один «гран-

диозный вечер имажинистов, только имажинистов». Но Есенин был непреклонен, Мариенгоф махнул рукой и сказал гордо:

— Я во всяком случае не буду выступать на таком вечере.

На этом его оппозиция и закончилась, а Есенин и я начали вести переговоры с теми поэтами, которых мы считали нужным привлечь, независимо от школ и направлений. Я предложил назвать этот вечер «Россия в грозе и буре». Это название, на мой взгляд, оправдывало участие поэтов разных направлений.

Название это Есенину очень понравилось, одобрил он также и мое намерение привлечь к этому вечеру А. В. Луначарского. На другой день я пошел к Анатолию Васильевичу и рассказал ему о нашем плане. Анатолий Васильевич одобрил нашу идею и охотно дал свое согласие произнести вступительную речь.

Через недели две состоялся этот интересный и своеобразный литературный вечер, афиша которого у меня сохранилась.

Вскоре после этого произошло любопытное событие, о котором я вспомнил лишь недавно, разбирая мой архив. Нашел я письмо Луначарского к Карахану в Наркомат иностранных дел, датированное 10 февраля 1921 года:

«Уважаемый тов. Карахан!

Прошу Вас оформить поездку за границу поэтов Сергея Есенина и Рюрика Ивнева»[2].

Мы часто говорили с Есениным о далеких странах, в которых мы никогда не бывали. Кого из поэтов не влекло к путешествиям!..

Оба мы были молоды, оба любили Россию, как нам казалось, как-то особенно, своею собственной любовью, и нам хотелось, может быть даже бессознательно, заразить этой любовью чужие страны. И вот я снова у Анатолия Васильевича. Как он умел все понимать и чувствовать! К Есенину и ко мне он относился с каким-то трогательным вниманием. Я вышел от А. В. Луначарского с письмом к Карахану в НКИД.

Н. К. П. ДВОРЕЦ ИСКУССТВ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

(Большая Никитская)

В понедельник, 6-го декабря

РОССИЯ

в ГРОЗЕ и БУРЕ

вступительное слово

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ВЫСТУПЯТ:

Адалис, Андрей **Белый**, Валерий **Брюсов**,
Ада **Владимирова**, Сергей **Есенин**, Рюрик
Ивнев, Михаил **Козырев**,
Иван **Рукавишников**, Борис **Пастернак**,
Иван **Новиков**, **Д. Туманный**,
И. Эренбург

Артисты **А. Коонен и Церетели** прочтут
произведения: А. Блока, Вяч. Иванова,
Н. Клюева и др.

НАЧАЛО В 8 ЧАС. ВЕЧЕРА

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ

(Поварская, 52)

Итак решено, мы едем за границу. Все было сделано, все было готово. Но... произошло непредвиденное.

В Грузии была установлена Советская власть, а с Грузией у меня были давние связи...

И вот когда я узнал о советизации Грузии, мне страстно захотелось вернуться в страну, из которой я был изгнан меньшевиками. Возможно, что и у Есенина были какие-нибудь изменения в плане ехать за границу, теперь я уже не могу вспомнить точно, могу лишь предположить, ибо если бы Есенин сильно воспротивился моей поездке в Грузию, то я, может быть, и поборол бы желание туда поехать. Итак, снова разлука с Есениным, теперь уже не на полтора, а на два года.

Если стать спиной к отелю «Люкс» (ныне гостиница «Центральная») на улице Горького, то наискосок на противоположной стороне нельзя было не заметить в то время вывеску кафе «Стойло Пегаса». Вот в этом кафе я вновь встретил Есенина в начале августа 1923 года...

Мы знали по письмам Есенина, что гастроли Айседоры Дункан в скором времени заканчиваются и что приближается момент их возвращения в Москву, но точного дня приезда никто из нас не знал.

И вот однажды, в начале августа 1923 года, когда я находился в «Стойле Пегаса» и только что собирался заказать себе обед, с шумом распахнулась дверь кафе и появился Есенин. Как бывает всегда, когда происходят неожиданные встречи друзей, хочется сказать много, но, в сущности, ничего не говоришь... Так было и на этот раз. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин сказал мне, показывая на высокую стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом:

— Познакомься. Это моя жена Айседора Дункан.

А ей он сказал:

— Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам...

Вскоре по возвращении Есенина начались разговоры о необходимости устроить грандиозный вечер в тогдашней «цитадели поэзии» — Политехническом музее. Нашлись, конечно, и устроители, и импрессарио, и администраторы. Мариенгоф настоял на том, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел охладеть к этой школе и согласился на предложение Мариенгофа.

И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, возвещавшие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из-за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке и прочтет свои новые стихи.

...24 августа 1923 года задолго до назначенного часа народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты.

Вечер начался.

Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога.

Наконец наступило спокойствие, и в тишине зала раздался живой, но далеко не уверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие-то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к

Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще не громкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:

— Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью-Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов — мои и Айседоры Дункан.

Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:

— И это все ваши впечатления?

Есенин побледнел. Вероятно, ему казалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:

— Не выходит что-то у меня в прозе, прочту лучше стихи!

Я сразу вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петербурге и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».

Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин сразу начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всегдашним мастерством. Так бывало и прежде. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и если бы кому-нибудь из присутствовавших на вечере напомнили про беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все остальное, происходившее на вечере,— выступления других поэтов, в том числе и мое, отошли на третий план. После выступлений других поэтов снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новые и новые стихи. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.

Так закончился этот памятный вечер...

Журнал имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» начал свое существование еще до отъезда Есенина за границу. По его возвращении в Москву в нем были напечатаны новые стихи Есенина. Таким образом, его сотрудничество продолжалось, но началось уже охлаждение к журналу. В № 3 после больших колебаний он все же дал свою «Москву кабацкую», а в № 4 наотрез отказался сотрудничать.

Были у нас и новые сотрудники, как называл их Мариенгоф,— «молодое поколение» имажинистов: Иван Грузинов, Матвей Ройзман — этот славился среди нас своей кипучей энергией. Он принимал деятельное участие во всех делах, связанных с изданием журнала и будущего сборника под лаконичным заглавием «Имажинисты» с четырьмя участниками: Мариенгофом, Ивневым, Шершеневичем, Ройзманом (1925 г.).

У Есенина в ту пору назревал разрыв с Мариенгофом, и поэтому он не дал своих стихов для этого сборника...

Встречи наши с Есениным продолжались, как будто в жизни его не произошло никаких перемен, а перемены все же были. В нем не было прежней простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что-то ему чужое и опять становился самим собой, улыбался и балагурил.

Однажды он неожиданно взял мою руку и, крепко сжав, тихо проговорил:

— А все-таки ты счастливый!

— Чем же это? — спросил я удивленно.

— Будто не знаешь?

— Не знаю...

— Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь.

И он быстро переменил тему разговора, так я до сих пор и не знаю, что он имел в виду...

Разрыв между Есениным и Мариенгофом прошел как-то мимо меня. Или он не хотел меня впутывать в свои «распри», или не хотел оказывать на меня давление, чтобы я последовал его примеру и отстранился от Мариенгофа. Есенин не был никогда

ни мелочным, ни мстительным. Большое благородство души не позволяло ему искать союзников для борьбы с бывшими друзьями.

Еще до отъезда Есенина на Кавказ я посетил его в больнице на Полянке. Это было своеобразное лечебное заведение, скорее похожее на пансионат. У Есенина была своя комната — большая, светлая, с двумя окнами в одной стене и с двумя в другой. На вид Есенин был совершенно здоров.

Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал:

— Перейдем отсюда скорей. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна...

Есенин перешел к разговору о толстом журнале, который он собирается издавать. О «Гостинице для путешествующих в прекрасном» он не хотел больше слышать.

— Пусть Мариенгоф там распоряжается, как хочет. Я ни одной строчки стихов туда не дам. А ты... ты как хочешь, я тебя не неволю. Все равно в моем журнале ты будешь и в том и в другом случае. Привлеку в сотрудники и Ванечку Грузинова. Он хороший мужик. Это не то, что многие... да ну их... и вспоминать не хочу. Грузинов хорошо разбирается в стихах, из него бы критик вышел дельный и, главное, честный. Не юлил бы хвостом. И стихи у него неплохие, есть из чего выбрать для журнала. Правда, любит мудрить иногда, но это пройдет, да и кто в этом не грешен. Знаешь что, — сказал он мне вдруг, — давай образуем новую группу: я, ты, Ванечка Грузинов...

Есенин назвал еще несколько фамилий (насколько помнится, крестьянских поэтов). Я ответил ему, что группы и школы можно образовывать только до двадцати пяти лет, а после этого возраста можно оказаться в смешном положении. Ему это понравилось. Он засмеялся, но через минуту продолжал в том же духе:

— Я имажинизма не бросил, но я не хочу видеть

этой «Гостиницы», пусть издает ее кто хочет, а я буду издавать «Вольнодумец».

Потом он вдруг без всякой видимой причины опять впал в какое-то нервное состояние, опустил голову, задумался и проговорил сдавленным голосом:

— Все-таки сколько у меня врагов, и что им от меня надо? Откуда берется эта злоба? Ну скажи, разве я такой человек, которого надо ненавидеть?

Я как мог успокоил его...

Через минуту Есенин тихо сказал мне:

— Ты хорошо меня знаешь. А ведь меня не все знают хорошо. Думают, что хорошо знают, а... совсем не знают и не понимают. Есть люди, на которых я не мог бы замахнуться, если бы они даже... ударили меня. Но, правда, таких людей было очень мало. Наперечет.

В это время раздался стук в дверь. Есенин вздрогнул.

— Покоя не дают! Кто там? — откликнулся он раздраженно.

Вошла сотрудница больницы.

— А, это вы,— сразу смягчился Есенин.— Заходите, заходите. Познакомьтесь с моим другом, поэтом...

Я перебил его:

— Сережа, не надо никаких представлений.

Сотрудница взглянула на меня и улыбнулась. Я понял, что время посещения истекло, и сказал Есенину:

— Я заговорился с тобой и забыл, что у меня важное дело. Боюсь опоздать.

Есенин пробовал меня отговорить, но мне удалось убедить его, что я действительно тороплюсь по делу.

Говорят, что время лучший лекарь. И все же этот «лучший лекарь» никогда не может нас окончательно вылечить от боли, которую мы испытываем, теряя лучших друзей. Эта боль то затихает, то опять вспыхивает. И вот с этой вновь вспыхнувшей болью я и заканчиваю мои воспоминания о Есенине. Но к этой боли примешивается и радость, что того, о ком я вспоминаю, помнит вся Россия.

А. Б. МАРИЕНГОФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского центрального комитета помещался у окна, выходящего на улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора».

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Этот завиток придавал ему схожесть с хорошеньким молоденьким парикмахером из провинции, и только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее и завитка, и синей поддевки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за

массивные бронзовые канделябры и портреты «предков» — так называли мы родителей инженера, — развешанные по стенам в тяжелых рамах...

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он, запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые...

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства: «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл *заставками*, динамические, движущиеся — *корабельными*, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке...

Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречек с солеными огурцами...

Есенин поучал:

— Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком, волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот, смотри, Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески, захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чебатаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Рюрик Ивнев, и Блок... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уж он тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему, чистосердечно (а не с деланной чистосердечностою, на которую тоже был мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду

в Ригу бочки катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки — будто кто простегнул по их краям алую ниточку.

— Ну, а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!..

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезку, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только и люблю Разумника-Васильевича да Сережу Городецкого — даром, что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала...

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и, если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой.

Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «ирисник» в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем...

Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели — у девушки были большие голубые глаза.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили грелку на стол. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него, в доме Нерензея, в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек — попробуй согнуть, и сломаются.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательней перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл, черных парусах воронов; о солнце, стынущем, как лужа,

которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нерензея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

В самую эту суету со спуском «утлого суденышка» нагрянули к нам в Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку — надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца...

В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда втайне мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница...

Идем по Харькову — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими вот стихами:

Утомилась, долго бегая,
Мо́я вороха пеленок.
Слышит кто-то, как цыплята
Тонко, жалобно пищат —
пить-пить.
Прислонивши локоток,
Видит — в небе без порток
Скачет-пляшет мил дружок [1].

У Повицкого же рассчитывали найти и в Харькове кровать и угол. Спрашиваем у всех встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

— Ну ты, Лев Осипович, ступай вперед и попроси. Обрадуются — кличь нас, а если не очень — повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук пять девиц.

Повицкий был доволен:

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди!

От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обуяла веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не перевернувшись) в первом часу дня.

Все пять девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрявить его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать [2].

Из Харькова вернулись в Москву не надолго.

В середине лета «Почем соль» получил командировку на Кавказ.

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем соли» мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

— Слушаюсь, с первым отходящим...

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати — двадцати дней мы выскакиваем из вагона на Ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала,— лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и под конец ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать.

Мы пробовали успокаивать, давали клятвенные обещания, что впредь никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно молчалив и смотрел в пространство взглядом, блуждающим и просветленным, словно врата царствия небесного уже разверзлись перед ним...

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из виду.

Есенин ходил сам не свой...

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жере-

бенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

В Петровском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток в «Сорокоусте»:

Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном...

И. И. СТАРЦЕВ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

С Сергеем Александровичем я встретился впервые в 1919 году. Приехав в Москву из провинции, я навестил своего однокашника и приятеля по гимназии поэта А. Б. Мариенгофа и познакомился с проживавшим у него в комнате Есениным. Имя Есенина мне было уже хорошо знакомо.

Знакомство состоялось, и я был приглашен на завтра, на именины Сергея Александровича.

Вскоре я из Москвы уехал. В 1920 году, летом, Есенин напомнил мне о себе маленькой весточкой, прислав в Пензу, где я в ту пору проживал, сборник своих стихов «Преображение», расписав по титульному листу:

«Дорогому Старцеву. Да не старится душа пятками землю несущих.

С. Есенин. М. 1920г.».

Летом 1921 года я снова попал в Москву и не преминул опять навестить поэтов.

Есенин с Мариенгофом жили в Богословском переулке. При посещении в этот раз мне бросилась в глаза записка на дверях квартиры. Было написано приблизительно следующее: «Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить». И тут же были указаны дни и часы для приема друзей и знакомых. Не относя себя ни к одной из перечисленных категорий, я долго стоял в недоумении перед дверьми, не рискуя позвонить. Все же вошел. Есенин действительно в эту пору много работал. Он заканчивал «Пугачева».

Когда я пытался обратить внимание Есенина на установленный регламент в его жизни, он мне сказал:

— Знаешь, шляются все. Пропадают рукописи. Так лучше. А тебя, дурного, это не касается.

Усадил меня обедать и начал рассказывать, как они переименовали в свои имена улицы и раскрасили ночью стены Страстного монастыря.

В этот приезд я впервые слышал декламацию Есенина. Мейерхольд у себя в театре устроил читку «Заговора дураков» Мариенгофа и «Пугачева» Есенина. Мариенгоф читал первым. После его монотонного и однообразного чтения от есенинской декламации (читал первую половину «Пугачева») кидало в дрожь. Местами он заражал чтением и выразительностью своих жестов. Я в первый раз в жизни слышал такое мастерское чтение. По-моему, в чтении самого Есенина его вещи много выигрывали. Тотчас же после чтения я выразил ему свое восхищение. Он мне сказал:

— Вот приедешь осенью, услышишь вторую часть «Пугачева». Она должна быть лучше.

Осенью 1921 года я окончательно переселился в Москву. У Мариенгофа тогда же зародилась мысль пригласить меня заведующим «Стойлом Пегаса». Есенин эту мысль всячески поддерживал и однажды определенно высказался за то, чтобы я взялся за это дело. Самим им трудно было каждовечерне присутствовать в «Стойле» — нужен был свой человек. При переговорах об условиях работы Есениным попутно было предложено мне переселиться жить в их комнату с Мариенгофом в Богословский.

Несколько слов о пресловутом «Стойле Пегаса», наложившем немалый отпечаток как на личность, так и на творчество Есенина. Официально, так сказать,— клуб «Ассоциации вольнодумцев», запросто — «Литературное кафе».

Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись художника Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо Есенина в надписях: «Плюйся, ветер, охапками листьев».

Кого только не перебывало в «Стойле Пегаса»!

Просматривая сохранившиеся у меня афиши о выступлениях и заметки о программах вечеров в «Стойле», нахожу имена Брюсова, Мейерхольда, Якулова, Есенина, Шершеневича, Мариенгофа и множество других.

Диспуты об искусстве, диспуты о кино, о театре, о живописи, о танце Дункан, вечера поэзии чередовались изо дня в день под немолчный говор столиков. Публику, особенно провинциалов, этапировала как сама обстановка кафе, так и имена выступавших в нем поэтов, художников и театральных деятелей. Есенин играл главную роль как председатель «Ассоциации вольнодумцев», как единоличный почти владелец кафе и как лучший из выступавших там поэтов.

Передавая мне руководство «Стойлом Пегаса», Есенин вводил меня в мельчайшие подробности дела.

Обязанность по составлению программы литературных выступлений в кафе лежала на мне. И мне немало пришлось повоевать с Есениным на этой почве. Есенин неизменно каждый раз, когда я его вставлял в программу и предупреждал утром о предстоящем выступлении, принимал в разговорах со мной официальный тон и начинал торговаться о плате за выступление, требуя обычно втридорога больше остальных участников. Когда я пытался ему доказать, что по существу он не может брать деньги за выступление, являясь хозяином кафе, он неизменно мне говорил одну и ту же фразу:

— Мы себе цену знаем! Дураков нет!

Обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания со столиков при выступлении Есенина тотчас же прекращались. Слушали его с напряженным вниманием. Бывали вечера его выступлений, когда публика, забив буквально все щели кафе, слушала, затаясь при входе в открытых дверях на улице.

Излюбленными вещами, которые Есенин читал в эту зиму, были «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Песнь о хлебе», глава о Хлопуше из «Пугачева», «Волчья гибель»[1], «Не жалею, не зову, не плачу».

В эту зиму он начал проявлять склонность к вину. Все чаще и чаще, возвращаясь домой из «Стойла», ссылаясь на скуку и усталость, предлагал он завернуть в тот или иной кабачок — выпить и освежиться.

И странно, он не столько пьянел от вина, сколько досадовал на чье-нибудь не понравившееся ему в разговоре замечание, зажигая свои нервы, доходя до буйства и бешенства.

Читал Есенин в это время мало и неохотно. Бывало, принесешь книгу из магазина и покажешь ее Есенину. Он ее возьмет в руки, осмотрит со стороны корешка, заглянет на цифру последней страницы и одобрительно скажет:

— Ничего себе книжка.

И тут же спросит:

— Сколько стоит?

Но, видимо, он читал много раньше. «Слово о полку Игореве» знал почти наизусть. Из писателей самое большое впечатление на него производил Гоголь, особенно «Мертвые души».

— Замечательно! Умереть можно! Как хорошо!— цитировал он целые страницы наизусть.

Разбирая «Бесы» Достоевского, говорил:

— Ставрогин — бездарный бездельник. Верховенский — замечательный организатор.

С особым преклонением относился к Пушкину. Из стихов Пушкина любил декламировать «Деревню» и особенно «Роняет лес багряный свой убор».

— Видишь, как он! — добавлял всегда после чтения и щелкал от восторга пальцами.

Из современников любил Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева. Души не чаял в Клычкове и каждый раз обижал его. Несколько раз восторгался «Серебряным голубем» Белого.

— Знаешь, Белый замечательно понимает природу! Удивляться надо! — И читал наизусть описание дороги мимо села Гуголева, восхищаясь плотскими судорогами рябой Матрены.

Из левых своих современников почитал Маяковского.

— Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном,— говаривал он,— и многие о него споткнутся...

Возглавляя «Ассоциацию вольнодумцев» и литературную группу имажинистов, считаясь метром возглавляемой им школы, он редко говорил об имажинизме, расценивая его исключительно с точки зре-

ния своего личного творчества. Школе имажинизма он не придавал особого значения в ряде других литературных течений, прекрасно сознавая свою силу и правоту как поэта прежде всего и затем уже как имажиниста. Модернизированную литературу Есенин не любил, разговоры о ней заминал, притворяясь из скромности непонимающим.

К остальным видам искусства относился равнодушно. Концертную музыку не любил, тянуло его к песням, очевидно, по деревенскому наследию.

Пел мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя наиболее выразительные места жестами, хватаясь за голову или разводя руками. Народных частушек и частушек собственного сочинения пел он бесконечное множество. Пел их не переставая, часами, особенно под аккомпанемент Сандро Кусикова на гитаре и под «зыканье» на губах Сахарова. Любил слушать игру Коненкова на гармонике или гуслях. О живописи никогда не говорил. Любил коненковскую скульптуру. Восторгался до слез его «Березкой» и однажды, проходя со мной мимо музея по Дмитровке, обратился ко мне с вопросом, был ли я в этом музее. На отрицательный мой ответ сказал:

— Дурной ты! Как же это можно допустить, ведь тут Сергея Тимофеевича «Стенька Разин» — гениальная вещь!

Коненковым была выстругана из дерева голова Есенина. Схватившись рукой за волосы, с полуоткрытым ртом, был он похож, особенно в те моменты, когда читал стихи. В свое время она была выставлена в витрине книжного магазина «Артели художников слова» на Никитской. Есенин не раз выходил там на улицу — проверять впечатление — и умилительно улыбался.

В эту зиму ему на именины был подарен плакатный рисунок (художника не помню) — сельский пейзаж. На рисунке была изображена церковная колокольня с вьющимися над ней стрижами, проселочная дорога и трактир с надписью «Стойло». По дороге из церкви в «Стойло» шел Есенин, в цилиндре, под руку с овцой. «Картинка» много радовала Есенина. Показывая ее, он говорил:

— Смотри, вот дурной, с овцой нарисовал!

Уезжая за границу, он бережно передал ее на сохранение в числе других архивных мелочей, записок и писем А. М. Сахарову.

О творчестве своем распространяться не любил, но обижался, когда его вещи не нравились. Случалось, люди, скверно о нем отзывавшиеся, делались его врагами. Не обижался он только на одного Коненкова, которому считал обязанностью прочитывать все свои новые вещи. Коненков, хватаясь за бороду, подчас обрушивался не него криком,— и к поучениям его Есенин всегда прислушивался.

У Есенина была своеобразная манера в работе. Он брался за перо с заранее выношенными мыслями, легко и быстро облекая их в стихотворный наряд. Если это ему почему-либо не удавалось, стихотворение бросалось. Закинув руки за голову, он, бывало, часами лежал на кровати и не любил, когда его в такие моменты беспокоили. Застав однажды Есенина в таком состоянии, Сахаров его спросил, что с ним. Есенин ответил:

— Не мешай мне, я пишу.

Вот почему мне показалось однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано (по существу, оформлено на бумаге) стихотворение «Волчья гибель».

Возвратясь домой усталый, я повалился на диван. Рядом со мной сидел Есенин. Не успел я задремать, как слышу, меня кто-то будит. Открываю глаза. Надо мной — склонившееся лицо Есенина.

— Вставай, гусар, послушай!

И прочитал написанную им с маху «Волчью гибель».

Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им уже спустя некоторое время, по мере того, как он прислушивался к собственному голосу в чтении.

В этот же день Есенин читал «Волчью гибель» в «Стойле Пегаса». Возвращаясь домой после чтения, он по дороге сделал замечание:

— Это я зря написал: «Из черных недр кто-то спустит сейчас курки». Непонятно. Надо — «Из пасмурных недр». Так звучит лучше.

И, придя домой, сейчас же исправил.

Сопоставляя два этих эпитета в стилистическом разряде описания травли волка, мы видим, что замена слова «черный» — «пасмурным» действительно оживляет и конкретизирует описание. Таким исправлениям подвергалось почти каждое его стихотворение. Запроданный Есениным в свое время Кожебаткину и не осуществленный издателем первый том собрания его сочинений должен хранить в корректурах следы таких исправлений.

Работал Есенин вообще уединенно и быстро. Бывало, возвращаешься домой и случайно застаешь его изогнувшимся за столом или забравшимся с ногами на подоконник за работой. Он сразу отрывался. В руках застывали листки бумаги и огрызок карандаша. Если стихотворение было хотя бы вчерне и даже частично только написано, Есенин его сейчас же вслух зачитывал целиком, на отзыв, зорко присматриваясь к слушателям.

Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры «Пугачева» и, уходя в «Стойло», забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеременно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папке. И что же — в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру «Пугачева») и сожгла ее. Корректура была выправлена на следующий день вновь.

«Пугачев» доставлял ему самое большое удовлетворение. Он долго ожидал от критики заслуженной оценки и был огорчен, когда критика не сумела оценить значительность этой вещи.

— Говорят, лирика, нет действия, одни описания,— что я им, театральный писатель, что ли? Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве»— все в природе! Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт. Лирика! Да знают ли они, что человек человека может зарезать в самом наилиричном состоянии? — негодовал Есенин.

Есенин, между прочим, не один раз говорил мне, что им выкинута из «Пугачева» глава о Суворове. На мои просьбы прочитать эту главу он по-разному отнекивался, ссылаясь каждый раз на то, что он запамятовал ее, или просто на то, что она его не удовлетворяет и он не хочет портить общее впечатление. Рукопись этой главы, по его словам, должна находиться у Г. А. Бениславской, которой он ее якобы подарил.

Есенин долго готовился к поэме «Страна негодяев», всесторонне обдумывая сюжет и порядок событий в ней. Мысль о написании этой поэмы появилась у него тотчас же по выходе «Пугачева». По первоначальному замыслу поэма должна была широко охватить революционные события в России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны были быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих «кризисов» первых годов революции. Он мне читал тогда же набросанное вчерне вступление к этой поэме: приезд автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор, но аналогичное по схеме начало в «Пугачеве» его смущало, и он этот отрывок вскоре уничтожил. От этого отрывка осталось у меня в памяти сравнение поэта с синицей, которая хвасталась, но моря не зажгла. Обдумывая поэму, он опасался впасть в отвлеченность, намереваясь подойти конкретно и вплотную к описываемым событиям. Ссылаясь на «Двенадцать» Блока, он говорил о том, как легко надорваться над простой с первого взгляда и космической по существу темой. Поэму эту он так и не написал в ту зиму и только уже по возвращении из-за границы читал из нее один отрывок. Первоначальный замысел этой поэмы у него разбрелся по отдельным вещам: «Гуляй-поле» и «Страна негодяев» в существующем тексте.

Есенин мало заботился о внешности своих книг, не разбирался в шрифтах, не любил рисованных обложек.

Памятью он обладал колоссальной. Схватывал и запоминал прочитанные однажды стихи. В сборнике «Явь» в 1918 году было помещено (единственное,

написанное мной) стихотворение. Сидя как-то в компании, он сказал улыбаясь:

— Знаешь, ты самый знаменитый из поэтов. Из каждого поэта я знаю по нескольку стихотворений, а твое я помню полное собрание сочинений наизусть.

И тут же прочитал с утрированной манерой мое стихотворение, звонко рассмеявшись.

Не любил он поэтических разговоров и теорий. Отрицал выученность, называя ее «брюсовщиной», полагаясь всем своим поэтическим существом на интуицию и свободную походку слова. Поэту придавал лишь организующую роль в словесном механизме. Однажды задумался над созданием «машины образов». Говорил о возможности изобретения такого механического приспособления, в котором слова будут располагаться по выбору поэта, как буквы в ремингтоне. Достаточно будет повернуть рычаг — и готовые стихотворения будут выбрасываться пачками. Старался это доказать. Делал из бумаги талоны, раздавал их присутствующим, заставляя писать на каждом талоне по одному произвольно взятому слову. Выпавшие на талонах слова немедленно дополнялись соответствующим содержанием, связывались в грамматические формулы и укладывались в стихотворные строфы. Получалось по-есенински очень талантливо, но не для всех убедительно. Есенин хотел написать о своей «машине образов» целое теоретическое исследование, потом охладел и совершенно забыл об этом.

К сожалению, я не записывал тогда и теперь не помню ни одного механического экспромта.

Возвращаемся однажды на извозчике из Политехнического музея. Разговорившись с извозчиком, Есенин спросил его, знает ли он Пушкина и Гоголя.

— А кто они такие будут, милой? — озадачился извозчик.

— Писатели, знаешь, памятники им поставлены на Тверском и Пречистенском бульварах.

— А, это чугунные-то? Как же, знаем! — отвечал простодушный извозчик.

— Боже, можно окаменеть от людского простодушия! Неужели, чтобы стать известным, надо превратиться в бронзу? — грустно заметил Есенин.

Весной 1922 года * Есенин отправился с Дункан в заграничное путешествие. Стояло туманное утро. Мы с Сахаровым спешили на аэродром попрощаться с улетавшим на аэроплане в Кенигсберг. У каждого из нас была затаенная в глубине надежда, что Есенин останется. Расставаясь с нами накануне, считаясь уже официально мужем Дункан, Есенин терялся и не находил нужных слов. На аэродром мы опоздали. Аэроплан был уже высоко в воздухе, удаляясь от Москвы. Уезжая за границу, Есенин хотел оставить А. М. Сахарову завещание на все свои печатные труды и неопубликованные рукописи. Не знаю, состоялось ли нотариальное оформление этого любопытного акта или нет.

Возвратился он из-за границы в августе 1923 года. В личной беседе редко вспоминал про свое европейское путешествие (ездил в Берлин, Париж, Нью-Йорк). Рассказывал, между прочим, о том, как они приехали в Берлин, отправились на какое-то литературное собрание, как там их приветствовали и как он, вскочив на столик, потребовал исполнить «Интернационал» ко всеобщему недоумению и возмущению. В Париже он устроил скандал русским белогвардейским офицерам, за что якобы тут же был жестоко избит. Про Нью-Йорк говорил:

— Там негры на положении лошадей!

За границей он работал мало, написал несколько стихотворений, вошедших потом в «Москву кабацкую». Большею частью пил и скучал по России.

— Ты себе не можешь представить, как я скучал. Умереть можно. Знаешь, скука, по-моему, тоже профессия, и ею обладают только одни русские.

Выглядел скверно. Производил какое-то рассеянное впечатление. Внешне был европейски вылощен, меняя по нескольку костюмов в день. Вскоре после приезда читал «Москву кабацкую». Присутствовавший при чтении Я. Блюмкин начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта. Дума-

* 10 мая.

ется, что в большей своей части «Москва кабацкая» была отзвуком «Стойла Пегаса», тем более, что в некоторых из стихотворений проскальзывают мысли, которые он тогда же высказывал и топил их в вине. За границей было переведено несколько его сборников — и это немало его радовало.

Вскоре по возвращении из-за границы он разошелся с Дункан. Переехал к себе на старую квартиру в Богословском. Назревал конфликт с имажинизмом и, в частности, с Мариенгофом.

После разрыва с Мариенгофом не пожелал оставаться в общей квартире и перекочевал временно ко мне на Оружейный.

У него не было квартиры. Мы с женой предлагали ему окончательно перебраться в нашу большую и светлую комнату, где бы он мог спокойно работать и отдыхать. Отнекивался. То собирался ехать в санаторий поправлять нервы, то говорил:

— Пойду к Каменеву, попрошу себе жилье. Что такое, хожу, как бездомный!

Бесприютность его очень тяготила. Не раз с обидой за себя заговаривал о своей прежней жене. Положение действительно было очень тяжелое. Вещи и рукописи были разбросаны по разным квартирам Москвы. Ночуя у меня и желая утром переодеться, он подчас бывал вынужден или одалживать необходимые ему вещи или тащиться за своими вещами в другой конец Москвы, где они были оставлены.

Летом 1924 года умер Ширяевец. Придя ко мне с этой печальной вестью, Есенин повалился на диван, разрыдался, заметив сквозь слезы:

— Боже мой, какой ужас! Пора и мне собираться в дорогу!

Укладываясь спать, он настойчиво просил жену разбудить его как можно раньше. Утром он попросил нашить ему на рукав траур. Собрал на похороны Ширяевца всех близких знакомых, пригласил священника. Вечером в «Стойле» после похорон Ширяевца вскочил на эстраду, сообщил находившейся в кафе публике о смерти своего лучшего друга и горько заметил:

— Оживают только черви. Лучшие существа уходят навсегда и безвозвратно.

М. Д. РОЙЗМАН

«ВОЛЬНОДУМЕЦ» ЕСЕНИНА

Из воспоминаний

1

«Ассоциация вольнодумцев в Москве» была задумана и создана Есениным. Это было одно из первых культурно-просветительных учреждений, основанных при Советской власти. Как это видно из устава, ассоциация ставила целью «духовно-экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции и ведущих самое широкое распространение творческой революционной мысли и революционного искусства человечества путем устного и печатного слова». Действительными членами ассоциации могли быть «мыслители, художники, как-то: поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы...» Далее в уставе приводился обычный для такого рода организаций порядок созыва общего собрания, выбора совета ассоциации, который позднее стал называться правлением, а также порядок поступления средств ассоциации, складывающихся из доходов от лекций, концертов, митингов, изданий книг и журналов, работы столовой и т. п.

Под уставом ассоциации стояли подписи: Сергей Есенин, Д. И. Марьянов, Я. В. Блюмкин, А. Мариенгоф, А. Сахаров, Ив. Старцев, М. Герасимов, А. Силин, Колобов, Марк Криницкий, В. Шершеневич, М. Ройзман.

Под этими подписями было напечатано:

«Подобные общества в Советской России в утверждении не нуждаются. Во всяком случае, целям ас-

социации я сочувствую и отдельную печать разрешаю иметь.

Народный Комиссар по просвещению

А. Луначарский. 24/IX—19 г.».

Впоследствии членами ассоциации были утверждены скульптор С. Т. Коненков, режиссеры Вс. Мейерхольд, А. Таиров и другие.

Председателем ассоциации с самого начала был избран Есенин. С февраля 1920 года секретарем — пишущий эти строки.

Между мной и Есениным сложились очень теплые взаимоотношения. Мне приходилось выступать в качестве представителя ассоциации по разным делам, но главным образом со всякими заявлениями и ходатайствами относительно литературного кафе «Стойло Пегаса». За работу мне, как Есенину, Мариенгофу, Ивневу и другим, отчислялась равная со всеми доля с чистой прибыли кафе. Сергей нередко писал мне «хозяйственные» записки, и вот одна из них, оставленная мне в 1921 году в конверте с надписью: секретарю ассоциации имярек:

«*Милый Мотя*!

Нам нужны были деньги. Мы забрали твой миллиард триста, а ты получи завтра. На журнале сочтемся.

С. Есенин».

На одном из первых заседаний ассоциации было постановлено издавать два журнала: тонкий, который начал выходить под названием «Гостиница для путешествующих в прекрасном», и толстый, которому Есенин дал название «Вольнодумец» и взял его редактирование лично на себя.

После приезда из-за границы он с большим усердием принялся за организацию журнала...

В 1924 году я жил в Газетном переулке (ныне улица Огарева), на шестом этаже. Ко мне заходил Есенин с И. Грузиновым, Б. Пильняком, А. Мариенгофом, иногда один.

7 апреля около десяти часов утра в квартире раздался звонок, я отпер входную дверь,— передо мной

стояли Сергей Есенин и Всеволод Иванов. Они сняли пальто. Оба были в серых костюмах светлого тона, полны безудержного веселья и солнечного дыхания весны. У Есенина в глазах сверкали синие огни, с лица не сходила знакомая всем улыбка и делала его, в золотой шапке волос, обворожительным юношей. Иванов, видимо, хотел казаться солидным, хмурил брови, поджимал губы, но Сергей толкнул его локтем в бок, и Всеволод, не выдержав, засмеялся и сразу стал добродушным, привлекательным. Еще идя по коридору, они, перебивая друг друга, восклицали: «Теперь будет читать, как миленький», «Надо бы туда же и директора!», «Он — толстый, не влезет!». Усевшись в моей комнате на кресла, гости посвятили меня во вчерашнее их похождение.

Возвращаясь с именин, они проходили мимо Малого театра и увидели вывешенную при входе афишу с объявленным на две недели вперед репертуаром. Все это были старые русские и зарубежные драмы. Сергей и Всеволод возмутились: в театре не идет ни одна советская пьеса! Им часто жаловались драматурги на то, что театры не только не принимают советские вещи к постановке, но даже отказываются читать. Есенин и Иванов решили поговорить по душам с заведующим литературной частью и прошли через артистический подъезд к нему в кабинет. Заведующий — благообразный, худощавый и спокойный человек — был удивлен и обрадован приходом известных писателей. Сперва беседа шла в мирном тоне, но, когда заведующий стал доказывать, что высокочтимые артисты не находят для себя в новых драматических произведениях выигрышных ролей, Всеволод любезно осведомился, читает ли он, заведующий, пьесы советских авторов. Тот закивал головой и даже слегка возмутился: что за вопрос! Тогда Есенин предложил своеобразную игру в фанты: заведующему будут названы пять советских пьес, если хотя бы одну он читал и расскажет содержание,— выигрыш на его стороне, если нет,— победили они, писатели. Заведующий пересел с дивана на кресло, потер руки и согласился. Выяснилось, что ни одной из пяти пьес, которые ему назвали, он не читал. Только одна была известна ему — увы! — по заглавию.

— Признаетесь, что проиграли? — спросил Всеволод.

— Признаюсь! — вздохнул заведующий.

— А ну, взяли! — скомандовал Есенин.

В одно мгновение легковесный заведующий был аккуратно водворен под диван...

Рассказывая об этом, мои гости подошли к книжным шкафам. Всеволод полистал брошюру «Гудини — король цепей», потом вынул из книги Миллера «Моя система» собранные мной программы чемпионата французской борьбы в цирке Р. Труцци с портретами налитых мускулами участников. Иванов сказал, что был борцом в цирке, и назвал еще две-три свои профессии. Но позднее я узнал, что до тех пор, пока он стал писателем, их было у него, пожалуй, больше, чем у Джека Лондона.

Покопавшись в сборниках стихов, Есенин извлек альманах 1915 года «На помощь жертвам войны «Клич». Он нашел стихотворение Александра Ширяевца «Зимнее» и прочитал его вслух:

Там — далече, в снежном поле,
Бубенцы звенят.
А у месяца соколий
Ясный взгляд...

Во серебряном бору
Дрогнет Леший на ветру,
Караулит бубенцы...
— Берегитесь, молодцы!

— Хорошие стихи, а напечатали в подборку,— произнес с досадой Есенин, захлопывая сборник.— Такого безобразия в «Вольнодумце» не будет!

Я спросил, дано ли разрешение на издание «Вольнодумца». Он ответил, что теперь это его меньше всего волнует. Он подбирает основных сотрудников журнала, для чего встречается с многими писателями и поэтами. По его планам, в «Вольнодумце» будут участвовать не связанные ни с какими группами литераторы. Они должны свободно мыслить!

Он хотел печатать в «Вольнодумце» прозу и поэзию самого высокого мастерства, чтобы журнал поднялся на три головы выше «Красной нови» и стал об-

разцом для толстых журналов. Конечно, в «Вольнодумце» обязательно будут помещаться произведения молодых авторов, только с большим отбором и с условием, если у них есть что-нибудь за душой.

Он говорил о журнале, то вскакивая с кресла, то снова опускаясь на него. Он распределял в «Вольнодумце» материал, сдавал его в типографию, корректировал, беседовал с директором Госиздата, договаривался о распространении издания с Б. Ф. Малкиным.

Иванов напомнил ему об отделе «Вольные думы», где должны помещаться статьи и письма критиков, читателей, авторов. Есенин привел воображаемый пример: вот на страницах журнала напечатана вещь, вот вокруг нее в отделе поднялась драка: одни хвалят, другие ругают, третьи ни то ни се! Но перья скрипят, интерес подогревается. Редакция, автор, критик читают и на ус наматывают.

Я спросил, кто намечен в сотрудники «Вольнодумца». Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов. Для поэзии старая гвардия: Брюсов, Белый, Блок — посмертно. Еще: Городецкий, Клюев.

— А новая гвардия?

— Будет! Надо договориться впрок!

— Значит, имажинистов отметаешь, Сережа?

— С чего ты взял?

Он сел в кресло, попросил бумаги. Я вынул мою записную книжку «День за днем», открыл чистую страницу с отрывными листочками и положил перед ним. Взяв карандаш, он стал писать:

«В правление Ассоциации вольнодумцев.

Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом «Вольнодумец», в который и приглашаю всю группу».

Он поднес карандаш ко рту, чтобы послюнявить его, но карандаш был цветной, и я отвел его руку. Он посмотрел на меня и одним взмахом написал следующее:

«В журнале же «Гостиница» из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более, что он мариенгофский».

Сергей немного подумал и добавил:

«Я капризно заявляю, почему Мариенгоф напечатал себя на первой странице, а не меня».

Действительно, третий номер «Гостиницы» Мариенгоф открыл подборкой собственных стихов, а «Москва кабацкая» была напечатана на восьмой странице. До этого номера все произведения располагались в алфавитном порядке фамилий авторов.

Сергей подписался, поставил дату. Я спросил, если кто-нибудь захочет послать ему свои вещи для «Вольнодумца», куда их направлять. Он на следующем отрывном листке моей записной книжки написал:

«Гагаринский пер., д. 1, кв. 12». Потом зачеркнул и снова вывел адрес: «Гагаринская ул., угол Французской набережной, д. № 1, кв. 12. А. Сахаров. С. Есенину».

Это был ленинградский адрес, и я спросил, будет ли Сергей привлекать к работе в «Вольнодумце» тамошний «Воинствующий орден имажинистов». Он ответил, что раньше посмотрит стихи, а потом решит.

Поглядев на наручные часы, Иванов заявил, что пора ехать: он собирался с Сергеем на три дня в село Константиново.

Оба стали пересчитывать деньги, и выяснилось, что их хватит только на дорогу. Я вспомнил, что «Ассоциация вольнодумцев» что-то должна Сергею за выступления. Полистав записную книжку, я нашел цифру: четыре червонца. Я выдал эти деньги Есенину, и он расписался на квитанции.

Я проводил моих гостей и пожелал им счастливого пути. Каково же было мое удивление, когда на следующий день я увидел в Книжной лавке деятелей искусств Всеволода. Он объяснил, что, выйдя от меня, они сообразили, что на утренний поезд опоздали, а вечером ехать в Константиново поздно. Они отправились в ресторан «Не рыдай!».

— Отличное заведение,— сказал Иванов,— но дорогое. А впрочем, мы не рыдали...

2

На следующий день с утра я принялся звонить по телефону имажинистам и выяснил: Есенин для «Вольнодумца» договорился с Грузиновым о статье; Н. Эрд-

ман подберет отрывок из пьесы; Р. Ивнев заявил, что о «Вольнодумце» знает, не верит в то, что журнал будет, но, если нужно, даст новые стихи; Шершеневич удивился, почему Сережа сам ему не позвонил,— или забыл номер телефона; художники Георгий Якулов и Борис Эрдман согласились сделать для журнала все, что нужно Есенину; Мариенгофу я показал записку Сергея в «Стойле Пегаса», он прочитал, пожал плечами, сказал, что с него хватит «Гостиницы», но ассоциация давно ждет «Вольнодумца».

Одиннадцатого апреля я пошел к трем часам в Клуб поэтов (Тверская, 18), куда обещал зайти Грузинов и потолковать о моих стихах: я готовил вторую книгу стихов «Пальма» и дал ему почитать десятка три вещей. Войдя в клуб, я увидел за столиком Есенина. Очевидно, пообедав, он пил лимонад. Перед ним со стопкой стихов в руках ерзала на стуле с разрисованным лицом поэтесса и щебетала, как синица:

— Ах, Сергей Александрович! Вам я поверю! Вы поймете женскую тоску. Ах, Сергей Александрович!

Увидев меня, Есенин спросил:

— Говорил?

— Да, со всеми!

— Ну, как?

Я показал глазами на поэтессу, Сергей взял из ее рук стопку стихов, положил в карман пиджака.

— Прочту! — сказал он ей.— А сейчас мне надо поговорить!

Поэтесса защебетала и упорхнула, я сел на ее место, но не успел и рта раскрыть, как подошел Иван Грузинов.

Он был чуть ниже среднего роста, грузный, с покатыми плечами, с широким крестьянским лицом и тщательно расчесанным пробором на голове. Ходил он всегда в коричневатой гимнастерке с двумя кармашками на груди — в левом находились вороненой стали открытые часы и свешивалась короткая цепочка. Грузинов чаще, чем полагается, любил вынимать часы и говорить с точностью до одной секунды время.

Имажинисты считали, что он умеет разбираться в стихах.

Иван поздоровался с Есениным, со мной, сел и сказал мне:

— Отобрал девятнадцать пьес. Неплохие. «Платан Пушкина» — отлично! Но надо доработать.

Сергей взял из рук Грузинова маленькую папку с моими стихами, нашел «Платан» и прочел его про себя. Потом расплатился с официантом, спросил у Ивана, что он будет делать. Тот ответил, что думает пообедать.

— Пошли, Мотя! — предложил Есенин и повел меня в кабинет президиума Союза поэтов.

Когда мы открыли дверь в комнату, два молодых о чем-то говоривших поэта вскочили со стульев и вышли из кабинета. Мы сели за длинный стол, и Сергей стал читать «Платан Пушкина». Потом он спросил, есть ли у меня бумага. Я вынул старый блокнот и открыл чистую страницу. В стихотворении было шестнадцать строчек, а он сделал около двадцати пяти замечаний, которые я записал:

«Пишешь: «грызут», а в следующей строке: «грызню». Не годится! Потом: «И тут говорили мне Пушкин». Мнепушкин! Замени! «Тихие плески». Нашел новый эпитет! Или: «О милой подруге!» Подумай! А уж это черт знает что: «возглас земли»...»

Раздраконив «Платан», он сказал, что после приезда из Ленинграда надеется получить от меня переработанное стихотворение, так как хочет в первом же номере «Вольнодумца» напечатать написанные разными поэтами посвященные Пушкину новые стихи.

— Сережа, где мне тягаться с именами!

— Кто редактор: ты или я?

— Ты!

— Работай! — продолжал он сердито.— А не то скажу матери!

Я работал над «Платаном», Есенин слушал стихи еще один раз и снова сделал замечания. Я не считаю «Платан» совершенным, но стихотворение дает понять, что волновало в то время Сергея и каким щедрым другом он был. Только поэтому позволяю себе познакомить читателей с этим произведением:

ПЛАТАН ПУШКИНА

Давно среброзубые волны
Шершавые скалы грызут,
И слышит возню полусонный
Зеленоволосый Гурзуф.

Тут с каждой лохматой верхушки
На землю течет теплота,
И тут говорили, что Пушкин
Любил седовласый платан.

Быть может, под скользкие плески
Он плавный налаживал стих,
Быть может, он думал о Невском,
О нежной подруге грустил.

Иль просто запомнил он воздух,
И волны, и шепот земли,
Запомнил, как эти мимозы
Пунцовые звезды зажгли...

Есенин перебирает в папке другие мои стихи: вот «Песня портного», которую я при нем читал в консерватории,— он одобрительно кивает головой. Дойдя до «Песни о наборщике», он делает замечания, а потом, отлично знающий типографский труд и рабочих-печатников, дает поправки, советы, подсказывает кое-что. Я едва успеваю записывать в блокнот, обещаю все исправить. Я работал над «Песней о наборщике» до 1925 года, и она появилась во втором сборнике Союза поэтов в 1927 году.

Читая цикл «Россия» *, Сергей говорит:

— Ага, взялся за ум!

Однако из всего цикла ему нравится только третье стихотворение:

Еще задорным мальчиком
Тебя любил и понимал,
Но ты была мне мачехой
В романовские времена...

Прочитав это четверостишие, он снова начинает критиковать — на этот раз суровей. В дверь стучится

* Напечатан в моей книжке стихов «Пальма», 1925, ВСП (Всероссийский союз поэтов.— *Прим. ред.*).

Грузинов, я впускаю его и закрываю дверь на задвижку.

— Исповедуешь? — спрашивает Иван Есенина.

— Лентяй! — восклицает по моему адресу Сергей.

— Но я же...

— В поэзии, как на войне, надо кровь проливать! — перебивает меня Есенин.

— Но я же, Сережа...— повторяю я.

Однако он опять не дает закончить:

— Ладно! — и обращается к Грузинову:— Что со статьей?

— Дам! О влиянии образа на современную поэзию.

— Органического!

— Понятно! И докажу, что некоторые поэты и на свет не родились бы, если б не твоя муза!

— Только полегче и потоньше! — предупреждает Сергей.

— Дипломатии мне не учиться!

— И посерьезней! Не так, как в «Гостинице»...

После этого Есенин спрашивает, что мне ответили остальные имажинисты. Когда я дохожу до Шершеневича, он говорит:

— Я лучше ему напишу!

Я протягиваю Сергею пол-листа чистой бумаги. Он пишет чернильным карандашом:

«Милый Вадим! Дай, пожалуйста, статью о совр<еменных> стих<ах>, искус<стве> и стихи для журнала «Вольнодумец».

Любящий тебя *Сергей*.

11/IV—24»

Вечером я прочитал по телефону эту записку Шершеневичу.

— Передай Сереже, — сказал Вадим, — напишу статью — все вольнодумцы облизнутся. А за стихами можно в любой день прислать!

3

Есенин уехал в Ленинград, и я узнал о его выступлении в зале Ф. Лассаля (бывшей городской думе) из писем членов «Воинствующего ордена имажинистов» (В. Эрлиха, В. Ричиотти, Г. Шмерельсона).

Сергей пытался говорить о «мерзости в литературе», сделать «вызов непопутчикам» и, кстати, во всеуслышание объявить о «Вольнодумце». Но его речь не имела того успеха, на который он рассчитывал, и, наоборот, чтение стихов было встречено грандиозной овацией.

Рассказал ли Сергей о «Вольнодумце» ленинградским имажинистам? Как говорил мне Вольф Эрлих, Есенин говорил ему о затеваемом журнале, но без особых подробностей. Может быть, это происходило потому, что сами ленинградские имажинисты собирались издавать свой журнал: «Необычайное свидание друзей».

Однако, вернувшись в Москву, Сергей объяснил, что договорился кое с кем в Ленинграде, например с Николаем Никитиным. Он продолжал встречаться с намеченными им литераторами в Москве и в первую очередь с Маяковским. Говорил ли он с Владимиром Владимировичем о «Вольнодумце», долгое время мне оставалось неизвестным. В 1928 году Федерация писателей выбрала бюро выступлений писателей и поэтов, куда вошли В. В. Маяковский, А. С. Серафимович и пишущий эти строки (секретарь). Мне приходилось ходить к Владимиру Владимировичу в Гендриков переулок для того, чтобы утверждать фамилии выступающих, а иногда он для этого заходил в Федерацию. Как-то раз я завел с ним разговор об Есенине и спросил, не приходилось ли Маяковскому слышать о «Вольнодумце». Оказывается, Сергей не говорил ему об этом.

— В двадцать четвертом году вы встречались с Есениным не только в Москве,— сказал я Маяковскому.— Может быть, у вас с ним был разговор в Тбилиси?

— Мы встретились там один раз мимоходом, Матвей,— ответил он.— О «Вольнодумце» не разговаривали.

Почему же Есенин, принявшийся с таким усердием за организацию «Вольнодумца», не довел это дело до конца? Есть несколько причин, и не знаю, какая из них важней. В 1924—1925 годах у Сергея было время самой плодотворной творческой работы. Он сам говорил:

— Наступила моя пора Болдинской осени!

Ради того, чтобы работать в полную силу, он подолгу жил вне Москвы и, естественно, не мог заниматься подготовкой журнала. Наконец, говоря по совести, Сергей был плохим организатором. Это видно хотя бы по его замыслу другого журнала — «Поляна»: он придумал прекрасное название, наметил план, сотрудников, нашел издательство — да еще какое: Госиздат! — обещал выпустить в 1925 году два номера, а не выпустил ни одного.

А мог бы выйти в свет «Вольнодумец»? Безусловно! Стоило бы Есенину заявить на заседании ассоциации, что ее постановление не выполнено: тонкий журнал есть, а толстого нет,— как сразу взялись бы за дело: типография была, бумага тоже, распространение налажено. Более того, все, чьи произведения он хотел видеть на страницах «Вольнодумца», были бы приглашены. Почему же так не поступил Сергей? Потому, что в этом случае «Вольнодумец» пошел бы по тому же руслу, что и «Гостиница», а там играл большую роль Мариенгоф. Наши литературоведы считают ссору Есенина с Анатолием маловажной причиной ухода Сергея из «Ордена имажинистов». Надо отлично знать характер обоих, чтобы понять, в чем дело. Левое крыло имажинистов (Мариенгоф — Шершеневич) не пользовалось особым влиянием в группе, а Мариенгоф имел вес постольку, поскольку был тесно связан с Есениным. Будучи за границей, Сергей писал Анатолию: «Стихи берегу только для твоей «Гостиницы». Есть чудесные» [1]. И вот эти стихи Мариенгоф печатает на восьмой странице журнала, а свои в начале.

На заседании ассоциации Есенин сделал заявление и по поводу опубликованных «Восьми пунктов» [2]. Тут Анатолий ухитрился поставить подписи по алфавиту не фамилий, а имен. Естественно, его начинающееся с буквы «А» имя дало ему возможность поместить свою фамилию первой, а имя Есенина с начальной буквой «С» и его фамилия очутились на последнем месте.

А разве что-нибудь изменилось после ухода Есенина? Нет! Мариенгоф продолжал в «Гостинице» свою линию: в № 4 на второй странице напечатан

«Имажинистский молодняк»: первым идет стихотворение В. Ричиотти, а сверху крупным шрифтом посвящение: «Анатолию Мариенгофу». И первая вклейка — его портрет. В конце 1925 года выходит сборник «Имажинисты»: опять на обложке первым помещен портрет Мариенгофа, а в книжке — первыми — его стихи...

Особенно сокрушался по поводу неудачи с «Вольнодумцем» наш общий с Есениным друг, высоко ценивший творчество Сергея и искренне любивший его,— Всеволод Иванов.

Мне памятен разговор с ним 14 января 1963 года, когда я приехал навестить Всеволода после возвращения его из больницы, где он перенес сложную операцию.

Я сказал, что начинается вторая жизнь Есенина — бессмертная.

— Запомните то, что один раз он сказал мне,— говорит Иванов.— «Я пишу для того, чтобы людям веселей жилось!» Может быть,— продолжает Всеволод,— его озорство преследовало не только рекламу, но и эту цель! Вдумайтесь в стимулы его поведения, в подтекст стихов, и вы откроете доселе не известное никому лицо поэта!

Иванов спрашивает, как подвигается моя книга воспоминаний о Есенине. Я отвечаю, что прежде, чем писать, надо хотя бы раз прочесть то, что уже о нем напечатано. Я не боюсь повториться, но меня иной раз потрясает, что в этих мемуарах, которых, наверно, перевалило за сотню, возводится напраслина на Сергея. Я должен с этим разделаться.

— Обязательно! Обязательно! — восклицает Иванов.— Есенин уверял меня, что у него врагов во много раз больше, чем друзей. Это понятно! Но он говорил, что на вас можно положиться.

В кармане у меня был недавно вышедший пятый том Собрания сочинений Есенина, и я показал Иванову напечатанную на сто семьдесят третьей странице записку, которую у меня дома писал Сергей.

— Почему же она помечена Ленинградом? — спросил Всеволод.— Разве оригинал не у вас?

— Думал, что у меня! Но я напечатал маленькое воспоминание о Сергее в сборнике его памяти, который выпустил в 1926 году Союз поэтов. У меня попросили оригинал заявления Есенина, я дал, а его, очевидно, не вернули. В примечаниях к пятому тому сказано, что эта записка была передана мне в Ленинграде. У меня остался только адрес, написанный и исправленный Есениным.

— Какая чепуха! — восклицает Иванов, задумывается, потом берет ручку, макает перо в чернила и пишет:

«Дорогой Матвей Давыдович!

Я отлично помню, что был у вас на квартире в Москве, в апреле 1924 года вместе с Серг. Есениным; помню я также, что он, как в старину писалось, «находясь в твердом уме и памяти», писал записку свою, приглашая имажинистов работать в организуемом им журнале «Вольнодумец». Жаль, что журнал не получился,— план был хороший.

Всеволод Иванов».

Он отдает мне записку и говорит:

— Поместите это в своих воспоминаниях о Есенине. Нельзя допустить, чтобы документ такого огромного поэта был неправильно помечен да еще опубликован!

В. П. КОМАРДЕНКОВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Из воспоминаний

В Москве в 1918—1920 годах было три места, где встречались работники искусств, это Дом искусств на Поварской, где теперь Союз писателей, Всероссийский союз поэтов и «Красный петух».

В «Красном петухе» за хозяина был художник Г. Якулов.

Познакомившись в «Красном петухе» с Георгием Богдановичем Якуловым, Сергей Есенин стал часто бывать у него в мастерской. В Георгии Богдановиче он нашел верного, доброго, очень талантливого, хорошо знающего искусство и литературу друга.

Иногда Сергей Есенин там писал в боковой комнате, за большим столом, который был сделан по чертежам Якулова.

По эскизам Г. Якулова отделывалось помещение и очень интересно и необычно была решена вывеска. На полированной фанере был изображен в облаках Пегас и вокруг очень затейливым шрифтом написано: «Стойло Пегаса».

«Стойло Пегаса» было своеобразной штаб-квартирой имажинистов. Там они выступали со своими стихами, проверяли корректуры, правили гранки и готовились к очередным выступлениям, а по вечерам по очереди дежурили...

Как-то мы сидели в «Стойле Пегаса», и поэт Вадим Шершеневич предложил пойти в цирк. Ему надо было дать для журнала очередной отчет о борьбе. Пошли Есенин, А. Веснин и я.

На арене дрессированные лошади.

Сергей Александрович встрепенулся. Лошади проделывали сложные заученные движения под звуки

вальса. Дрессировщик с остервенением хлопал хлыстом, а публика хлопала, не жалея ладоней. Сергей Александрович мрачнеет, глаза делаются грустными, и он хочет уйти: «Лошади хотя и умные, но не живые, как автоматы, вот в ночном на заливных лугах хотя лошади и со спутанными ногами, но куда живей; и дрессировщик, как парикмахер, вот его бы во фраке в ночное». Вадиму Шершеневичу удается задержать Сергея Есенина до начала борьбы. Она ему также не нравится: «Не поймешь, где человек, а где туша животного». Веснин пробовал робко объяснить, какой чудный двойной нельсон сделал Вахтуров. Сергей Александрович решительно встал, сказав: «Нет уж, лучше я пойду в «Стойло» — и ушел. Прощаясь с нами после представления, Веснин нежно сказал про Сергея Есенина: «Чересчур уж он русский. Какой же он имажинист?»

Я засиделся в «Стойле Пегаса» с Сергеем Есениным и Вадимом Шершеневичем. В это время я делал для имажинистов по просьбе Сергея Александровича обложку к книге «Конница бурь». Мы обсуждали, какой она должна быть. Сидели долго. Сергей Александрович был вялый и задумчивый. Копна волос спала на лоб.

В разговоре с Вадимом был резок, когда дело касалось имажинизма: «Скажи мне, ну какой я имажинист? Какой?» Шершеневич доказывал, что пора написать новый устав. Сергей Есенин замахал руками и горько улыбнулся. Было видно, что имажинизм ему надоел...

У Г. Якулова в мастерской часто собирались В. Массалитинова, О. Полякова, И. Москвин, В. Качалов, В. Синицын, А. Коонен, А. Таиров, поэт Ю. Балтрушайтис, А. Дикий. Здесь Сергей Есенин познакомился с В. Качаловым.

Г. Якулов в это время делал декорации к «Принцессе Брамбиле» Гофмана для Камерного театра. Мастерская была увешана эскизами и уставлена макетами. Я в это время помогал Г. Якулову во всех его работах и совместно с ним делал декорации к балету «Кармен» для гастрольной поездки балетной труппы В. Кригер в Америку. Георгий Богданович делал эскизы ко второму и третьему актам, я — для пер-

вого и четвертого актов. Когда позднее Якулов работал над памятником 26 бакинским комиссарам для Баку, Сергей Есенин, бывая в студии, внимательно рассматривал документы, относящиеся к зверскому расстрелу английскими интервентами 26 бакинских комиссаров, держа подолгу в руках их фотографии.

В это время он особенно часто бывал в мастерской, а когда приезжали товарищи из Баку, Сергей Александрович принимал участие в обсуждении проекта памятника.

В основу памятника была взята спиралеобразная башня, внутри которой должен был помещаться музей, рассказывающий о жизни 26 бакинских комиссаров.

Как известно, впоследствии Есенин написал «Балладу о двадцати шести» и посвятил ее Г. Якулову.

И. В. ГРУЗИНОВ

ИЗ КНИГИ «С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»

1919 г.

«Домино».

Комната правления Союза поэтов. Зимние сумерки. Густой табачный дым. Комната правления по соседству с кухней. Из кухни веет теплынью, доносятся запахи яств. Время военного коммунизма: пища и тепло приятны несказанно.

Беседуем с Есениным о литературе.

— Знаешь ли,— между прочим сказал Есенин,— я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт...

— У немцев есть три поэта с очень похожими фамилиями, но с различными именами: Фридрих Геббель, Эмануэль Гейбель и, наконец, Иоганн Гебель — автор «Овсяного киселя».

— Вот. Этот самый Гебель, автор «Овсяного киселя», и оказал на меня влияние.

1920 г.

Ночь. Шатаемся по улицам Москвы. С нами два-три знакомых поэта. Переходим Страстную площадь.

— Я не буду литератором. Я не хочу быть литератором. Я буду только поэтом.

Есенин утверждал это спустя четыре года после выхода в свет его повести «Яр», напечатанной в «Северных записках» в 1916 году. Он никогда не говорил о своей повести, скрывал свое авторство. По-видимому, повесть его не удовлетворяла: в прозе он чувствовал

себя слабым, слабее, чем в стихах. В дальнейшем он обратился исключительно к стихотворной форме: лирика, поэма, драма, повесть в стихах.

В том же году, после выхода в свет «Ключей Марии», в кафе «Домино» он спрашивает: хорошо ли написана им теория искусства? Нравятся ли мне «Ключи Марии»?

Почему-то не было времени разбираться в его теории искусства по существу, и я ответил, что книжку следовало бы разделить на маленькие главы...

Осень. «Домино».

В кафе «Домино» два больших зала: в одном зале эстрада и столики для публики, в другом только столики. Эти столики для поэтов. В первый год существования кафе залы разделялись огромным занавесом. Обычно во время исполнения программы невыступающие поэты смотрели на эстраду, занимая проход между двумя залами.

В глубине, за вторым залом, комната правления Союза поэтов.

Есенин только что вернулся в Москву из поездки на Кавказ. У него новая поэма «Сорокоуст». Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор:

— Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь.

Чтобы дать ему возможность приготовиться к выступлению, я ушел в комнату правления Союза поэтов. Явился Валерий Брюсов.

Через две-три минуты Есенин на эстраде.

Обычный литературный вечер. Человек сто посетителей: поэты и тайнопишущие. В ту эпоху, в кафейный период литературы, каждый день неукоснительно поэты и тайнопишущие посещали «Домино» или «Стойло Пегаса». Они-то и составляли неизменный контингент слушателей стихов. Другая публика приходила в кафе позже — ради скандалов.

На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь: расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.

Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт в России, кто-то ему мешает, кто-то его не признает. Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.

По-видимому, он ожидал протестов со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму.

Во время выступления Есенина я все время находился во втором зале кафе. После выступления он пришел туда же. Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбу и вдруг... никто не протестует.

— Рожаете, Сергей Александрович? — улыбаясь, спрашивает Валерий Брюсов.

Улыбка у Брюсова напряженная: старается с официального тона перейти на искренний и ласковый.

— Да,— отвечает Есенин невнятно.

— Рожайте, рожайте! — ласково продолжает Брюсов.

В этой ласковости Брюсова чувствовалось одобрение и поощрение метра по отношению к молодому поэту.

В этой ласковости Брюсова была какая-то неестественность. Брюсов для Есенина был всегда посторонним. Они были чужды друг другу, между ними никогда не было близости. «Сорокоуст» был первым произведением, которое Брюсов хорошо встретил.

Об отношении Есенина к Брюсову можно судить по одной есенинской частушке:

Скачет Брюсов по Тверской
Не мышой, а крысиной.
Дядя, дядя! я большой,
Скоро буду с лысиной [1].

...«Суд над имажинистами» — это один из самых веселых литературных вечеров.

Валерий Брюсов обвинял имажинистов как лиц, составивших тайное сообщество с целью ниспровержения существующего литературного строя в России.

Группа молодых поэтов, именующих себя имажинистами, по мнению Брюсова, произвела на существующий литературный строй покушение с негодными средствами, взяв за основу поэтического творчества образ, по преимуществу метафору. Метафора же является частью целого: это только одна фигура или троп из нескольких десятков фигур словесного искусства, давно известных литературам цивилизованного человечества.

Главный пункт юмористического обвинения был сформулирован Брюсовым так: имажинисты своей теорией ввели в заблуждение многих начинающих поэтов и соблазнили некоторых маститых литераторов.

Один из свидетелей со стороны обвинения доказывал, что В. Шершеневич подражает В. Маяковскому, и, чтобы убедить в этом слушателей, цитировал параллельно Маяковского и Шершеневича.

Есенин в последнем слове подсудимого нападал на существующие литературные группировки — символистов, футуристов и в особенности на Центрифугу, к которой причисляли в то время С. Боброва, Б. Пастернака и И. Аксенова. Последний был на литературном суде в качестве гражданского истца и выглядел в своей роли старшим милиционером.

Есенин, с широким жестом обращаясь в сторону Аксенова:

— Кто судит нас? Кто? Что сделал в литературе гражданский истец, этот тип, утонувший в бороде?

Выходка Есенина понравилась публике. Публика смеялась и аплодировала.

Через несколько дней после «Суда над имажинистами» ими был устроен в Политехническом музее «Суд над русской литературой».

Представителем от подсудимой русской литературы являлся Валерий Брюсов.

Есенин играл роль литературного обвинителя. Он приготовил обвинительную речь и читал ее по бумажке звонким высоким тенором.

По прочтении речи стал критиковать ближайших литературных врагов: футуристов.

На этот раз он, сверх ожидания, говорил удачно и быстро овладел аудиторией.

— Маяковский безграмотен! — начал Есенин.

При этом, как почти всегда, звук «г» он произносил по-рязански — «яговал», как говорят о таком произношении московские мужики.

И от этого «ягования» подчеркивание безграмотности Маяковского приобретало невероятную четкость и выразительность. Оно вламывалось в уши слушателей, это резкое *згр*.

Затем он обратился к словотворчеству Велемира Хлебникова.

Доказывал, что словотворчество Хлебникова не имеет ничего общего с историей развития русского языка, что словотворчество Хлебникова произвольно и хаотично, что он не только не намечает нового пути для русской поэзии, а, наоборот, уничтожает возможность движения вперед. Впрочем, смягчающим вину обстоятельством был признан для Хлебникова тот факт, что он перешел в группу имажинистов: Хлебников в Харькове всенародно был помазан миром имажинизма.

Вечер. Идем по Тверской. Советская площадь. Есенин критикует Маяковского, высказывает о Маяковском крайне отрицательное мнение.

Я:

— Неужели ты не заметил ни одной хорошей строчки у Маяковского? Ведь даже у Тредьяковского находят прекрасные строки?

Есенин:

— Мне нравятся строки о глазах газет: «Ах, закройте, закройте глаза газет!»[2]

И он вспоминает отрывки из двух стихотворений Маяковского о войне: «Мама и убитый немцами вечер» и «Война объявлена».

Читает несколько строк с особой, свойственной ему нежностью и грустью...

1921 г.

Мы несколько раз посетили с Есениным музеи новой европейской живописи: бывшие собрания Щукина и Морозова.

Больше всего его занимал Пикассо.

Есенин достал откуда-то книгу о Пикассо на немецком языке, со множеством репродукций с работ Пикассо.

Ничевоки выступают в кафе «Домино».

Есенин и я присутствуем при их выступлении. Ничевоки предлагают нам высказаться об их стихах и теории.

С эстрады мы не хотим рассуждать о ничевоках. Ничевоки обступают нас во втором зале «Домино», и поневоле приходится высказываться.

Сначала теоретизирую я. Затем Есенин. Он развивает следующие мысли.

В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки.

Образ для него, как и для народа, конкретен.

Образ для него, как и для народа, утилитарен; утилитарен в особом, лучшем смысле этого слова. Образ для него — это гать, которую он прокладывает через болото. Без этой гати нет пути через болото.

При этом Есенин становится в позу идущего человека, показывая руками на лежащую перед ним гать.

После первого чтения «Пугачева» в «Стойле Пегаса» присутствующим режиссерам, артистам и публике Есенин излагал свою точку зрения на театральное искусство.

Сначала, как почти всегда в таких случаях, речь его была путаной и бессвязной, затем он овладел собой и более или менее отчетливо сформулировал свои теоретические положения.

Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.

Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство:

в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.

Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.

Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.

И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть.

1922 г.

Есенин в кафе «Домино» познакомил меня с Айседорой Дункан. Мы разместились втроем за столиком. Пили кофе. Разглядывали надписи, рисунки и портреты поэтов, находящиеся под стеклянной крышкой столика. Показывали Дункан роспись на стенах «Домино».

Разговор не клеился. Была какая-то неловкость. Эта неловкость происходила, вероятно, потому, что Дункан не знала русского языка, а Есенин не говорил ни на одном из европейских языков.

Вскоре начали беседу о стихах. И время от времени обращались к Айседоре Дункан, чтобы чем-нибудь показать внимание к ней: по десять раз предлагали то кофе, то пирожное.

В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой.

Он предложил мне посмотреть журнал, и мы вместе стали его перелистывать. Это был орган немецких дадаистов.

Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:

— Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых. Они отстали. Это у нас было давно.

Я возразил:

— У нас и теперь есть поэтические группы, близ-

кие к немецким дадаистам: фуисты, беспредметники, ничевоки. Ближе всех к немецким дадаистам, пожалуй, ничевоки...

В творчестве Есенина наступил перерыв. Он выискивал, прислушивался, весь насторожившись. Он остановился, готовясь сделать новый прыжок.

За границей прыжок этот был им сделан: появилась «Москва кабацкая».

Для «Москвы кабацкой» он взял некоторые элементы у левых эротических поэтов того времени, разбавил эти чрезмерно терпкие элементы Александром Блоком, вульгаризировал цыганским романсом.

Благодаря качествам, которые Есенин придал с помощью Блока и цыганского романса изысканной и малопонятной левой поэзии того времени, она стала общедоступной и общеприемлемой.

Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:

— Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

— А ты руки ему не подавай! — отвечает Сахаров.

— Я не подам руки Мережковскому,— соглашается Есенин.— Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!..

1923 г.

Вечером мы у памятника Пушкину. Берем извозчика, покупаем пару бутылок вина и направляемся к Зоологическому саду, в студию Коненкова.

Чтобы ошеломить Коненкова буйством и пьяным видом, Есенин, подходя к садику коненковского дома, заломил кепку, растрепал волосы, взял под мышку бутылки с вином и, шатаясь и еле выговаривая приветствия, с шумом ввалился в переднюю.

После вскриков удивления и объятий, после чтения «Москвы кабацкой» Коненков повел нас в мастерскую.

Сергей хвалил работы Коненкова, но похвалы эти были холодны.

Вдруг он бросается к скульптору, чтобы поцеловать ему руки.

— Это гениально! Это гениально! — восклицает он, показывая на портрет жены скульптора.

Как почти всегда, он и на этот раз не мог обойтись без игры, аффектации, жеста.

Но работа Коненкова, столь восторженно отмеченная Есениным, была, пожалуй, самой лучшей из всех его вещей, находившихся в мастерской...

Осень. Ранним утром я встречаю Есенина на Тверской: он несет целую охапку книг: издания «Круга». Так и несет, как охапку дров. На груди. Обеими руками.

Без перчаток. Холодно.

Вечером того же дня в «Стойле Пегаса» он говорит мне:

— Я занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы. Хочу организовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов.

1924 г.

Летний день. Нас четверо. Идем к одному видному советскому работнику. Хлопотать о деле.

Жарко. Есенин не пропускает ни одного киоска с водами. У каждого киоска он предлагает нам выпить кваса.

Я нападаю на него:

— У тебя, Сергей, столько раз повторяется слово «знаменитый», что в собрании сочинений оно будет на каждой странице. У Игоря Северянина лучше: тот раза два или три написал, что он гений, и перестал. А знаешь, у кого ты заимствовал слово «знаменитый»? Ты заимствовал его, конечно бессознательно, из учебника церковной истории протоиерея Смирнова. Протоиерей Смирнов любит это словечко!

Дальше я привожу из Есенина целый ворох церковнославянских слов.

Он долго молчит. Наконец не выдерживает, начинает защищаться.

В ожидании приема у советского работника продолжаем прерванный разговор.

— Раньше я все о мирах пел,— заметил Есенин,— все у меня было в мировом масштабе. Теперь я пою и буду петь о мелочах.

Лето. Пивная близ памятника Гоголю.

Есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как Александр Блок учил его писать лирические стихи.

— Иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге и читал ему свои ранние стихи.

Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, говорил мне Блок.

Идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк.

Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее двадцати строк, оно, безусловно, потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.

Учись быть кратким!

В стихотворении, имеющем от трех до пяти четверостиший, можно все сказать, что чувствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль.

Это на первых порах. Потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься писать стихотворения в двадцать строк, тогда уже можешь испытать свои силы, можешь начинать писать более длинные лирические вещи.

Помни: идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк...

Есенин редко бывал в театре. И не потому, чтобы он отрицал театральное искусство, а потому, что он был слишком лирик...

В кино он бывал чаще, чем в театре, и опять-таки не потому, что искусство кино он любил больше театрального искусства, а потому, что в кино пойти проще и удобнее.

Из заграничных писем Есенина, из бесед с ним об искусстве Европы и Америки ясно, что современное эстрадное искусство и мюзик-холлы он ненавидел. Он был глубоко убежден, что мюзик-холлы и Изы Крамер — вырождение и гибель искусства. По его мнению, подобное искусство — это только средство зарабатывать деньги.

В теоретических спорах о театральном искусстве театр Мейерхольда предпочитал он Камерному. Он мечтал у Мейерхольда поставить одну из своих пьес. По традиции же, по жизненным привычкам Есенин тяготел к Московскому Художественному театру.

Изредка, но торжественно, совершив предварительно обряд омовения головы, направлялся он в Художественный театр... на какую-либо из обстановочных и декоративных пьес: например, на «Федора Иоанновича».

Брюсовский пер., д. 2а, кв. 27.

Вечер. Есенин на кушетке, в цветном персидском халате, в туфлях. Берет с подоконника «Голубые пески» Всеволода Иванова. Перелистывает. Бросает на стол. Снова, не читая, перелистывает и с аффектацией восклицает:

— Гениально! Гениальный писатель!

И звук «г» у него, как почти всегда, по-рязански.

Иван Рукавишников выступает в «Стойле Пегаса» со «Степаном Разиным».

Есенин стоит близ эстрады и внимательно слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.

В перерывах и после чтения «Степана Разина» он повторяет:

— Хорошо! Очень хорошо! Талантливая вещь!

«Стойло Пегаса». Я прочитал книгу Александра Востокова «Опыт о русском стихосложении», изданную в 1817 году. Встретив Есенина, я делился с ним прочитанным, восторгался редкой книгой.

Книга была редкой не только по содержанию, но и по внешнему виду: на ней был в качестве книжного знака фамильный герб одного из видных декабристов.

Я привел Есенину мнение Пушкина о Востокове: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостью и сметливостию» [3].

Я сообщил ему, что первого русского стихотворца звали также Сергеем: Сергей Кубасов, сочинитель «Хронографа», по свидетельству Александра Востокова, первый в России написал в XVI веке русские рифмованные стихи.

Темой нашей беседы в дальнейшем, естественно, были: формы стиха, эволюция русского стиха.

Между прочим, Есенин сказал:

— Я давно обратил внимание на переносы в стихе. Я учился и учусь стиху на конкретном стихотворном материале. Переносы предложения из одной строки в другую в первый раз я заметил у Лермонтова. Я всегда избегал в своих стихах переносов и разносок. Я люблю естественное течение стиха. Я люблю совпадение фразы и строки.

Я ответил, что в стихах Есенина в самом деле мало переносов и разносок, в особенности, если иметь в виду его песенную лирику; в этом отношении он походит на наших, русских песнотворцев и сказочников — по мнению Востокова, переносы и разноски заимствованы нашей искусственной книжной поэзией от греков и римлян.

В одной из моих тетрадок сохранилась выдержка из книги Востокова, относящаяся к нашему разговору. Привожу ее полностью:

«Свойственные Греческой и Римской поэзии, а с них и в новейшую нашу поэзию вошедшие разноски слов (inversions) и переносы из одного стиха в другой (enjambements) в русских стихах совсем непозволительны: у русского песнотворца или сказочника в каждом стихе полный смысл речи заключается, и

расположение слов ничем не отличается от простого разговорного».

1925 г.

Лето.

По возвращении с Кавказа Есенин сообщал о романе, который он будто бы начал писать. Но, по-видимому, это было только предположением. К прозе он не вернулся.

Намерение его осталось невыполненным.

Лето.

Я с Есениным у одного из наших общих знакомых. Он мечтает отпраздновать свою свадьбу: намечает — кого пригласить из друзей, где устроить свадебный пир.

Бывает так: привяжется мотив какой-нибудь песни или стихотворный отрывок, повторяешь его целый день. К Есенину на этот раз привязался Демьян Бедный:

Как родная меня мать
Провожала.
Тут и вся моя родня
Набежала [4].

Он пел песню Демьяна Бедного, кое-кто из присутствующих подтягивал.

— Вот видите! Как-никак, а Демьяна Бедного поют. И в деревне поют. Сам слышал! — заметил Есенин.

— Не завидуй, Сергей, Демьяном станешь! — ответил ему кто-то из присутствующих.

Классической музыкой Есенин мало интересовался. По крайней мере я лично за все время нашей многолетней дружбы (с 1918 г.) ни разу не видал его в опере или в концерте.

Он плясал русскую, играл на гармонике, пел народные песни и частушки. Песен и частушек знал он большое количество. Некоторые частушки, распеваемые им, были плодом его творчества. Есенинские

частушки большею частью сложены на случай, на злобу дня или направлены по адресу его знакомых: эти частушки его, как и многие народные частушки, имеют юмористический характер.

В 1918—1920 годах, в самый пышный расцвет богемной поэтической жизни Москвы, Есенин на литературных вечерах в кафе «Домино» и в «Стойле Пегаса» любил распевать частушки.

С каждым годом он становился угрюмей. Гармонь забросил давно. Перестал плясать. Все реже и реже пел частушки и песни.

Однажды, летом 1921 года, я направился в Богословский переулок, чтобы послушать только что написанного «Пугачева».

Лишь только я вошел в парадное дома № 3, как до меня стали доноситься какие-то протяжные завывания. Я недоумевал: откуда эти странные звуки?

Вхожу в переднюю. Дверь, ведущая в комнату, расположенную по левую сторону, открыта. Есенин и Орешин сидят в углу за столом и тянут какую-то старинную песню.

Они были неподвижны. Лица их посинели от напряжения. Так поют степные мужики и казаки.

Я не хотел мешать певцам, мне жаль было прерывать песню, и можете себе представить, сколько времени мне пришлось бы стоять в передней?

Песня была не окончена: Сергей заметил меня и потянул в комнату.

Один глаз у него был подбит — синяк и ссадина.

— Это я об косяк, это я об косяк,— повторял он, усаживая меня за стол.

Осенью 1925 года я собирался устроить вечер народной песни. По моим предположениям, на вечере должны были петь поэты из народа и мои деревенские друзья.

Я пригласил Есенина на этот вечер народной песни. Он изъявил согласие принять участие на вечере, но сделал это с полным равнодушием. Я заметил его безразличное отношение к песням и спросил:

— Ты, кажется, разлюбил народные песни?

— Теперь я о них не думаю. Со мной было так: увлекался песнями периодически, отхожу от песни и снова прихожу к ней...

Всем известно литературное «супружество» Клюева и Есенина. На нем останавливаться не буду.

Уже с 1918 года Есенин начинает отходить от Клюева.

Причины расхождения с Клюевым излагаются в «Ключах Марии».

«Для Клюева,— пишет автор «Ключей Марии»,— все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников». «Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов»... «он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея»... «художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие»[5].

Те же мысли мы находим у Есенина в стихотворении, посвященном Клюеву: «Теперь любовь моя не та».

Однако в последнее время у него были попытки примирения с Клюевым, попытки совместной работы.

Так, в 1923 году, когда обозначился уход Есенина из группы имажинистов, он прежде всего обратился к Клюеву и хотел восстановить с ним литературную дружбу.

— Я еду в Питер,— таинственным шепотом сообщает мне Сергей,— я привезу Клюева. Он будет у нас главный, он будет председателем «Ассоциации вольнодумцев». Ведь это он учредил «Ассоциацию вольнодумцев»!

Клюева он действительно привез в Москву.

Устроил с ним несколько совместных выступлений. Но прочных литературных взаимоотношений с Клюевым не наладилось. Стало ясно: между ними нет больше точек соприкосновения...

Со стороны Есенина это была последняя попытка совместной литературной работы с Клюевым. Личными друзьями они остались: Есенин, приезжая в Ленинград, считал своим долгом посетить Клюева.

К последним стихам Клюева Есенин относился отрицательно.

Осенью 1925 года Есенин, будучи у меня, прочел

«Гитарную» Клюева, напечатанную в ленинградской «Красной газете».

— Плохо! Никуда! — вскричал он и бросил газету под ноги.

Осень. Есенин и С. А. Толстая у меня.

Даю ему новый карандаш.

— Люблю мягкие карандаши,— восклицает он,— этим карандашом я напишу строк тысячу!

Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала:

1. Статью.
2. Статью.
3. Конч. о живописи.
Репродукции.
Ес.
Груз.
Нас.
Рецензии.

— Я непременно напишу статью для журнала. Непременно. Я знаю твою линию в искусстве. Мы не совпадаем. Я напишу иначе. Твоя статья будет дополнять мою, и обратно,— мечтает Есенин и просит достать ему взаймы червонец. Два дня или три назад он получил гонорар в Госиздате, сегодня уже ни копейки нет.

Для первого номера журнала предполагалось собрать следующий материал: статья П. Кончаловского о современной живописи; репродукции с картин П. Кончаловского, А. Куприна, В. Новожилова; стихи Есенина, Грузинова, Наседкина.

Проект журнала составлялся спешно. В ближайшее время решили собраться еще раз, чтобы составить подробный план журнала и приступить к работе по его изданию...

И. Н. РОЗАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

1

Однажды в 1907 году в Риме, в кинематографе случилось мне видеть историю из жизни русских революционеров. Тут были и тайные совещания заговорщиков, и покушение на жизнь важной особы, и внезапный обыск, и одиночное заключение, наконец — высший момент нервного напряжения публики — бегство из тюрьмы на лихой тройке и неизбежная погоня. Была дана настоящая русская зима; великолепно ложились колеи на рыхлом снегу; тройка неслась, «бразды пушистые взрывая». Но одна подробность в этой истории из жизни русских революционеров с самого начала особенно бросалась в глаза и вызывала улыбку у русского зрителя: все революционеры одеты были совершенно одинаково — в русские кучерские костюмы; острижены все были в кружок; револьверы заткнуты за кушаки. Этот римский кинематограф и этот наряд пришли мне на память, когда я в первый раз увидел Есенина.

В Москве такого поэта еще не знали. Начинался 1916 год, последний дореволюционный. В воздухе еще стоял угар войны. Воинствующий национализм, подогреваемый войной, был одним из самых заметных мотивов в поэзии того времени.

21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в Обществе свободной эстетики. Я не очень любил это Общество и почти никогда там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже четыре года, как он обратил на себя всеобщее внимание.

Он уже успел выпустить три книги стихов, и я

был им очень заинтересован. Собрание Общества свободной эстетики на этот раз происходило в помещении картинной галереи Лемерсье на Петровке. Я прибыл в назначенное время, но тут всегда запаздывали, и я долго слонялся по залам, увешанным картинами, терпеливо ожидающими себе покупателей. Галерея Лемерсье была чем-то вроде художественно-комиссионной конторы. Потом я очутился в одной из последних комнат, где расставлены были стулья рядами и собралось уже порядочно публики. Я нашел знакомых. Стали дожидаться вместе. Наконец раздался шепот: «Приехал!..»

И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые светлые волосы; прямые, широкие, спадающие «моржовые» усы. Он в коричневой поддевке и высоких сапогах. Но он не один: за ним следом какой-то парень странного вида. На нем голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки. Но особенно поражали пышные волосы. Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревнях малые ребята. Обыкновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у странного и нарядного парня остались, очевидно, такими же, как были в детстве, к тому же они были необычайно кудрявы.

Распорядитель объявил, что стихи будет читать сначала Клюев, потом... последовала незнакомая фамилия. «Ясенин» послышалось мне. Это легко осмысливалось: «Ясень». И когда через полгода я купил только что вышедшую «Радуницу», я не без удивления увидал, что фамилия автора начинается с «Е» и что происходит она не от «ясень», а от «осень», по церковнославянски «есень».

Сначала Клюев читал большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный «Беседный наигрыш, стих доброписный». Содержание было самое современное:

Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, ца́рищем поганым.—
У него ли, нечестивца, войска — сила,
Порядового народа — несусветно...[1]

Клюев поражал своею густою красочностью и яркою образностью.

Очередь за другим поэтом. Он также начал с эпического. Читал о Евпатии Рязанском. Эта былина не произвела впечатления, и потому плохо ее помню. Во всяком случае тут совершенно не было того воинствующего патриотизма, которым отличались некоторые вещи Клюева. Если тут и был патриотизм, то разве только краевой, рязанский. Потом Есенин перешел к мелким стихам о деревне. Читал он их очень много, разделяя одно от другого короткими паузами, читал, как помнится, не размахивая руками, как было впоследствии. «Жарит из пулемета»,— сказал мой сосед слева. Большинство прочитанного поэтом вошло потом частью в «Радуницу», частью в «Голубень».

— Это что-то вроде Кольцова или Некрасова, которых я терпеть не могу! — сказала моя соседка справа, художница-футуристка, щеголявшая своей эксцентричностью.

Потом был перерыв, потом опять читали в том же порядке. В перерыве и по окончании в гардеробной слушатели обменивались впечатлениями о стихах и о наружности поэтов. Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева: «Какая образность! Например: «солнце — колокол». Помните у Тютчева: «Раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей» [2]. Другой поэт, деревенский парень, ему не понравился. Еще резче отнеслась к нему моя соседка справа, художница. Когда на лестнице к ней подошел Клюев, с которым она уже была раньше знакома, и спросил: «Ну, как?», она тоном избалованной женщины отвечала: «Сначала я слушала, а потом перестала. Ваш товарищ мне совсем, совсем не понравился».— «Как? Такой жавороночек?»— «Впрочем, о вкусах не спорят»,—смягчила свою резкость художница. Впоследствии, глядя на Есенина, я не раз вспоминал это определение Клюева: «жавороночек». Но среди слушателей раздавались и голоса, отдававшие предпочтение безвестному до сих пор в Москве Есенину перед известным в обеих столицах Клюевым. Я жадно прислушивался к этим толкам. Мне Клюев показался слишком перегруженным образами, а местами и прямо риторичен. Нравились отдельные

прекрасные эпитеты и сравнения, но ни одно стихотворение целиком. Есенина я, как и многие другие, находил проще и свежее. Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, например «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным. «Песня о собаке», написанная на однородную тему, конечно, лучше, но здесь типичный мотив: «Для зверей приятель я хороший».

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок[3].

Кажется, в первый раз в русской литературе поэт привлекал внимание к горю коровы. Еще более произвело на меня впечатление «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»), а особенно три последние строчки:

От пугливой шумоты
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

Ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения. Такого изображения деревни я ни у кого из русских поэтов не встречал.

Это о стихах. Сами же поэты, главным образом их наряды, особенно внешность Есенина, возбудили во мне отрицательно ироническое отношение. Костюмы их мне показались маскарадными, и я определил их для себя словами: «опереточные пейзане» и «пряничные мужички». Тогда-то и вспомнился мне римский кинематограф и русские революционеры в кучерских кафтанах, обстриженные в кружок. Конечно, не в таком костюме ходил Есенин, когда год или полтора назад посещал Университет Шанявского, где, кажется, усердно занимался.

Впоследствии я к этой стилизации отнесся более терпимо. Надо принять во внимание, каково было большинство публики, перед которой они выступали. Тут много показного, фальшивого и искусственного. Были тут, между прочим, какие-то грассирующие лощеные юноши, у которых весь ум ушел в пробор;

увильнувшие от призыва на войну «белобилетники», как их тогда называли; были разжиревшие и обрюзгшие меценаты с бриллиантовыми перстнями и свиными глазками.

Летом 1916 года вышла «Радуница», а вслед за тем в «Вестнике Европы»—первая критическая статья о Есенине профессора П. Н. Сакулина под заглавием «Народный златоцвет». Эта статья очень характерна для отношения критики к Есенину первого периода. Как и следовало ожидать, Есенин рассматривается вместе с Клюевым и последнему уделяется гораздо больше внимания.

2

Когда я в 1920 году познакомился с Есениным, он решительно ничем не напоминал того «пряничного мужичка», каким я увидел его впервые четырьмя годами раньше. Я стал присматриваться, и меня более всего поразили его глаза. Постоянно приходится слушать прилагаемый к нему эпитет «голубоглазый». Мне кажется, что это слишком мало передает: надо было видеть, как иногда загорались эти глаза. В такие минуты он становился поистине прекрасным. Это была красота живая, красота выражения. Чувствовалась большая внутренняя работа, чувствовался настоящий поэт.

1919—1920 годы были для Москвы тяжелыми, голодными. В литературном быту это отразилось на появлении целого ряда книжных лавок писателей. Держать книжные магазины частным лицам не разрешалось, а только организациям. Кроме «Лавки писателей», старейшей в Москве, появились лавки «Поэтов», «Деятелей искусства», «Художников слова» и др. За книжными прилавками можно было увидеть и известного беллетриста, и уважаемого профессора. Из названных лавок две принадлежали имажинистам. В одной, в Камергерском, торговали Шершеневич и Кусиков, в другой — «Художники слова», близ консерватории,— Есенин и Мариенгоф. Но если поэты из Камергерского действительно торговали, то в лавке «Художники слова» Есенин и Мариенгоф скорее только присутствовали. Есенин был тут вы-

веской, приманкой. Книжное дело вели другие лица. К поэтам постоянно приходили их знакомые, большей частью тоже поэты, и лавка «Художники слова» превращалась в литературный клуб. В этом клубе царила бодрая, веселая атмосфера.

У Есенина была не только «легкая походка», о чем он говорил в своих стихах, но весь он был легкий, светлый, быстрый и всегда себе на уме. Иногда я заставал его, когда не было посетителей, за словарем Даля или за чтением стихов старых русских поэтов. Мне казалось, что Есенин дорожил своими друзьями-имажинистами, потому что они были ловкими и предприимчивыми товарищами и не подавляли его своим авторитетом. Имажинизм давал ему возможность оттолкнуться от своего прошлого. Особенно открещивался он от того периода, когда его имя называли обыкновенно вслед за Клюевым. Он возмущался теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в крестьянские поэты. Это все равно, говорил он, что зрелого Пушкина продолжать называть «певцом Руслана и Людмилы».

В 1920 и 1921 годах я часто видался с Есениным. Я не был его близким приятелем. Сведения о себе сообщал он мне, как человеку, интересующемуся его поэзией, который когда-нибудь будет о нем писать. В то время я работал над вторым томом своей «Русской лирики». Первый вышел в конце 1913 года и посвящен был лирике двадцати пяти старших современников Пушкина. Во втором должны были быть поэты — ближайшее окружение Пушкина. Есенин меня спросил: «О ком вы пишете сейчас?» Я отвечал, что сейчас пишу о забытых поэтах, Катенине и Плетневе, но когда-нибудь дойду и до современных поэтов. Есенин, смеясь, сказал: «Я войду, вероятно, только в ваш десятый том!»

Он много и охотно рассказывал о себе. То, что мне казалось наиболее интересным, я записывал.

Это было время «Сорокоуста», «Исповеди хулигана», работы над «Пугачевым». В эволюции славы Есенина момент довольно важный.

Если признан он был не сразу при первом появлении своем в литературной среде, если первая книга его, «Радуница», уже дала ему заметное имя, то необ-

ходимо указать, что им интересовались главным образом как новым социальным явлением, как поэтом из народа, не перепевающим Сурикова и Дрожжина, а с новыми мотивами и настроением.

1920 и 1921 годы важны в поэтической деятельности Есенина тем, что поэт резче, чем раньше, выразил свое поэтическое лицо, показал себя «нежным хулиганом», найдя новую, острую и никем еще не использованную тему.

Вместе с тем он отказался от присущего ему ранее обилия церковных и религиозных образов, с каждым годом терявших для его читателей свою эмоциональную значимость, освободился от той лампадности, которая шла к нему от его деда-старообрядца, которая поддерживалась годами учения в закрытой церковно-учительской школе, а потом влиянием Клюева.

Вместе с тем стихи Есенина приобрели большее общественное значение, чем раньше. В «Сорокоусте» (название еще в духе прежнего творчества) ему удалось дать образ необычайный и никому другому не удававшийся в такой степени по силе и широте обобщения: образ старой, уходящей деревенской Руси, красногривого жеребенка, бегущего за поездом.

Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст». Истинная слава вообще неотделима от шума. Одни рукоплещут, другие свистят и шикают. Единодушное признание свидетельствует о том, что в данном произведении нет настоящего творческого дерзания, или это признание приходит позднее, когда страсти поулягутся.

Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей. Публика явно утомилась и ищет повода пошуметь. Пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов.

Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст». Уже четвертый или пя-

тый стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования. В стихах этих речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики: «Довольно!» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется.

Часть публики хлопает, требуя, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол. С неимоверным трудом, при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит:

— Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года.

Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала. Но как только он опять доходит до «мужицких слов», не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. «Это безобразие!», «Сами вы хулиганы — что вы понимаете!» и т. д. Только Шершеневичу удается перекричать ревущую аудиторию. «А все-таки он прочтет до конца!» — кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят на стол. И вот он в третий раз читает свои стихи, читает долго, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум.

А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы не декламировал «красногривого жеребенка». А потом в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык — «поэт уходящей деревни».

Слава Есенина сделала крупный скачок. Уже многие стали мысленно соглашаться с гордым заявлением его, что сейчас в России он «самый лучший поэт». На таком уровне славы держался Есенин и несколько последующих лет. Даже, может быть, эта слава начала слегка колебаться: его «Пугачев» не

имел успеха. Следующий скачок дала «Москва кабацкая», а настоящая, прочная, непроходящая слава связана с выходом в свет его стихов в издании «Круга» в 1924 году; особенное значение имел в книге отдел, озаглавленный «После скандалов». Поэт перерастает себя и как крестьянского поэта, и как поэта-хулигана. Он забирается на такие вершины поэзии («Памяти Ширяевца» и т. д.), что оттуда уже недалеко и до обеспечения себе места в тесном и немногочисленном кругу классиков русской литературы.

Необходимо отметить, что Есенин вовсе не был равнодушен к своей славе и беззаботен насчет того, что о нем говорят. Из заграничной поездки он вывез целые вороха газетных вырезок о себе, появлявшихся в иностранной прессе, даже из японских газет. И конечно, слава была ему дороже жизни. Об этом свидетельствует хотя бы его известное обращение к Пушкину перед памятником великому поэту на Тверском бульваре:

Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе [4].

Есенину всегда была присуща высокая самооценка. В своей автобиографии он рассказывает, что, когда в 1915 году появился среди петербургских литераторов, он сразу был признан как талант. К этому он добавляет: «Я знал это лучше других» [5].

Преимущество перед Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтому творчество его становится бесплодным». Другой раз он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь».

Что же касается до имажинистов, с которыми он тесно был связан в течение нескольких лет, то и в самый разгар дружбы с ними Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. «Я же,— добавлял Есенин,— в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение».

Называя одного из современных поэтов, Есенин сказал однажды (это было еще в 1921 году) пишущему эти строки:

— Обратите внимание, что ему уже за сорок. Следовательно, поэтический возраст для него прошел. И вот последняя книга его стихов уже говорит об упадке. Вообще лирический поэт не должен жить долго. Или в известном возрасте он должен перестать писать. Исключения, как мой любимый Фет, редки.

Однажды Есенин сказал мне:

— Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев».

— А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи Пугачевского бунта?

— Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены, взял насильно: она его не любила; а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.

— Ну, это совсем другое!

— А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»?

— У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.

И потом, немного помолчав, прибавил:

— В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии.

Я несколько лет,— продолжал Есенин,— изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел

для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева.

Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно.

— Обратите внимание,— сказал он мне,— что у меня почти совсем нет любовных мотивов. «Маковые побаски» можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании «Радуницы». Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве.

Это говорилось в 1921 году. В последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» оставалось, конечно, верным.

— С детства,— говорил Есенин,— болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, например, знаете ли вы мою «Радуницу»?

— Да.

— Какое у вас издание?

— У меня есть и первое и второе.

— Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтоб тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов; целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный, рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.

— Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано,— заметил я,— состав стихотворений другой.

— Да, я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал.

26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне перед этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большей частью к концу 1920 года, не вполне совпадают с теми сведениями, которые он сообщает в двух автобиографиях, написанных им лично позднее и предназначавшихся тогда же для напечатания. Вот что было мною записано:

«Я крестьянин Рязанской губернии Рязанского же уезда. Родился я в 1895 году по старому стилю 21 сентября. В нашем краю много сектантов и старообрядцев. Дед мой, замечательный человек, был старообрядческим начетчиком. Книга не была у нас исключительным и редким явлением, как в других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не сделало. Вот сейчас я служу в книжном магазине, а состав книг у нас знаю хуже, чем другие. И нет у меня страсти к книжному собирательству. У меня нет даже всех мною написанных книг. Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль. Так было в детстве, так было и потом, когда я встречался с разными писателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мною.

А в детстве я рос в атмосфере народной поэзии. Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Еще большее значение имел дед, который сам знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них. Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка хотела меня всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед.

Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом и в творчестве моем были такие полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

Меня спрашивают, зачем я в своих стихах употребляю иногда непринятые в обществе слова. Так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А, впрочем, что такое «неприличные» слова! Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе? Учился я в закрытой церковной школе в одном заштатном городе Рязанской губернии. Оттуда я должен был поступить в Московский учительский институт. Хорошо, что этого не случилось: плохим я был бы учителем. Некоторое время я жил в Москве, посещал Университет Шанявского. Потом я переехал в Петербург. Там меня более всего поразило своею неожиданностью существование на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание,— Николая Клюева.

С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его «Песнослова» хуже первого. Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан.

Я уже раньше рассказывал вам о разных литературных знакомствах и влияниях. Да, влияния были. И теперь во всех моих произведениях отлично сознаю, что в них мое и что не мое. Ценно, конечно, только первое. Вот почему я считаю неправильным, если кто-нибудь станет делить мое творчество по периодам. Нельзя же при делении брать признаком что-либо наносное. Периодов не было, если брать по существу мое основное. Тут все последовательно. Я всегда оставался самим собой.

Вы спрашиваете, целен ли был, прям и ровен мой

житейский путь? Нет, такие были ломки, передряги и вывихи, что я удивляюсь, как это я до сих пор остался жив и цел. Об этом расскажу вам подробно когда-нибудь другой раз».

Но это так и не случилось.

Есенина после его возвращения из Америки я стал видеть реже. Запомнились четыре отдельные встречи. Первая на каком-то спектакле в Камерном театре. Мы неожиданно встретились в фойе театра во время антракта и обменялись впечатлениями.

Помню, как крепко, по-дружески пожал он мне руку.

Второй раз я видел Есенина в одну из суббот в литературном кружке «Никитинские субботники». Третий раз в Политехническом музее на «чистке поэтов» у Маяковского. Особенно запомнилось мне выступление Есенина у памятника Пушкину в 1924 году, в день 125-летнего юбилея великого поэта. Есенин стоял на ступеньках пьедестала, светлые его кудри резко выделялись в толпе. В руках он держал букет цветов, который от Союза писателей он возложил к подножию памятника. Он читал свое известное стихотворение, посвященное Пушкину, громко и четко, размахивая, как обычно, руками:

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть[6].

Но петь пришлось недолго. Последняя моя встреча с Есениным состоялась уже 30 декабря 1925 года, когда мы, московские писатели, пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом покойного поэта. Был сырой зимний вечер. Подавленные бессмысленной смертью, молча стояли мы у гроба.

А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано было: «Умер великий русский поэт».

В. И. ВОЛЬПИН

ЕСЕНИН В ТАШКЕНТЕ

Познакомился я с Есениным в конце 1920 года. Я работал тогда в качестве представителя от Туркцентропечати в Москве при Главном управлении Центропечати на Тверской. Имажинисты в то время почти монопольно, несмотря на острый бумажный кризис, ухитрялись издавать свои тощие книжки и часто бывали в Центропечати, экспедируя через ее аппарат свои издания в провинцию.

Там я впервые увидел Есенина, пришедшего по делу.

Наши встречи стали почти ежедневными. Встречались мы в кафе поэтов «Домино», в кафе имажинистов «Стойло Пегаса», на вечерах в консерватории и в Политехническом музее, в книжной лавке на Никитской.

Вскоре я уехал в Туркестан. Мы встретились с Есениным через три месяца в Ташкенте.

Есенина манил не «Ташкент — город хлебный», а Ташкент — столица Туркестана. Поездку Есенина в Туркестан следует рассматривать как путешествие на Восток, куда его очень давно, по его словам, тянуло.

Приехал Есенин в Ташкент в начале мая, когда весна уже начала переходить в лето. Приехал радостный, взволнованный, жадно на все глядел, как бы впивая в себя и пышную туркестанскую природу, необычайно синее небо, утренний вопль ишака, крик верблюда и весь тот необычный для европейца вид туземного города с его узкими улочками и безгла-

зыми домами, с пестрой толпой и пряными запахами.

Он приехал в праздник уразы, когда мусульмане до заката солнца постятся, изнемогая от голода и жары, а с сумерек, когда солнце уйдет за горы, нагромождают на стойках под навесами у лавок целые горы «дастархана» для себя и для гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрикосы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фисташки, халва... Цветы в это время одуряюще пахнут, а дикие туземные оркестры, в которых преобладают трубы и барабаны, неистово гремят.

В узких запутанных закоулках тысячи людей в пестрых, слепящих, ярких тонов халатах разгуливают, толкаются и обжираются жирным пилавом, сочным шашлыком, запивая зеленым ароматным кок-чаем из низеньких пиал, переходящих от одного к другому.

Чайханы, убранные пестрыми коврами и сюзане, залиты светом керосиновых ламп, а улички, словно вынырнувшие из столетий, ибо такими они были века назад, освещены тысячесвечными электрическими лампионами, свет которых как бы усиливает пышность этого незабываемого зрелища. Толпа разношерстная: здесь и местные узбеки, и приезжие таджики, и чарджуйские туркмены в страшных высоких шапках, и преклонных лет муллы в белоснежных чалмах, и смуглые юноши в золотых тюбетейках, и приезжие из «русского города», и разносчики с мороженым, мишалдой и прохладительными напитками. Все это неумолчно шевелится, толкается, течет, теряя основные цвета и вновь находя их, чтобы через секунду снова расколоться на тысячу оттенков.

И в такую обстановку попал Есенин — молодой рязанец, попал из голодной Москвы. Он сначала теряется, а затем начинает во все вглядываться, чтобы запомнить.

Я помню, мы пришли в старый город небольшой компанией, долго толкались в толпе, а затем уселись на верхней террасе какого-то ош-хане. Вровень с нами раскинулась пышная шапка высокого карагача — дерево, которое Есенин видел впервые. Сверху зре-

лице было еще ослепительнее, и мы долго не могли заставить Есенина приступить к еде.

В петлице у Есенина была большая желтая роза, на которую он все время бережно посматривал, боясь, очевидно, ее смять.

Когда мы поздно возвращались в город на трамвае, помню то волнение, которым он был в этот день пронизан. Говорил он много, горячо, а под конец заговорил все-таки о березках, о своей рязанской глуши, как бы желая подчеркнуть, что любовь к ним у него постоянна и неизменна.

Литературная колония в Ташкенте встретила Есенина очень тепло и, пожалуй, с подчеркнутым уважением и предупредительностью как большого, признанного поэта, как метра. И это при враждебном к нему отношении как к вождю имажинизма — течения, которое было чуждо почти всей пишущей братии Ташкента.

Особенно часто и остро нападал на Есенина за его имажинизм Ширяевец, видевший в имажинисте Есенине поэта, отколовшегося от их мужицкого стана. Есенин долго и терпеливо объяснял своему другу основы имажинизма и тогда же начал писать письмо Р. В. Иванову-Разумнику с изложением этих основ, но так и не докончил его, оставив черновик письма Ширяевцу на память *.

С Ширяевцем Есенин встречался чаще, чем с другими. Их связывала почти шестилетняя заочная дружба, поддерживавшаяся редкими письмами, и Есенин не мог с ним наговориться.

Он позже, в Москве, уже после смерти Ширяевца, сильно подействовавшей на него, вспоминал их первую личную встречу и говорил мне, что до поездки в Ташкент он почти не ценил Ширяевца и только личное знакомство и долгие беседы с ним открыли ему значение Ширяевца как поэта и близкого ему по духу человека, несмотря на все кажущиеся разногласия между ними.

---

* Письмо это опубликовано в журнале «Красная новь», № 2 за 1926 г.

Приехал Есенин в Туркестан со своим другом К., ответственным работником НКПС, в его вагоне, в котором они и жили во все время их пребывания в Ташкенте и в котором затем уехали дальше — в Самарканд, Бухару и Полторацк (бывш. Асхабад).

Ташкентский Союз поэтов предложил Есенину устроить его вечер. Он согласился, но просил организовать его возможно скромнее, в более или менее интимной обстановке. Мы наметили помещение Туркестанской публичной библиотеки.

Вечер вскоре состоялся. Небольшая зала библиотеки была полна. Преобладала молодежь. Лица у всех были напряженны.

Читал Есенин с обычным своим мастерством. На аплодисменты он отвечал все новыми и новыми стихами, и умолк, совершенно обессиленный. Публика не хотела расходиться, а в перерыве раскупила все книги Есенина, выставленные Союзом для продажи. На все просьбы присутствующих прочитать хотя бы отрывки из «Пугачева», к тому времени вчерне уже законченного, Есенин отвечал отказом.

Однако он почти целиком прочитал свою трагедию через два дня у меня на квартире. Долго тянулся обед, затем чай, и только когда уже начало темнеть, Есенин стал читать. Помнил он всю трагедию на память и читал, видимо, с большим наслаждением для себя, еще не успев привыкнуть к вещи, только что законченной.

Читал он громко, и большой комнаты не хватало для его голоса. Я не знаю, сколько длилось чтение, но знаю, что, сколько бы оно ни продолжалось, мы, все присутствовавшие, не заметили бы времени. Вещь производила огромное впечатление. Когда он, устав, кончил чтение, произнеся заключительные строки трагедии, почувствовалось, что и сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой.

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Он кончил. И вдруг раздались оглушающие аплодисменты. Аплодировали не мы, нам это в голову не пришло. Хлопки и крики неслись из-за открытых окон (моя квартира была на первом этаже), под которыми собралось несколько десятков человек, привлеченных громким голосом Есенина.

Эти приветствия незримых слушателей растрогали Есенина. Он сконфузился и заторопился уходить.

Через несколько дней он уехал дальше в глубь Туркестана, завоевав еще один город на своем пути.

А. Б. ГАТОВ

ТАК БЫЛО

Начало нашего знакомства относится к 1920 году. Я жил в Харькове. Сергей Александрович несколько раз там бывал в 1920—1921 годах, а я часто приезжал в Москву, суровую Москву тех лет. Мне довелось выступать вместе с Есениным в Харькове и в Москве. Нечего говорить, что успех распределялся неравномерно...

Как читал свои стихи Есенин? Я бы сказал — упоенно, горячо, страстно, как исповедь сердца. Особенно мне запомнилась сцена из «Пугачева», в то время еще не опубликованного,— сцена «Уральский каторжник», в которой Хлопуша является в стан Пугачева.

По-иному, но также властно захватывая слушателя, он читал «Сорокоуст». Очень спокойно произносил первое озорное восьмистишие; на песенный лад, то задорный, то скорбный, переходил во второй главке — «Ах, не с того ли за селом...»; набрав воздух в легкие, гордо и по-былинному широко повествовал о соревнованье жеребенка с паровозом:

Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?

«Сорокоуст» был одним из любимейших произведений публики той поры; Есенин сам его любил, читал охотно...

Как воспринимал Есенин чужие стихи? (Конечно, я имею в виду его современников.) Есенин умел слушать настороженно — как-то расцветал, когда стихи

казались ему удачными; он просил автора их повторить и сам произносил понравившиеся строки. (У меня ему нравилось, например: «На зябких розах желтая солома...») Свежее дыхание он ощущал в высокой степени: «Стихи должны быть, как открытое окно!» Но мне приходилось слышать, как Есенин, увидав в печати сухие, казенные произведения, сопровождал свою резкую критику соленым словом в адрес того или иного редактора. Есенину было далеко не безразлично, на каком уровне будет находиться русская поэзия.

Он ратовал за все талантливое, новаторское, индивидуальное. Он любил Блока, ценил классически уверенные стихи Белого и Брюсова, особенно его «Баллады» и гражданские стихи 1904—1905 годов («Современность»). Серость в стихах Есенину казалась оскорблением русской поэзии. Самой бранной кличкой в устах Есенина было слово «эпигон», безразлично — есенинский или символистов. Это, между прочим, стоит запомнить некоторым поэтам, не застрахованным и сейчас от подражания Есенину.

Есенин был широкой, самобытной русской натурой. Недаром он всегда восхищался Горьким и Шаляпиным, гордился дружбой с Качаловым и Коненковым. Хотя он и учился в Университете Шанявского, но, по существу, он был самородком, самому себе обязанным и своей немалой культурой, и развитием своего таланта.

Широта Есенина — широта ума и характера — сказывалась всегда и во всем. Может быть, не совсем удачной иллюстрацией этого будет одна его запомнившаяся реплика. Зашел разговор о бегах... Есенин нахмурился и процедил: «Не люблю бегов. Бегут две, три, четыре лошади... Скучно! То ли дело — табун бежит...» Это было сказано просто, без рисовки.

Как-то в осенние сумерки я пришел на Большую Никитскую, в книжную лавку имажинистов, где Сергей Александрович бывал обычно перед вечером. Лавка была уже закрыта. Сотрудник, дававший Есенину отчет за минувший день, поторопился уйти наверх на антресоли, где мерцал огонек. И лавка была слабо освещена керосиновой лампой. В ремб-

рандтовской полутьме—Есенин, в пальто, накинутом на плечи, и в руках книга:

— Гоголь! Мой любимый!

Приблизив том к свету, Сергей Александрович, наклонившись, начал мне читать страницу из «Мертвых душ», но оборвал на полуфразе:

— Я все у него люблю. И «Вечера на хуторе...», и «Тараса Бульбу»... Начнешь читать, и весь мусор с души сдувает...

В эту нашу встречу Сергею Александровичу захотелось подарить мне одну из своих книг — под руками было недавно вышедшее «Преображение». Он сделал короткую надпись:

«Гатову
дружеский
Есенин
1921
Сент.
Москва».

И. И. ШНЕЙДЕР

ЕСЕНИН ЗА ГРАНИЦЕЙ

Однажды на Большой Никитской меня остановил известный в то время московский художник Георгий Богданович Якулов. В его оформлении шли тогда премьеры многих крупных московских театров. В последующие годы Якулов явился автором проекта памятника 26 бакинским комиссарам и работал над этим проектом, когда Есенин был в Баку. Есенинская «Баллада о двадцати шести» посвящена Якулову.

— У меня в студии сегодня небольшой вечер,— сказал Якулов,— приезжайте обязательно. И, если это возможно, привезите Дункан.

Студия Якулова блистала стеклянной крышей наверху высокого дома где-то около «Аквариума», на Садовой.

Появление Дункан вызвало сначала мгновенную тишину, а потом радостные крики: «Дункан!»

Дункан увели в соседнюю комнату, а меня в это время чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он кричал: «Где Дункан? Где Дункан?» — и ураганом пронесся в соседнюю комнату. Я не успел разглядеть его лица.

— Кто это? — спросил я Якулова.

— Есенин,— засмеялся он.

Немного спустя мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она сидела на софе. Есенин стоял около нее на коленях, она гладила рукой его волосы, скандируя по-русски:

— За-ла-та-я га-ла-ва...

Они проговорили целую ночь. Гости уже расхо-

дились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней.

Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Показался извозчик, на счастье, свободный. Айседора вступила на подножку и опустилась на сиденье, как всегда, с такой грацией, будто она садилась в придворный экипаж, запряженный цугом. Есенин буквально прыгнул в пролетку и сел с ней рядом.

Я пристроился на облучке. Пролетка тихо протарахтела по Садовой, уже освещенной первыми лучами солнца, потом за Смоленским свернула налево и очутилась около большой церкви. Ехали мы очень медленно, чтó моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми.

Ни Айседора, ни Есенин не заметили, что дремлющий извозчик кружит нас вокруг церкви.

— Эй, отец! — тронул я его за плечо.— Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь.

Есенин встрепенулся, а узнав, в чем дело, радостно рассмеялся.

— Повенчал! — хохотал он, поглядывая заблестевшими глазами на Айседору.

Дункан, узнав, что произошло, закивала головой:

— Mariage...*

Извозчик остановился у подъезда нашего особняка.

Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались. Айседора посмотрела на меня виноватыми глазами и просительно произнесла:

— Иля Илич... Ча-ай?

— Чай, конечно, можно организовать,— сказал я, и мы все вошли в дом.

Айседора не знала почти ни одного слова по-русски, а Есенин не владел ни одним из иностранных языков. Поэтому они мучали меня, прибегая к моей помощи, когда были совершенно не в состоянии понять друг друга, хотя оба и уверяли меня, что понимают прекрасно, «объясняясь образами Шелли, Шиллера, Байрона, Гете».

---

* Свадьба *(франц.)*.

— Он читал мне сейчас свои стихи,— говорила мне тогда Айседора,— я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка!

С появлением Есенина на Пречистенке стали бывать поэты-имажинисты.

Имажинистов было много, они постоянно устраивали толчею вокруг Есенина.

Через несколько месяцев в одном из писем Есенин сообщал:

«Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники... Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко»[1].

Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно заставляли читать стихи. Впрочем, его никогда не приходилось долго упрашивать. Читал он охотно, чаще всего «Исповедь хулигана» и монолог Хлопуши из большой поэмы «Пугачев», над которой он в то время работал. В интимном кругу читал он негромко, хрипловатым голосом, иногда переходившим в шепот очень внятный, а иногда поднимавшимся до звонкого звучания меди. Букву «г» он выговаривал с украинской мягкостью. Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то, одному ему видимые рязанские дали, он шептал строфу из «Исповеди» о своих стариках:

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога и болотных недр,[2]—

заканчивая на полном таинственности шепоте.

В своих публичных выступлениях Есенин, наоборот, читал громко, чуть-чуть «окая»...

«Пугачевым» Есенин был поглощен. Еще не закончив работу над поэмой, он хлопотал об издании ее отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек в обложке темно-кирпичного цвета, на которых было оттиснуто: «Пугачев».

Талантливейший ваятель Сергей Тимофеевич Коненков дружил с Есениным. Вечерами Есенин иногда тормошил всех:

— Едем на Красную Пресню! Изадора — Коненков! — горячо восклицал он на их собственном и понятном им обоим языке, в котором они не пользовались глаголами.

На Красной Пресне помещалась маленькая студия-мастерская Коненкова.

Здесь нас встречала целая галерея выточенных из дерева русских Панов — старичков-лесовичков с добрыми, лукавыми и чуть-чуть улыбающимися лицами. Повсюду лежали пни и чурбаны и пахло свежим деревом.

Коненков приходил иногда в студию Айседоры и подолгу смотрел на нее танцующую. Потом все расспрашивал ее о великом скульпторе Родене, с которым Дункан была в большой дружбе. Она рассказывала, как Роден впервые приехал в ее студию в Париже и она танцевала перед ним.

Коненков выточил из дерева две статуэтки танцующей Айседоры и подарил их ей. Она увезла потом их во Францию, что случилось с ними после ее гибели, я не знаю.

— Вот моя награда! — сказала Айседора после одного урока танца с детьми.— Газеты Европы и Америки перед моим отъездом в Москву скептически пророчили мне неудачу. Если бы они могли увидеть сейчас этих русских детей! Я всегда знала, что русские необычайно музыкальны, а способность их к танцу давно известна всему миру... Если бы можно было сделать так, чтобы этих детей увидал мир!

И она загорелась новой идеей. Айседора никогда ничего не откладывала и вскоре вошла ко мне, держа листок бумаги с текстом телеграммы, написанной ею по-английски. Это была телеграмма известному американскому импрессарио Юроку, постоянному организатору гастролей Айседоры Дункан.

Телеграмма гласила:

«Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы двадцати восхитительных рус-

ских детей и моего мужа знаменитого русского поэта Сергея Есенина телеграфируйте немедленно Айседора Дункан».

Ответ из Нью-Йорка не замедлил:

«Интересуюсь телеграфируйте условия и начало турне Юрок».

Советское правительство дало согласие на выезд школы, и Дункан стала деятельно готовиться к первому показательному спектаклю ее школы в Москве и к своему отъезду за границу, намереваясь провести там до приезда школы большую предварительную работу.

Айседора и Есенин хотели закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, и Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов». К тому же Есенин рассказал ей о том, что произошло в Соединенных Штатах с М. Ф. Андреевой и А. М. Горьким, потому что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков.

Оба пожелали носить двойную фамилию — Дункан-Есенин. Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час.

Есенин летел впервые в своей жизни и заметно волновался. Дункан же постоянно летала и в Европе и в Америке и была спокойна. Но когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг сказала, что на всякий случай хочет написать завещание. Она попросила у меня блокнот. На нескольких узеньких страничках блокнота Айседора быстро написала короткое завещание, в котором говорилось, что в случае ее смерти наследником является ее муж Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе,— сказал я.

— Я об этом не подумала,— засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «а в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан»,— поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я расписались в качестве свидетелей.

После этого я положил голубой блокнот обратно в свой портфель.

Трудно было тогда представить себе, что всего через пять лет об этом блокноте будут писать газеты Европы и Америки и ко мне будут лететь телеграммы из Парижа, запрашивающие о завещании...

12 мая 1922 года Дункан и Есенин прибыли в Берлин. Айседора всегда останавливалась в самом фешенебельном отеле Берлина — «Адлон», в котором ее ожидало уже целое сборище журналистов.

Ведь приезд Айседоры Дункан из «большевистской Москвы», да еще в сопровождении какого-то молодого русского поэта, ставшего ее мужем, был сенсацией, а следовательно, и «хлебом» для репортеров.

Перед отъездом Дункан в Москву журналисты Парижа и Лондона атаковали ее, забрасывая десятками вопросов, ответы на которые они печатали во множестве интервью.

— Не боитесь ли вы ехать в Советскую Россию, когда там нечего есть?

— Я боюсь духовного, а не телесного голода. Мечта моей жизни должна быть осуществлена! Только в России я смогу создать школу, о которой мечтаю.

— Но в Америке существует много школ, применяющих ваш метод?

— В Америке такие бесчисленные школы открыты людьми, которые применяют мой метод без понимания его существа...

— Какой контракт вы подписали с Советским правительством?

— Я еду в Советскую Россию без всякого контракта. Мне надоели контракты! Русские могут не

иметь достаточно еды, но они твердо решили, что искусство и образование должны быть доступны всем!

Теперь Дункан пробыла год в Москве, и вопросы сыпались на нее в еще большем количестве. Дункан отвечала:

— Несмотря на лишения, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по перестройке жизни. Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, и его семья с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве.

Еще в первые месяцы жизни Дункан в Москве ее ответы на вопросы корреспондентов были напечатаны на страницах «Юманите».

«Дорогие товарищи! — писала Дункан. — Вы спрашиваете о впечатлениях моего путешествия, но все, что я могу сказать, является только впечатлениями художника, так как я сама слишком невежественна в политике. Я оставила Европу, где искусство раздавлено коммерцией.

Я убеждена в том, что в России совершается величайшее в истории человечества чудо, какое только имело место на протяжении последних двух тысячелетий. Мы находимся слишком близко к этому явлению, чтобы увидеть больше, чем только материальные последствия, но те, которые будут жить в течение следующего столетия, поймут, что человечество через коммунизм решило сделать огромный шаг вперед.

...Только братство рабочих всего мира, только Интернационал могут спасти человечество. Что касается голода — я не боюсь его. Моя мать — бедная учительница музыки, имевшая детей, часто не имела еды, но ей всегда удавалось облегчать наш голод игрою произведений Шуберта и Бетховена, под которую мы, дети, танцевали вместо еды. Так я совершила свой дебют как танцовщица...»

Из Германии я получил от Есенина несколько писем. Они сданы мною весной 1940 года в Литературный музей вместе с другими его письмами.

Почти все свои письма Есенин начинал обычным для него обращением: «Милый Илья Ильич! Привет

вам и целование!» Он все беспокоился о своей сестре Кате, учившейся тогда в Москве, просил, чтобы «Лавка писателей» выдала ей денег или я сам достал их для нее, «а я вам пришлю в письме чек»,— писал Есенин.

Но вряд ли Айседора и Есенин сумели бы прислать когда-нибудь чек. Они сами жили так широко, что порою прямо бедствовали.

Есенин сетовал в письмах, что Айседора совсем не умеет вести своих дел, что ее все на каждом шагу обманывают, что дом ее в Грюнвальде (район Берлина) продан за курьезно малую сумму. Жаловался, что Айседора «скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью» [3],— добавлял он (что, кстати сказать, было на него совсем не похоже).

В конце июля 1922 года Айседора и Есенин приехали в Париж. Здесь их предупредили, что они находятся под надзором полиции и поэтому надо избегать политических речей и высказываний.

Последующие два месяца были спокойными. Дункан и Есенин много путешествовали, ходили по музеям.

Есенин продолжал работать над изданием своих прежних стихов и писал новые.

В Тюрингии они посетили Веймар — город Гете и Шиллера. Долго смотрел Есенин на не дописанную Гете страничку, лежащую на его письменном столе.

В октябре на гигантском пароходе «Париж» Дункан и Есенин отплыли из Гавра в Нью-Йорк.

На пристани в Нью-Йорке их ожидало множество фотографов и репортеров, но сойти на берег Дункан и Есенину не удалось, так как тут же иммиграционный инспектор заявил им, что эту ночь они должны провести в своей каюте, а утром проследовать на Эллис-Айланд («Остров слез») для проверки. При этом он воздержался от каких бы то ни было объяснений и лишь проговорился, что действует согласно инструкции из Вашингтона, вследствие «советских взглядов мисс Дункан, высказанных ею в печати».

Дункан, в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках и в длинном плаще, стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда фоторепортеров и журналистов, которые засыпали их вопросами.

Есенин, заготовивший, как он потом рассказывал, целую речь, презрительно молчал. А сказать он хотел о своей вере в то, что «душа России и душа Америки в состоянии понять одна другую и что они приехали рассказать о великих русских идеях и работать для сближения двух великих стран».

Американские репортеры остались верны себе: они наперебой задавали Дункан всевозможные нелепые вопросы о ее танцах, о Москве, о Есенине, об Эллис-Айланде, о визах, о ее отношении к американцам и даже о том, «как она выглядит, когда танцует»,— на что Айседора резонно отвечала, что она не может этого сказать, так как никогда не видела себя танцующей...

По поводу «Острова слез» она сказала:

— Они задержали нас только потому, что мы приехали из Москвы, хотя американский консул в Париже, завизировавший наши паспорта, заверил нас, что никаких препятствий к въезду теперь не будет!

Все вечерние газеты Нью-Йорка вышли в этот день с большими заголовками:

«Приезд великой артистки!»

Но Дункан и Есенин сидели в это время в своей каюте, а утром должны были быть водворены на Эллис-Айланд.

Нью-йоркская газета «Таймс» в это утро писала:

«Айседора Дункан задержана на Эллис-Айланде! Боги могут смеяться! Айседора Дункан, которой мир обязан созданием нового искусства танца, зачислена в опаснейшие иммигранты!»

На Эллис-Айланде Дункан и Есенину заявили, что приказ об их задержании был дан министерством юстиции «ввиду долгого пребывания Айседоры Дункан в Советской России» и подозрения в том, что «она оказывает дружескую услугу Советскому правительству в провозе в Америку каких-то документов».

После приезда из США Есенин писал про Эллис-Айланд в «Известиях» в статье «Железный Миргород»: «Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри,— сказал я спутнику,— это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!..

Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине» [4].

После двухчасового допроса они были наконец освобождены.

Друзья Айседоры устроили ей и Есенину дружественную встречу и банкет в отеле, где они поселились. Дункан была счастлива, с жаром делилась впечатлениями о Советской России и ни о чем другом не желала говорить. Ей не терпелось рассказать об этом всей Америке, как она выразилась. Журналисты одолевали и Есенина, произносившего огневые речи. Все шло хорошо. Три спектакля Дункан в «Корнеги-холл» прошли с большим успехом и благополучно заканчивались, несмотря на речи Айседоры о Советской России.

Но дальше произошли неожиданные события. Начавшееся в Филадельфии турне тут же приостановилось, так как мэр Индианаполиса испугался «большевистских речей» Айседоры и запретил ей въезд в город.

Импрессарио Юрок по прямому проводу обещал мэру, что Дункан воздержится от выступлений. Но уже на первом спектакле Айседора произнесла, как выразились местные газеты, «одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России».

Когда наутро осадившие ее репортеры сообщили Дункан о том, что ей навсегда запрещен теперь приезд в Индианаполис, она равнодушно выслушала эту сенсационную для них новость и ответила, что ей это совершенно безразлично.

Юрок нервничал, боялся, что все это приведет к отмене турне. В Милуоки он не допустил к Айседоре корреспондентов и объявил, что Дункан никого

не принимает, но на банкете, где чествовали ее и Есенина, она опять высказалась всласть...

Турне прекратилось. Но в Нью-Йорке Дункан продолжала выступать, и, как она и Есенин мне рассказывали, двенадцать ее спектаклей заканчивались «Интернационалом», после чего «зеленая карета» отвозила ее в полицию, где все ограничивалось подпиской о невыезде. Луначарский, смеясь, показывал вырезку из нью-йоркской газеты:

«Три департамента — юстиции, труда и иностранных дел — возбудили судебное следствие против Айседоры Дункан и доискиваются, в каких отношениях с Советским правительством она состоит».

В конце концов через четыре месяца жизни в Америке было принято решение о лишении Дункан американского гражданства. Одновременно ей и Есенину было предложено покинуть США.

Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:

— Если бы я приехала в эту страну как крупный финансист за займом, мне был бы оказан великолепный прием, но так как я приехала как артистка, меня направили на «Остров слез» как опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.

Эти слова ее были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки.

12 февраля 1923 года океанский пароход «Джордж Вашингтон» подошел к причалам Шербура. На борту были Айседора Дункан и Сергей Есенин, которых снова ожидало в порту сборище европейских репортеров. Дункан сделала краткое заявление:

— Меня изгнали из Америки! Соединенные Штаты сошли с ума в вопросах о большевизме, «сухом законе» и «ку-клукс-клане». В этой «стране свободы» нет более никакой свободы! Газеты Америки описывали мою личную жизнь — что я ела, пила, с кем общалась,— но никто не рассказал ничего о моем

искусстве. Увлечение материальными благами стало проклятием Америки!

Есенин был рад возвращению на родину.

Впоследствии мне рассказала Дести, что Айседоре незадолго до смерти в одном из интервью в Ницце задали такой вопрос:

— Какой период вашей жизни вы считаете самым значительным и самым счастливым?

— Россия, Россия, только Россия! — ответила Айседора.— Мои три года жизни в России, со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни, вместе взятого! Ничего нет невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни!

Московской школе имени А. Дункан ехать в Америку не пришлось, так как сидевший в столице Латвии американский консул после высылки из США Дункан и Есенина отказал нам в визах.

Вскоре из Парижа возвратились Дункан и Есенин. Мы с Ирмой встречали их на вокзале.

Показался поезд. Мы оправили опрыснутые водой цветы, только что купленные в киоске на вокзальной площади, и пошли к вагону.

Мы сразу увидали их. Улыбаясь, они стояли в тамбуре вагона с настежь раскрытой дверью. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за руку, привлекла его к себе и, наклонив ко мне лицо, ставшее серьезным, сказала:

— Hier ich bringe dieses Kind in sein Vaterland, aber ich habe nichts mehr mit ihm zu tun...*

Но пока это были одни слова. Чувства оказались сильнее...

После одного конфликта Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск. А я стал повсюду разыскивать Есенина. На-

---

* Вот, я привезла этого ребенка на его родину, но у меня нет более ничего общего с ним... (*немецк.*)

конец, встретил. Он выглядел очень взволнованным.

— Айседора уезжает,— сказал я ему.

— Куда? — встрепенулся он.

— Совсем... от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Посреди комнаты Ирмы в бывшем балашовском будуаре стоял длинный золоченый диван полукруглой формы. Когда я тихо отворил дверь, Айседора сидела на диване спиной к нам и не слыхала, как мы вошли в комнату.

Есенин подошел сзади и, опершись о спинку дивана, наклонился к Дункан:

— Я тебя очень люблю, Изадора... очень люблю,— с хрипотцой прошептал он.

Она вскочила и обвила руками его шею.

Все было тут же забыто. Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня.

На другой день мы проводили Айседору и Ирму. В этот вечер Есенин рано вернулся домой, рассказал мне о непорядках в «Лавке писателей», ругал своего издателя. Утром он рано ушел, не возвращался ни днем, ни вечером и не пришел ночевать.

На следующий день он прибежал и объявил мне:

— Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Дают деньги на издание журнала...

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам и обратно:

— Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу все, приеду туда к вам!

Вечером Есенин опять не пришел, а ночью я даже не слыхал, как он явился с целой компанией, которая к утру исчезла вместе с ним, сильно облегчив чемоданы Есенина, из которых он щедро раздавал все, что попадало ему под руку.

В последний день Есенин пришел проститься и обвязал веревкой свои чемоданы.

— Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский,— сказал он.

— А что это за веревки? Куда девались ремни? — спросил я.

— А черт их знает! Кто-то снял...— И он ушел.

Вечером я уехал в Кисловодск.

Побывав на Минеральных Водах и в Баку, мы поехали в Тифлис. В коридоре мягкого вагона, раскачиваемого ходом поезда, шедший мне навстречу человек спросил, напрягая голос и стараясь перекричать вагонный шум, гул и дребезг:

— Правда ли, что в этом вагоне едет Айседора Дункан? — и добавил: — У меня к ней письмо от Есенина. Случайно услыхав, что я еду на Кавказ, он тут же написал письмо и просил передать ей, сказав, что «Дункан где-то на Кавказе»...

Это было похоже на Есенина.

Он писал Дункан все то, что сказал мне перед моим отъездом из Москвы, и заканчивал свое письмо обещанием приехать к Айседоре в Крым, если она там будет. Дункан долго всматривалась в эти строки, набросанные своеобразным почерком Есенина, ставившего каждую букву отдельно, не соединяя ее с последующей.

— Crimée? — спросила она и не сказала больше ни слова.

А вечером перед сном опять повторила: «Crimée...»

Из Тифлиса мы уехали в Батум. Нам предстояло еще совершить путь от Батума до Новороссийска на небольшом морском пароходе «Игнатий Сергеев».

Взойдя на палубу, Айседора поинтересовалась, куда идет этот пароход. И, услыхав от меня, что его путь лежит через Крым на Одессу, ухватилась за борт и категорически заявила, что она никуда не уйдет, пока не доедет до Крыма.

— Crimée! — несколько раз повторяла она и объясняла, что мечтой ее жизни всегда был Крым и непростительно глупо не проехать туда, если пароход этот идет в Крым.

— Кроме того,— заявила она,— Езенин написал мне, что приедет, если я буду в Крыму.

На этом все переговоры с ней закончились, и я не стал растрачивать силы и нервы, хорошо уже зная, что все окажется бесполезным, раз тут фигурирует Есенин.

...В Ялте моросил нудный осенний дождик, подхватываемый холодными порывами ветра.

На другой день холод и дождь продолжались. Вечером, озябшие и мокрые, мы возвращались в гостиницу, поужинав на «Поплавке» застывшим от холода шашлыком.

Портье подал мне две телеграммы. Одна из них была адресована Айседоре Дункан.

Я вскрыл ее:

«Писем телеграммы Есенину больше не шлите Он со мной к вам не вернется никогда Галина Бениславская».

Утро встретило нас солнечной ялтинской погодой. Я решил все же сказать Айседоре о странной телеграмме не известной никому из нас Галины Бениславской. Айседора тяжело переживала все это, но старалась не показывать виду. Я сказал ей, что уже телеграфировал в Москву и просил выяснить, известно ли Сергею содержание полученной нами телеграммы.

Ответ пришел быстро:

«Содержание телеграммы Сергею известно».

Кто же такая Галина Бениславская? Эта девушка любила его беззаветной любовью, на которую Есенин отвечал только большим дружеским чувством. Однажды вечером она и ее подруга составили громоподобную телеграмму Айседоре, а он дал согласие отправить ее (он сам рассказал впоследствии мне об этом).

В Москве Дункан замкнулась, о Есенине не говорила ни слова, внешне казалась абсолютно спокойной и отдалась кипучей деятельности: работе с детьми, школе и подготовке к двум своим спектаклям, которые мы объявили в филиале Большого театра.

И все же Айседора ждала Есенина, хотя не было надежды на то, что он появится. Она уходила гулять, подолгу стояла на углу Воздвиженки, против Троиц-

ких ворот, пандуса и Кутафьей башни и смотрела на золотые купола Кремля. Она полюбила Москву.

Наступил полный разрыв между Айседорой и Есениным. Он не приходил больше на Пречистенку...

Любовь Айседоры Дункан к Сергею Есенину внесла немало тяжелого, трагичного в ее жизнь. Они многое дали друг другу. Но вместе с тем и мучили один другого.

Когда Есенин погиб, Айседора была в Париже. Я телеграфировал ей. Она тяжело переживала смерть Есенина. Прислала большую телеграмму, в которой, помню, были такие слова: «Я так много плакала, что у меня нет больше слез...» Меньше чем через два года она погибла сама...

Н. В. ТОЛСТАЯ-КРАНДИЕВСКАЯ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Встречи

У нас гости в столовой,— сказал Толстой, заглянув в мою комнату,—Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, деловито осмотрел марку фарфора, затем перекрестился в угол на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем. Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный; льняные волосы, уложенные бабочкой на лбу; с первого взгляда — фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин. На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

— Что мышата на жердочке,— сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, *как* он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, третье. Он

читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, и все вокруг рассмеялись. В передней, по-мальчишески качая мою руку после рукопожатия, Есенин сказал:

— Я к вам опять приду. Ладно?

— Приходите,— откликнулась я.

Но больше он не пришел.

Это было весной 1917 года, в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуаре Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол. Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты... Вот встреча! Сидора, смотри, кто...

— Qui est ce?* — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами.

— Сидора! — тормошил ее Есенин.— Сидора, что ты?

— Oh! — простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты.— Oh, oh! — И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее, большую, отяжелевшую от скорби. Есенин помогал мне. Лю-

---

* Кто это? *(франц.)*

бопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня и Есенина, накрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого,— фигура из трагедий Софокла; Есенин бежал за ней в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора,— кричал он,— подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик — Раймонд, был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears'а известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.

В этот год Горький жил в Берлине.

— Зовите меня на Есенина,— сказал он однажды,— интересует меня этот человек.

Было решено устроить завтрак в пансионе Фишера, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой с балконом на Курфюрстендам накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были Айседора, Есенин и Горький.

Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.

Первое — это, чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженных рядом, не налаживался.

Я видела, Есенин робеет, как мальчик. Горький присматривался к нему. Третье беспокойство внушал сам хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

— За русски рэволюсс! — шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан.— Écouter*, Горки! Я будет тансоват seulement** для русски рэволюсс. C'est beau***, русски рэволюсс!

Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал удачную премьеру. Это она зря.

Помолчав, он добавил:

— А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им.

Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспомнила вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела.

Они разговорились. Я глядела с волнением на них, стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один — продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой—шел, как слепой, на ощупь, спотыкаясь,— растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину своих шарфов, оставила два на груди, один на животе, красный — накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по

---

* Слушайте (*франц.*).
** Только (*франц.*).
*** Это прекрасно (*франц.*).

комнате, отяжелевшая, хмельная Менада! Зрители жались к стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?

Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-Парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.

Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города. Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sontagskleid*, свои новые, редко бывавшие в употреблении зонтики и перчатки, солидные трости, сигары, сумки, мучительную щегольскую обувь, воскресные котелки. Железные ставни были спущены на витрины магазинов, и от этого город казался просторнее и чище.

За столиком в ресторане Луна-Парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак. Вокруг немецкие бюргеры пили свое законное воскресное пиво. Труба ресторанного джаза пронзительно-печально пела в вечернем небе. На деревянных скалах грохотали вагонетки, свергая визжащих людей в проверенные бездны. Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем. Рядом грохотало знаменитое «железное море», вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах. Несомненно, бредовая фантазия какого-то мрачного мизантропа изобрела этот железный аттракцион, гордость Берлина. В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках. Странный садизм

* Воскресное платье *(немецк.)*.

лежал в основе большинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Его узнали в толпе, и любопытные ходили за ним, как за новым аттракционом. Он простился с нами и уехал домой.

Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, философствуя на грани скандала. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким.

— А ну их, умников! — отводил он душу, чокаясь с Кусиковым.— Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Она, брат, умных не любит. «Изучайте Евро-опу!» — передразнивал он кого-то.— Чего ее изучать, потаскуху? Пей, Сашка!

Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность какая-то, не то отчаяние. Было жаль его и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер.

Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Adlon» на Unter den Linden. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз *тем* количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным требовало денег, тем более, что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственный способ передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание... Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно, умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у

другого ее соотечественника, блестящего aurebour'-иста * — Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: большинство общественных бедствий происходит оттого, *что люди не умеют двигаться.* Они делают много лишних и неверных движений. Неверный жест влечет за собой неверное действие.

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивала собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет 45. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе,— сказал он весело,— Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы, смотрите, не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Один Есенин, в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в тесноте буфетов, на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют,

* Aurebour — наоборот (*франц.*).

вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром. Айседора носилась по комнате в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стен, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды горшков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez cette bordêle immediatement,— сказала она ему спокойно,— et suivez moi*.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был *страшен*.

Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов.

---

* Покиньте немедленно этот публичный дом... и следуйте за мной *(франц.)*.

Максим ГОРЬКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который каким-то случаем попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда, наконец, почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в 1914 году[1], где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати — семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах,

подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого[2]. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт,— сказал о нем Есенин тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню, было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того, тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...[3]

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе,—
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле [4].

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложилось в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали...[5]

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой.

Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
... Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть?..

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли! —

громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли!

И наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов,— сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье,— молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.—

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» *,

* Слова С. Н. Сергеева-Ценского.

любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум,— сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен,— растроганно говорила она.— Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали,— сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных,— сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль:

человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете — мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше,— Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

Д. К. БОГОМИЛЬСКИЙ

ЕСЕНИН И ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ «КРУГ»

В одно из воскресений августа 1923 года мой сосед по квартире Иосиф Вениаминович Аксельрод со своим товарищем Александром Михайловичем Сахаровым познакомили меня с Есениным, пришедшим к Аксельроду.

Я жил тогда на Рождественском бульваре в доме № 17, кв. 10.

В этот день Есенин прочитал ряд своих стихотворений, из которых мне особенно запомнилось: «Все живое особой метой...»

Чтение Есенина потрясло меня. Впоследствии я убедился, что никто, даже такой замечательный артист, как Качалов, не читал стихов Есенина так совершенно, как читал их сам поэт.

В декабре 1923 года Есенин заболел и слег в больницу на Полянке. Я навестил его там вместе с Клавдией Сергеевной Колчиной, работавшей тогда в 1-й Образцовой типографии Госиздата, где работал в то время и я. Мне казалось, что Есенину будет приятно встретиться с людьми из той типографии, где когда-то он сам, будучи еще юношей, работал корректором-подчитчиком... (1-я Образцовая типография — это бывшая типография Сытина.)

Есенин прочитал нам написанное им в больнице стихотворение:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера? [1]

В начале 1924 года Есенин снова появился в нашем доме, бодрый и жизнерадостный. По его со-

стоянию можно было заметить, что поэт над чем-то упорно трудится. Очень скоро стало известно, что Есенин работает над задуманной и лишь частично набросанной им еще до отъезда за границу поэмой «Страна негодяев».

Намерение поэта прочитать поэму было встречено с восторгом, и в один из субботних вечеров собрались у меня на квартире слушать поэта Александр Константинович Воронский, Борис Андреевич Пильняк, украинский писатель Калистрат Анищенко, издательские работники Михаил Ильич Кричевский, Сергей Павлович Цитович, Аксельрод, Сахаров, я и моя семья.

Более сорока лет прошло с тех пор, как Есенин читал у меня свою драматическую поэму «Страна негодяев». И теперь, когда пишу эти строки, мне кажется, что вижу поэта за столом, улыбающегося, наклонившего голову к рукописи и читающего:

Чем больше гляжу я на снежную ширь,
Тем думаю все упорнее.
Черт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.
С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.
Только работай! Только трудись!
И в республике будет,
Что кому надо.

В дни всенародного траура в связи со смертью Ленина я не видел Есенина и очень сожалел об этом, так как на 27 января 1924 года — день похорон Ленина, я получил пропуск на Красную площадь на два лица и мне хотелось, чтобы Есенин пошел со мной.

Пропуск этот при ближайшей встрече я показал Есенину, выразив ему свое огорчение. Тогда же я рассказал ему, когда и при каких обстоятельствах я впервые увидел живого Ленина: это было в начале декабря 1911 года в Париже, на кладбище Пер-Лашез, у Стены коммунаров, во время похорон Поля и Лауры Лафарг — зятя и дочери Карла

Маркса, когда Владимир Ильич произнес речь на французском языке от имени РСДРП. Есенин очень заинтересовался моим рассказом.

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле» — «Ленин» Есенин читал у меня по рукописи до его напечатания. Воронский, среди других слушавший чтение, похвально отозвался об этом отрывке, особенно ему понравилась заключительная часть, и он все повторял:

Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.

Так именно первоначально заканчивался отрывок из поэмы и в таком виде был впервые опубликован в альманахе «Круг», № 3.

7 июня 1924 года я был приглашен на торжественное заседание, посвященное пятилетию Госиздата, состоявшееся в Большом зале Московской консерватории.

Хорошо помню выступление Есенина в концертном отделении этого вечера и прочитанное поэтом стихотворение «Возвращение на родину»:

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Из моих дальнейших встреч с Есениным в течение летних месяцев 1924 года у меня особенно хорошо сохранились в памяти встречи и беседы в издательстве Артели писателей «Круг». Я всячески стремился доказать Есенину неразумность и нецелесообразность изданий его стихов «тощенькими» книжками в разных издательствах, рекомендуя ему отобрать все, что он считает достойным из своих стихов, примерно семь-восемь тысяч стихотворных строк, и передать их в издательство «Круг», которое позаботится о лучшем оформлении объемистого тома собрания его сочинений. Я говорил еще, что с этим планом согласен Воронский, как литературный и политический редактор издательства «Круг».

Правда, ввиду финансовых затруднений, испытываемых тогда издательством, необходимы были кредиты на печать и бумагу. Я сказал Есенину, что если он согласится на рассрочку платежа гонорара до начала реализации тиража книги, то издательство в состоянии будет осуществить намеченный план издания «Собрания сочинений Сергея Есенина».

Прямого ответа на предложение издательства «Круг» Есенин тогда не дал. Однако уже после смерти поэта Николай Петрович Савкин (бывший редактор журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном») показал адресованное мне письмо Есенина, в котором поэт с большой теплотой и благодарностью принимал сделанное ему издательством «Круг» предложение. Несмотря на то что письмо было обращено ко мне лично, Савкин почему-то не передал его по назначению.

Теперь, в свете новых публикаций, отношение Есенина к сделанному мною предложению издательства Артели писателей «Круг» рисуется совершенно ясно. Вот что писал Есенин Г. А. Бениславской: «Чтоб не было глупостей, передайте Собрание Богомильскому. Это мое решение. Я вижу, Вы ничего не сделаете, а Ионову на зуб я не хочу попадать. С Богомильским лучше. Пусть я буду получать не сразу, но Вы с ним сговоритесь. Сдавайте немедленно»[2].

Дело, однако, в корне изменилось после возвращения Есенина с Кавказа в июне 1925 года, когда Госиздатом было предпринято трехтомное собрание его сочинений, ставшее после смерти поэта четырехтомным.

В память наших бесед о «солидном» издании собрания его сочинений Есенин подарил мне свой сборник стихов издания «Круг» со следующей надписью: «*Другу, советчику и наставителю Феде Богомильскому с любовью С. Есенин*». (Федя — это мой псевдоним в царском подполье.)

Тогда же Есенин подарил мне еще один свой сборник — «Москва кабацкая»: «*Федя! Я тебя, милый друг, помнить буду. С. Есенин*»[3].

Из других встреч с Есениным этого же периода мне вспоминается встреча в ресторане «Крыша»

(Б. Гнездниковский пер., 10), где также присутствовал Маяковский. Инициатором этой встречи был Н. Н. Накоряков, который жил тогда в этом же доме.

Летом 1925 года (примерно в июне месяце), придя в издательство «Круг», где в то время занимал должность заведующего (по совместительству), я по обыкновению зашел к Воронскому в редакцию журнала «Красная новь», которая находилась тогда в том же помещении, что и «Круг», в Кривоколенном переулке, 14.

Побеседовав со мною о делах издательства, Воронский сообщил мне, что в письме, полученном им из Сорренто, Алексей Максимович Горький очень интересуется судьбой Есенина и просит выслать ему новые стихи поэта.

Об этом разговоре с Воронским я сообщил Есенину при встрече с ним, рекомендуя ему отправить Горькому все, что он найдет у себя из своих стихов. Видимо, Есенин тогда и написал свое известное письмо к Горькому.

После беседы с Воронским я отправил Алексею Максимовичу в Сорренто очередную партию книг, выпущенных издательством «Круг» за последние месяцы, среди которых была и книга Есенина «Стихи (1920—1924)».

В сопроводительном письме я информировал Алексея Максимовича о некоторых обстоятельствах, связанных с деятельностью издательства Артели писателей «Круг», членом которой состоял и А. М. Горький.

В ответном письме от 9 августа 1925 года А. М. Горький писал: «И — уж будьте любезны, пришлите еще стихи Есенина». И далее: «...разрешите искренне похвалить Вас: хорошо издаете, и книги хорошие»[4].

Просьба Алексея Максимовича прислать еще стихи Есенина объясняется, возможно, тем, что он хотел иметь еще один экземпляр книги поэта издательства «Круг», а может быть, имелись в виду другие издания стихов Есенина.

В Москве не было ни одной редакции журнала, которая бы с нетерпением не ожидала новых стихов

Есенина, чтобы предоставить им свои страницы. Особенное нетерпение и ревность проявлял Воронский — тогда редактор двух журналов: «Красной нови» и «Прожектора».

Мне представляется уместным сказать здесь несколько слов о той фальшивой версии, имевшей одно время распространение в некоторых литературных кругах, что будто бы Воронский недоброжелательно относился к Есенину. Это абсолютный вздор. Воронский искренне любил Есенина и высоко ценил его дарование. Именно ему, Воронскому, принадлежит мысль о том, что Есенин, отходя от имажинизма, все более и более приближается к Пушкину.

Не помню, зафиксирована ли эта мысль в какой-либо из статей Воронского, но мне лично в разных вариантах не раз приходилось слышать это его высказывание.

А. Л. МИКЛАШЕВСКАЯ

ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

Сложное это было время, бурное, противоречивое... Во всех концах Москвы — в клубах, в кафе, в театрах — выступали поэты, писатели, художники, режиссеры самых разнообразных направлений. Устраивались бесчисленные диспуты. Было в них много и надуманного и нездорового.

Сложная была жизнь и у Сергея Есенина — и творческая и личная. Все навязанное, наносное столкнулось с его настоящей сущностью, с настоящим восприятием всего нового. И тоже и бурлило и кипело.

Познакомила меня с Есениным актриса Московского Камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена известного в то время имажиниста Анатолия Мариенгофа. Мы встретили поэта на улице Горького (тогда Тверской). Он шел быстро, бледный, сосредоточенный... Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в Кремль». У него были красивые волосы — пышные, золотые... На меня он почти не взглянул.

Это было в конце лета 1923 года, вскоре после его возвращения из поездки за границу с Дункан.

С Никритиной мы работали в Московском Камерном театре. Нас еще больше объединило то, что мы обе не поехали с театром за границу: она — потому, что Таиров не согласился взять визу и на Мариенгофа, я — из-за сына.

С Никритиной мы были дружны и связаны новой работой. У них-то по-настоящему я и встретилась с Есениным. Он жил в этой же квартире.

В один из вечеров Есенин повез меня в мастер-

скую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли.

Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья...

— Я с вами, как гимназист...— тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался.

Часто встречались в кафе поэтов «Стойло Пегаса» на Тверской, сидели вдвоем, тихо разговаривали. Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми.

Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость.

Все непонятнее казалась мне дружба Сергея Есенина с Анатолием Мариенгофом. Такие они были разные.

— Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх (жена Есенина). Уводил меня из дому, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: «Ты еще ватные наушники надень». Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного...— жаловался Сергей.

Очень не нравились мне и многие другие «друзья», окружавшие его. Они постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина» вызывала у них иронические замечания: «Еще понюшку туда — и совсем Пушкин!» Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И «друзья» наперебой старались усилить эту боль.

«Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы.

Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги.

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Мариенгоф, Никритина, Есенин и я. Он был какой-то притихший, задумчивый...

— Я буду писать вам стихи.

Мариенгоф смеялся:

— Такие же, как Дункан?

— Нет, ей я буду писать нежные...

Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в «Красной ниве»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить [1].

Есенин позвонил мне и с журналом ждал меня в кафе.

Я опоздала на час, задержалась на работе. Когда я пришла, он впервые при мне был нетрезв. И впервые при мне был скандал.

Есенин торжественно подал мне журнал. Мы сели. За соседним столом что-то громко сказали по поводу нас. Поэт вскочил. Человек в кожаной куртке схватился за наган. К удовольствию окружающих, начался скандал...

Казалось, с каждым выкриком Есенин все больше пьянел. Вдруг появилась сестра его Катя. Мы обе взяли его за руки. Он посмотрел нам в глаза и улыбнулся. Мы увезли его и уложили в постель. Я была очень расстроена. Да что там! Есенин спал, а я сидела над ним и плакала. Мариенгоф «утешал» меня:

— Эх вы, гимназистка! Вообразили, что сможете его переделать! Это ему не нужно!

Я понимала, что переделывать его не нужно! Просто надо помочь ему быть самим собой. Я не могла этого сделать. Слишком много времени приходилось тратить, чтобы заработать на жизнь моего семейства.

О моих затруднениях Есенин ничего не знал. Я зарабатывала концертами.

Мы продолжали встречаться, но уже не каждый день. Начались репетиции в театре «Острые углы».

Чаще всего встречались в кафе, каждое новое стихотворение он тихо читал мне.

В стихотворении «Ты такая ж простая, как все...» больше всего самому Есенину нравились строчки:

Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?..

Он радостно повторял их.

Как-то сидели Есенин, я и С. Клычков. Есенин читал только что напечатанные стихи:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу [2].

С. Клычков похвалил, но сказал, что они заимствованы у какого-то древнего поэта. Есенин удивился: «Разве был такой?» А минут через десять стал читать стихи этого поэта и хитро улыбался. Он знал этого поэта наизусть. Есенин очень хорошо знал литературу, поэзию. С большой любовью говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к нему в те годы. Он был очень образованным человеком, и мне было непонятно, когда и как он стал таким, несмотря на свою сумбурную жизнь.

Третьего октября 1923 года, в день рождения Есенина, я зашла к Никритиной. Мы все должны были идти в кафе. Но еще накануне Есенин пропал, и его везде искали. В. Шершеневич случайно увидел его на извозчике и привез домой. Сестра Катя увела его, не показывая нам.

Он объяснял свое исчезновение тем, что «мама мучалась еще накануне с вечера».

Читая «Роман без вранья» Мариенгофа, я подумала, что каждый случай в жизни, каждый поступок, каждую мысль можно преподнести в искаженном виде.

И вспомнилось мне, как в день своего рождения, вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи, Есенин вышел к нам в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел — и сконфузился. И было в нем столько милого, детского. И ничего кичливого, заносчивого.

Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: «Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим».

За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина чокаться со мной: «Пить вместо Есенина буду я!»

Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину.

Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино.

В театре «Острые углы» я играла в инсценированном рассказе О'Генри «Кабачок и роза». Я сыграла женщину, абсолютно не похожую на меня в жизни. За кулисы Есенин прислал корзину цветов и маленькую записочку: «Приветствую и желаю успеха. С. Есенин. 27.X.23 г.».

Очень не понравился мне самый маститый его друг — Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них, как непонятна и дружба с Мариенгофом. Такие они оба были не настоящие.

И оба они почему-то покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо глубже, умнее их. Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан.

Есенин познакомил меня с Михаилом Кольцовым, Литовским и его женой, с Борисовым. Встречи с ними всегда были интересными и носили другой характер, чем встречи с его «друзьями».

В один из свободных вечеров большой компанией сидели в кафе Гутман, Кошевский и актеры, работавшие со мной. Есенин был трезвый, веселый.

Разыскивая меня, пришел отец моего сына. Все его знали и усадили за наш стол. Через секунду Есенин встал и вышел.

Вскоре он вернулся с огромным букетом цветов. Молча положил мне на колени, приподнял шляпу и ушел.

Через несколько дней опять сидели в кафе. Ждали Есенина, но его все не было.

Неожиданно он появился, бледный, глаза тусклые... Долго всех оглядывал. В кафе стало тихо. Все ждали, что будет.

Он чуть улыбнулся, сказал: «А скандалить пойдем к Маяковскому». И ушел.

Я знала, что Есенина все больше и больше тянет к Маяковскому, но что-то еще мешает им сблизиться.

С Маяковским я встречалась раза три, почти мельком. Но у меня осталось чувство, что он умеет внимательно и доброжелательно следить за человеком. В жизни он был другой, чем на эстраде.

Я жила в комнате вдвоем с сыном. Как-то вечером сидела у себя на кровати и что-то шила. В дверь постучали, и вошел Маяковский (он был в гостях у соседей). Попросил разрешения поговорить по телефону.

— Вы — Миклашевская?

— Я.

— Встаньте, я хочу посмотреть на вас.

Он сказал это так просто, серьезно, что я спокойно встала.

— Да...— сказал он.

Поговорил немного о театре и так, не дотронувшись до телефона, ушел. И хотя он ни словом не обмолвился о Есенине, я понимала, что интересовала его только потому, что мое имя было как-то связано с именем Есенина.

Маяковский думал о нем. Его волновала судьба Есенина.

Второй раз, увидев меня в антракте на каком-то спектакле, подошел, поздоровался и сказал:

— Дома вы гораздо интересней. А так я бы мог пройти и не заметить вас.

Режиссер Н. М. Фореггер предложил мне за какой-то соблазнительный паек участвовать в его кон-

цертах в Доме печати на Никитском бульваре. Приготовил со мной акробатический танец. Когда я вышла на сцену в розовой пачке, я увидела Маяковского. Он стоял, облокотившись на эстраду. У него были грустные глаза. Я танцевала и чувствовала, что ему жалко меня. Кое-как закончив свой злосчастный танец, я сказала Фореггеру: «К черту твой паек! Больше выступать я не буду».

По совету Мариенгофа и Никритиной (я об этом не знала) Есенин хотел меня устроить в театр Мейерхольда. Очень возбужденный пришел к Всеволоду Эмильевичу и заявил: «Если не примешь Миклашевскую, буду бить». И хотя Мейерхольд всегда неплохо говорил обо мне как об актрисе, я не смогла пойти к нему разговаривать о работе. Я очень была огорчена тем, что оказалась вне театра.

Мы встречались с Есениным все реже и реже.

Увидев меня однажды на улице, он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

— Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?[3]

Как всегда, тихо прочитал все стихотворение и повторил:

Наша жизнь, что былой не была...

Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой Мариенгоф, Никритина, Соколов (в то время — актер Камерного театра). Позвонила Дункан. Звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут:

— Мы не одни, а ты не захочешь к нам приехать — у нас Миклашевская.

— Миклашевская? Очень хочу! Сейчас приеду!

Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон

с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах — золотые сандалии и кружевные чулки. На голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах — не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король.

Она смотрела на меня и говорила:

— Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!..— И вдруг сорвала с головы чалму. Произвела впечатление на Миклашевскую — теперь можно бросить!.. И чалма полетела в угол.

После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.

— Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш и вдруг — первый раз запел про любоф — вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: «Ты такая ж простая, как все...» Это вам!

Болтала она много, пересыпая французские фразы русскими словами, и наоборот. То как Есенин за границей убегал от нее. То как во время ее концертов (напевает Шопена), танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То как белогвардейские офицеры — официанты в ресторане — пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча».

Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая.

— Я не хочу уходить, мне некуда уходить... У меня никого нет... Я одна...

Есенин уехал в Баку. Я выезжала со спектаклями и концертами в разные подмосковные города. Сезон 1924/25 года работала в Московском театре сатиры.

Есенин прислал с поэтом Приблудным «Москву кабацкую» с автографом «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, выраженными здесь». В сборнике было напечатано семь стихотворений,

собранных в цикл «Любовь хулигана», с посвящением мне.

Приблудный надолго задержал книгу. Галя Бениславская заставила его принести ее и потом приходила проверить. Приблудный извинялся, что присланное мне письмо он передал Толстой. Так я и не получила письма.

Третьего октября 1924 года меня разбудили в восемь часов утра. Пришел Есенин. Мы уже встречались очень редко, но тревога за него была еще сильней. Он стоял бледный, похудевший.

— Сегодня день моего рождения. Вспомнил этот день прошлого года и пришел к вам... поздравить... Меня посылают в Италию. Поедемте со мной. Я поеду, если вы поедете.

Вид у него был измученный, больной. Голос — хриплый.

Мы шли по улице, и у нас был нелепый вид. У него на затылке цилиндр (очевидно, опять надел ради дня рождения), на одной руке — лайковая перчатка, и я — с непокрытой головой, в накинутом на халат пальто, в туфлях на босу ногу. Но он перехитрил меня. Довел до цветочного магазина, купил огромную корзину хризантем и отвез домой.

— Извините за шум.— И ушел неизвестно куда.

Уезжая в 1922 году за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате. Выдавать ей деньги — пай Есенина в кафе поэтов и в книжной лавке на Никитской. Мариенгоф не выполнил обещания. Когда Есенин узнал об этом, они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф с Никритиной были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам деньги, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги».

Подолгу пропадал и опять появлялся. Неожиданно, окруженный какими-то людьми, приходил за кулисы на репетиции. Смирно сидел. Чаще — все бросали репетировать и просили его читать стихи.

Опять приехал ко мне на Никитскую и повез меня куда-то, за кем-то мы заезжали и ехали дальше, куда-то на окраину Москвы. Сидели в комнате с

низким потолком, с небольшими окнами. Как сейчас вижу: стол посреди комнаты, самовар. Мы сидели вокруг стола. На окне сидела какая-то женщина, кажется, ее звали Анна. Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму — «Черный человек».

Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто «Черный человек» находился здесь, в комнате.

Я видела, как ему трудно, плохо́, как он одинок. Понимала, что виноваты и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему. Он тянулся, шел к нам. С ним было трудно, и мы отходили в сторону, оставляя его одного.

В последний раз я видела Есенина в ноябре 1925 года, перед тем как он лег в больницу.

Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки. Поставила ему градусник и читала вслух.

Вошел Есенин и, когда увидел меня возле моего сына, прошел тихонько и зашептал:

— Я не буду мешать...

Сел в кресло и долго молча сидел, потом встал, подошел к нам:

— Вот все, что мне нужно,— сказал шепотом и пошел.

В дверях остановился:

— Я ложусь в больницу, приходите ко мне.

Я ни разу не пришла. Думала, там будет Толстая...

О смерти Есенина мне позвонили по телефону.

Всю ночь мне казалось, что он тихо сидит у меня в кресле, как в последний раз сидел.

Помню, как из вагона выносили узкий желтый гроб, как мы шли за гробом.

И вдруг за своей спиной я услышала голос Клычкова:

— Ты видел его после больницы?

— Я встретил его на вокзале, когда он ехал в Питер. Ох, и здорово мы выпили!

Мне хотелось ударить его.

Когда я шла за закрытым гробом, казалось, одно желание было у меня — увидеть его волосы, погладить их. И когда потом я увидела вместо его краси-

вых, пышных, золотых волос прямые, гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы (смазали, снимая маску), мне стало его безгранично жалко.

Есенин был похож на измученного, больного ребенка. Все время, пока гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре, шли гражданские панихиды. Качалов читал стихи. Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала: «Ушло наше солнце». Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил: «Ты обещала, ты обещала...»

Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывая всех. В день похорон нашли момент, когда не было чужих, закрыли двери, чтобы мать могла проститься, как ей захочется.

После похорон начались концерты, посвященные Есенину. В Художественном театре пел Собинов, читал стихи Качалов.

Но потом пошла спекуляция на смерти Есенина. Очень уговаривали и меня выступать на этих концертах. Читать стихи, посвященные мне. Я, конечно, отказалась. Но устроители все-таки как-то поместили мою фамилию на афише.

В день концерта Галя Бениславская привела ко мне младшую сестру Есенина — Шуру, почти девочку. Ей тогда, наверно, не было и пятнадцати лет. Галя сказала, что Шура хочет идти на концерт послушать, как я буду читать.

— Я не хочу, чтобы Шура ходила на эти концерты. Вот я и привела ее к вам, чтобы вы почитали ей здесь.

— Галя, я не буду читать на концерте. Я не поеду.

Как просияла Галя, как вся засветилась!

...Вскоре после смерти Есенина я уехала работать в Брянский театр.

Корнелий ЗЕЛИНСКИЙ

В «КРАСНОЙ НОВИ» В 1923 ГОДУ

Есенин вошел в мою жизнь поздно. Во время войны. Нужно было написать статью о нем для Совинформбюро. Я стал перечитывать Есенина и уже не мог отделаться от обаяния его поэзии...

В молодости мне мешала понять Есенина принадлежность к совсем другому направлению в литературе. Сначала я увлекался Маяковским, Лефом, потом конструктивистами. А жизнь Есенина шла мимо, другой стороной. Я бывал на его вечерах... В памяти навсегда осталось то, как Есенин читал свои стихи. В молодости мне казалось, что все большие поэты должны обязательно хорошо читать стихи. Я помню, как читал Игорь Северянин. В нос. Нараспев. Горделиво закинув голову назад. Это было зрелище. Я помню, как читал Блок. Совсем по-другому. Спокойно. Тоже слегка нараспев и как-то отчужденно и очень хорошо. Во всяком случае, лучше Блока его стихов никто не читал. Пожалуй, один Яхонтов. Раскатистым басом читал стихи Маяковский. Громко. Очень хорошо интонируя их. И кого я позже ни слышал, никто так не передавал поэзию Маяковского, как сам Маяковский. В молодости замечательно читал свои стихи Сельвинский. Особенно свои цыганские или «Ехали казаки, да ехали казаки...» из его «Уляляевщины». Мороз по коже пробирал. Были и другие поэты, необыкновенно читавшие свои стихи. Например, Алексей Николаевич Чичерин. Но теперь, вспоминая их, я вижу, что никто не читал свои стихи так хорошо, как Сергей Есенин. Это была сама жизнь. Есенин, очевидно, знал об этом магическом даре, который вложила

в него природа. Помню, как однажды в кафе «Стойло Пегаса» назревал какой-то скандал. Стройный и элегантный Мариенгоф вышел из-за кассы.

— Сережа, ты должен выступить. Ты понимаешь, ты должен выступить.

Есенин рассеянно обвел глазами публику — и пожилых, и мальчишек,— потом встал на стул и начал:

Я последний поэт деревни...[1]

Он мгновенно протрезвел и читал с пронзительной ясностью. Есенин не читал стихи, но поистине изливался в стихах, превращаясь в какого-то другого человека, словно в саму поэзию...

Запомнилась мне встреча с ним. Произошла она в редакции журнала «Красная новь» осенью 1923 года. Редакция была в первом этаже в Кривоколенном переулке. В большой комнате, перед входом в кабинет редактора Александра Константиновича Воронского, народу было немного. Ждали прихода Воронского. Возле окна стоял, беседуя с Леоновым, Есенин. Есенин недавно вернулся из долгой поездки по загранице вместе с Айседорой Дункан. Невысокого роста, в темно-сером костюме. Одет тщательно. Но в манере держаться чувствовались небрежность и нервозность.

Не помню, кто нас тогда познакомил. Я вступал в литературу, «фигуры не имея». Служил в Постпредстве Украинской ССР в Москве на должности заведующего отделом секретной информации. Посещал литературные вечера, начинал выступать с литературно-критическими статьями. Вместе с Ильей Сельвинским и А. Н. Чичериным мы образовали литературную группу конструктивистов. Это был ее первый состав. Но и группа эта была тогда никому неведома. Для знаменитого Есенина я был просто «молодым человеком» возле литературы...

Мы, конструктивисты, тогда увлекались американской техникой. В голове зрели будущие статьи о перенесении американского опыта на нашу советскую почву.

— Скажите, Сергей Александрович, вот вы были в Америке. Как выглядят небоскребы? Как выглядят

улицы в Нью-Йорке? Правда ли, что там существуют специальные машины, которые асфальт моют щетками?

Есенин не посмотрел, а словно проткнул меня глазами и сказал подозрительно и чуть насмешливо:

— А почему это вас интересует?

Я сказал ему, что существует группа поэтов-конструктивистов. И самонадеянно начал объяснять значение техники для нашей страны, пытаясь связать логику технического строительства с законами поэзии.

Есенин слушал меня без всякого интереса, смотрел на дверь редактора и по сторонам, а потом, обернувшись, сказал:

— Про конструктивистов не слыхал. Вы, вероятно, с Лефами заодно. Но техникой, Зелинский, вы увлекаетесь совершенно зря.

— Почему же зря? — изумился я.

— Ну, конечно, асфальтовые шоссе лучше наших деревенских дорог. Но поэзию вы бросьте. К поэзии белые воротнички и подтяжки отношения не имеют.

Есенин словно спустился откуда-то ко мне и заговорил уже всерьез.

— Наша Россия — вот это страна поэзии. Это ничего, что мы еще пока бедны. Американцы носят брюки на подтяжках, а мы поясом штаны подтягиваем. Зато нам бежать легче. Понятно? Затянемся потуже и бегом. Догоним. Нам бежать легче. А в Америке их техника человека съела. У них главное не техника, а доллар. Вот кто враг поэзии. Это вы запомните...

Меня тогда удивили рассуждения Есенина. Я с ним не согласился. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что Есенин более трезво смотрел на вещи, чем я. И хотя мы по возрасту были ровесниками, но разговаривал он со мной, как старший, много переживший человек...

Ю. Н. ЛИБЕДИНСКИЙ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

С поэзией Сергея Есенина познакомился я задолго до первой встречи с поэтом. Альманах «Скифы» № 2, где напечатана была поэма Сергея Есенина «Товарищ», я купил в книжном киоске городского Совета в начале 1918 года. Она начиналась словами:

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.

И в ней, как и в «Двенадцати» Блока, появился примерно в такой же трактовке, что у Блока, Христос. У Есенина младенец Исус «пал, сраженный пулей», на питерских улицах в феврале 1917 года.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

Поэма эта мне понравилась и легко запомнилась. Но выражение «железное слово: «Рре-эс-пу-у-блика!» — так кончается поэма — больше чем понравилось: именно таким, могучим, железным, воспринимался тот новый, советский строй, который возникал в огне и грохоте Октябрьского пожара. И так же вошло впоследствии в душу, как лозунг и народная поговорка, звучавшее кратко и гордо:

Мать моя — родина,
Я — большевик [1].

С тех пор я уже сам отыскивал стихотворения Есенина, и почти все они нравились мне, хотя рели-

гиозные мотивы его творчества казались надуманными.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу [2].

Подобного рода строфы отзывались для меня риторикой и сочинительством. Странным казалось переплетение в одной стихотворной строфе кощунства и религиозности, душевной чистоты и грубопохабных, словно назло кому-то сказанных слов.

Но, конечно, сильнее всего в стихах Есенина покоряла воплощенная в них поэтическая прелесть русской природы. Даже самое имя его казалось мне названием не то времени года: Осенин, Весенин,— не то какого-то цветущего куста...

Когда в 1921 году я приехал в Москву, она полна была слухов о приключениях и выходках Сергея Есенина. Я тогда свел знакомство с некоторыми сослуживцами моего брата по ВЧК. Мне запомнились: рябоватый, с черными крутыми бровями рабочий из Ижевска — Иванов, интеллигентного вида, болезненный Семенов и Леля Сивицкая — девушка с глазами, полными синего огня. Они-то и рассказывали о Сергее Есенине, так как протоколы милиции, составленные по поводу всяческих его похождений, иногда попадали в ВЧК. В этих протоколах фигурировали четверостишия вроде того, которое было начертано Есениным на стенах Страстного монастыря. Разухабистая антицерковность этих стихов была по душе моим приятелям, они восхищались Есениным, он был для них свой, революционный поэт.

Я в то время был еще на военной службе, но уже втайне дописывал свою первую повесть, а по вечерам посещал Институт слова, где слушал лекции Грифцова, Эйхенвальда, Пешковского. Журналов тогда было немного, и я прочитывал их от корки до корки. В 1921—1922 годах чудесные есенинские стихи то и дело появлялись на страницах журналов, и особенно часто в «Красной нови», куда я отнес свою первую повесть. Стихи эти запоминались мгновенно:

песенный склад и образы их, пейзаж и самое слово — все это было свое, родное, неожиданное и при этом как бы предчувствуемое.

«Неделя» была уже напечатана, я уже считал себя причастным к литературе и стал интересоваться жизнью писателей. В частности, я расспрашивал о кафе поэтов «Стойло Пегаса», и одна моя новая московская знакомая, также делавшая первые шаги в литературе, предложила вместе с ней сходить в это знаменитое кафе.

Я тогда носил еще военную форму, весьма бросавшуюся в глаза: это была форма Высшей военной школы связи — серые обшлага и черно-желтые, по роду войск, петлицы. Такие петлицы, обозначавшие род войск, красноармейцы называли «разговор». «Шинель с разговором...» — говорили тогда. Мне казалось, что прийти в «Стойло Пегаса» в военной форме значило бросить на нее какую-то тень. Собеседница моя смеялась — по ее словам, в «Стойле Пегаса» бывали и военные.

Так, весело разговаривая, подошли мы к входу в кафе. Прямо навстречу нам вышли оттуда двое мужчин, одетых, как я тогда воспринял, по-буржуазному. Моя спутница познакомила нас. Мы назвались: передо мной были Пильняк и Есенин. Быстро оглядев меня и бросив взгляд на Пильняка, Есенин с каким-то веселым озорством сказал:

— Интересная игра получается...

Он имел в виду то, что Пильняк и я принадлежим к враждующим литературным направлениям.

Есенин был в черном, хорошо сшитом пальто, белесые кудри его мягко вились, выбиваясь из-под котелка, залихватски заломленного, его округлое и мягкое лицо привлекало шаловливым и добрым выражением.

Неужели этот простодушно веселый молодой человек мог написать стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...», прочитанное мной еще в начале 1922 года в журнале «Красная новь»? Пушкинская сила слышалась как в ритме этого стихотворения, так и в элегическом звучании его «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...» — так мог сказать только Есенин. Он уже и до этого писал

прекрасно, но в этом стихотворении поистине превзошел самого себя!

Есенин мне понравился. Но тогда происходило формирование группы «Октябрь» — ядра будущих МАПП и РАПП. Именуя себя пролетарскими писателями, мы кичливо отделяли себя от «мелкобуржуазных» — и в особенности от всяческой богемы, к которой не без основания причисляли и Есенина. После первого знакомства с Есениным я встреч с ним не искал, но они возникали сами собой у нашей общей упомянутой выше знакомой. Хозяйка любила литературу, с интересом и пониманием следила за ней, сама пробовала писать. В ее уютной и гостеприимной квартире встречались молодые писатели разных направлений. Бывал там и Сергей Есенин.

У него было много друзей-приятелей, его любили. В обращении он был прост и весел, в трезвом виде и при людях, которых он не знал или знал мало, подчас даже молчалив и застенчив. В нем была та притягательность, которую мы определяем словом «обаяние», с него не хотелось сводить глаз. Сохранившиеся портреты в общем передают прелесть его лица — его улыбку, то шаловливо-добродушную, то задумчивую, то озорную. Но ни один из его портретов не передает того особенного выражения душевной усталости, какой-то понурости, которое порой, словно тень, выступало на его лице. Только сейчас понимаю я, что выражение это было следствием того творческого напряжения, которое не покидало его всю жизнь.

«... Он пишет. Он не пишет. Он не может писать. Отстаньте. Что вы называете писать? Мазать чернилами по бумаге?.. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю». Эта дневниковая запись Александра Блока исчерпывающе применима к Есенину.

Взять хотя бы годы нашего знакомства — 1923, 1924, 1925 годы,— за это короткое время Есенин написал «Двадцать шесть» и «Песнь о великом походе», «Анну Снегину», «Ленин» и «Русь советскую».

Каждое из этих произведений хорошо по-своему, и каждое вошло в историю советской литературы, стало нашей классикой. Эти произведения следует

давать читать школьникам. А сколько замечательных стихов, небольших и блестяще отграненных, сверкающих, как драгоценные камни, создано за эти три года!

Правда, во многих из этих стихотворений — и чем ближе к концу Есенина, тем явственнее — слышим мы и болезненный надрыв, и ту особенную тоску, которую правильно называют смертной,— тоску, являющуюся симптомом подкрадывающейся душевной болезни. После трагической гибели поэта и до настоящего времени много писали о глубоких противоречиях в творчестве Сергея Есенина. При личном общении с поэтом наличие этих противоречий замечалось, что называется, невооруженным глазом. Ведь эти противоречия не были выдуманы поэтом, а являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они были источником движения и развития его поэзии, достигшей именно в последние годы его жизни необычайной яркости и изобилия. Но садоводам известны случаи, когда после обильного цветения и плодоношения фруктовое дерево высыхает на корню.

Такое время изобильного цветения и плодоношения пережил Есенин в последние годы своей жизни.

Но при этом вид у него был всегда такой, словно он бездельничает, и только по косвенным признакам могли мы судить о том, с какой серьезностью, если не сказать — с благоговением, относится он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду.

Так, однажды у него вырвалось:

— Зашел я раз к товарищу,— и он назвал имя одного литератора,— и застаю его за работой. Сам с утра не умывался, в комнате беспорядок...

И Сергей поморщился. Я вопросительно взглянул на него, и он, видимо отвечая на мой невысказанный вопрос, сказал:

— Нет, я так не могу. Я ведь пьяный никогда не пишу.

Жил Есенин в одном из переулков Тверской улицы, квартира его была высоко,— впрочем, в те годы проблема лифта для нас не существовала, и взбежать на девятый этаж ничего не стоило. Не очень часто, но я бывал у него дома. Жил он тесно —

кажется, к нему именно тогда приехали из деревни сестры,— в комнате были какие-то друзья его, шел громкий разговор.

У Есениных тогда было молодо и весело. Та же озорная сила, которая звучала в стихах Сергея, сказывалась в том, как плясала его беленькая сестра Катя. Кто не помнит, как в «Войне и мире» вышла плясать «По улице мостовой» Наташа Ростова! Но в том, как плясала Катя Есенина, в ее взметывающихся белых руках, в бледном мерцании ее лица, в глазах, мечущих искры, прорывалось что-то иное: и воля, и сила, и ярость...

Младшая сестра Шура, если я не ошибаюсь, появилась в квартире у Сергея несколько позже. В ней, хотя она была совсем девочка, сказывалось то разумно-рассудительное начало, которое подмечено у Есенина: «И вот сестра разводит, раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»...» — что-то совсем юное и уже очень новое, советское сказывается в этой девочке. Такими были в те годы комсомолки, приезжавшие из маленьких городков и деревень учиться в Москву.

Самого же Сергея запомнил я с гитарой в руках. Под быстрыми пальцами его возникает то один мотив, то другой, то разухабистая шансонетка. А то вдруг:

... О друг мой милый,
Мы различны оба,
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

Всей песни в памяти моей не сохранилось, но были там еще слова:

... Он лежит убитый
На кровавом поле...

— Это у нас в деревне пели, а слышишь, лексика совсем не деревенская, занесено из усадьбы, наверное. Это, думается мне, перевод из Байрона, но очень вольный и мало кому известный...— И, прищурив глаза, несколько нарочито, манерно, прекрасно передавая старинный колорит песни, он повторил:

... Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

И тут же, словно не желая вдаваться в разговор слишком серьезный, вдруг ударил по струнам и лихо запел какие-то веселые куплеты. Он напевал их и сам при этом весело хохотал, показывая красивые зубы.

Серьезные разговоры всегда возникали внезапно, как бы непроизвольно поднимались из глубины души.

— ...Вот есть еще глупость: говорят о народном творчестве, как о чем-то безликом. Народ создал, народ сотворил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поем, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен,— с какой-то грустью говорил он.

Сергей с охотой и в прекрасной манере читал стихи, написанные другими поэтами.

... Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина...[3] —

отчетливо выделяя слова этого стихотворения Гумилева, словно любуясь им, выговаривал он. Блока почитал он как учителя своего — и об этом говорил не раз. Множество стихов Блока он знал наизусть и произносил их в своей особой манере, отчетливо и поэтически.

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги,
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!..[4] —

произнес он, делая ударение на рифме.

— Неправильная рифма, верно? Ассонанс? А ведь такого рода неправильные рифмы коренятся в самой природе нашего языка — здесь и бойкость и лихость, а?

Но некоторые стихотворения Блока он разбирал критически, обращая особенное внимание на отдельные эпитеты.

— Блок — интеллигент, это сказывается на самом его восприятии,— говорил он с горячностью.— Даже самая краска его образа как бы разведена

мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками.

— Это и есть имажинизм? — спрашивал я.

— Ну, да,— говорил он недовольно.— То есть все это произошло совсем наоборот... Разве можно предположить, что я с детства стал имажинистом? Но меня всегда тянуло писать именно такими чистыми, свежими красками, тянуло еще тогда, когда я во всем этом ничего не понимал.

И он тут же прочел — я услышал тогда впервые это маленькое стихотворение:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет [5].

— Это я написал еще до того, как приехал в Москву. Никакого имажинизма тогда не было, да и Хлебникова я не знал. А сколько лет мне было? Четырнадцать? Пятнадцать? Нет, не я примкнул к имажинистам, а они наросли на моих стихах. Александр Блок — это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического...

Серьезные разговоры вспыхивали непроизвольно и неожиданно быстро, как молния, и запоминались на всю жизнь.

— Сережа, у тебя вот сказано:

Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с эфтой силой
В душу свою не лезь [6].

Ведь слово «эфтой» — это все-таки оборот не литературный, вульгаризм.

Он оставляет мою аргументацию без всякого внимания.

— А как иначе ты скажешь? С «этой» силой? — спрашивает он, смеется, и разговор прекращается, чтобы возобновиться спустя несколько дней.

— Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил? — напоминает он.— Ну, а тебе известны эти строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв...[7]

— Гумилев?

— Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: «И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими». Ну, что-то в этом роде: «обняв» или «обнявшие»? Но, «обнявшие колени» — ничего не видно, а «колени обняв» — сразу видишь позу...— И у него на лице такое же озорное выражение, с которым он подкрадывался к спящей девушке, чтобы ее поцеловать...

Через много лет после смерти поэта один литературный брюзга с целью доказать, что Есенин был не более чем безграмотный самоучка, привел известные строчки:

Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою[8].

— Падаю ногою? Разве можно так сказать? — негодовал он.— Ведь это у него от небрежности, от неграмотности!

И тогда мне вспомнился давний наш разговор о Гумилеве. Есенин жил в стихии языка, как ласточки живут в стихии воздуха, и то, что ученым воронам могло казаться нарушением правил языка, было виртуозное владение им. Чтобы так «нарушать» правила языка, надо в совершенстве им владеть.

Иногда на Сергея находила какая-то детская, прямо ребячья веселость и дурашливость. Как-то я ближе к вечеру зашел к нему.

— Вот и хорошо,— сказал он весело.— Пойдешь с нами вместе к Мейерхольду смотреть «Мандат». Ты видел?

«Мандата» я еще не видел. Сергей наряжался перед зеркалом, примеряя цилиндр, и, похохатывая, рассказывал мне вкратце о том, что, видимо, больше всего интересовало его в «Мандате».

— Деревенскую девку нарядили, понимаешь, царицей, посадили в сундук, наша обывательская белогвардейщина вся с ума сошла, все ей кланяются,— царская дочь Анастасия вернулась на царствование в Москву!...— весело говорил он.

Не знаю, прочел ли он «Мандат», или уже видел его, или ему рассказывали о спектакле. Сестры тоже собирались. Младшая, серьезная Шура, все пыталась урезонить брата, которому, видно, как-то особенно хорошо было в этот летний городской вечер.

Мы шли по людной Тверской. «Есенин! Есенин!» — кричали кругом. Хохот, веселые аплодисменты... Уже на Садовой-Триумфальной Сергей повернулся, сорвал с моей головы летнего образца красноармейский шлем и надел на меня свой цилиндр. В военной гимнастерке и цилиндре я выглядел забавно, в этом было что-то карнавальное...

Когда мы пришли в театр, первое действие уже шло, нас спешно рассаживали. Спектакль был тоже весь озорной и веселый. Вертелась граммофонная пластинка, церковные псалмы звучали из жерла старомодного граммофона, одурелая старуха крестилась на граммофон и била земные поклоны.

— С этим мандатом, маменька, я всю Россию переарестую! — кричал худенький подросток Гулячкин, которого играл Эраст Гарин, и публика смеялась, не чувствуя всего зловещего смысла гулячкинской угрозы...

В антракте Катя Есенина подошла к нам и сказала озабоченно:

— Сергей пропал куда-то!

Я уже сейчас не помню, почему нужно было искать Сергея,— как будто он раньше никогда не пропадал. Но Шура и Катя Есенины пошли искать его, я сопровождал их.

— Он наверняка у своего дружка, у художника Якулова,— сказала Катя.

Якулов жил где-то поблизости, чуть ли не на Триумфальной площади, рядом с театром. Высокого роста, черноусый и худощавый, в какой-то пестрой куртке, как будто только что сошедший с картины какого-то «левого» художника, он встретил нас, таинственно посмеиваясь.

— Если найдете, будет ваш...

Но искать негде. Большая комната, если мне не изменяет память, мастерская Якулова, пуста. Посредине лежит ковер, свернутый в огромную трубку,— так свертывают ковры, когда уезжают на дачу.

И вдруг ковер стал медленно развертываться. Все быстрей, быстрей, совсем развернулся, и вот Сергей, весь взъерошенный, вскочил и здесь же, на ковре, исполнил какую-то буффонную пляску; сестры висли на нем, визжа от удовольствия.

— А я знал, что вы сюда придете.

— Почему ты ушел из театра? Ведь интересно!

— На сцене интересно, а в публике скучно!

Так познакомился я с Георгием Богдановичем Якуловым, которому Сергей Есенин не случайно посвятил балладу о двадцати шести бакинских комиссарах: оба этих знаменитых художника были в то время вдохновлены подвигом бакинских большевиков...

Не думал я в тот веселый вечер, что мне вместе с Г. Б. Якуловым и Б. А. Пильняком придется встретиться уже после смерти Сергея Есенина, в составе комиссии по его литературному наследству.

Мне могут поставить в вину, что я мало пишу о несчастной болезни Есенина — о его запоях, не касаюсь его кабацких разгулов, хулиганской поэзии и т. д. Но об этом много и даже слишком много писали. В этом направлении постарались и враги Есенина, и не очень умные друзья его. Этой больной и мрачной стороной его души, темными отходами его поэзии порой старались заслонить то светлое и прекрасное, что он дал нашей литературе.

На моей памяти Есенин не раз собирал писательскую молодежь и отправлялся в притоны, в ночлежные дома, чтобы читать там стихи ворам и проституткам, обращаясь к ним, как к своим братьям и сестрам. Но ведь Сергей Есенин был добрый и жалостливый человек. И в такой, может быть, несколько странной форме он выражал свое сострадание униженному человеку. Есть в хулиганских стихах Есенина также и некоторое стремление эпатировать обывателя, поддержать традиционную репутацию

скандалезности, которая должна якобы окружать всякого поэта.

О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган [9].

Так обращается он к Пушкину.

Хотя при встрече с Есениным случалось и мне сдвигать с ним бокалы с вином, но никак нельзя было сказать, чтобы Сергей был человек, который проводил все свое время в беспробудном пьянстве. Я запомнил его тихим и трезвым, когда он бывал особенно застенчив и скуп на слова. Если собиралось много людей, он с большим удовольствием и интересом слушал и подчас слышал в споре то, чего не понимали сами спорящие.

Судьба русского народа — вот тема, к которой он на протяжении всего своего творчества постоянно возвращается. И вот перед нами глубоко народная по своим истокам «Песнь о великом походе», которую как будто слышишь на ярмарке или на площади, где «гармонист с провалившимся носом мне про Волгу поет, про Чека» и в перерыве между частями поэмы «просит поднести ему чарочку».

В советской литературе в то время не было еще поэмы, которая по силе народного чувства, по историческим обобщениям, по правдивости реалистической и новаторству стиля могла бы равняться этой поэме Есенина. Как бы для того, чтобы показать исторический масштаб Великой Октябрьской революции и гражданской войны, Есенин начинает и кончает эту поэму фигурой царя Петра. В ритмах и образах этой поэмы «Слово о полку Игореве» встречается с гармонно-частушечным перезвоном и с твердой поступью революционной песни. В последних словах ее советские корабли «плывут будто в Индию».

Не прошло и года после опубликования «Песни о великом походе», как Есенин создал поэму, совершенно иную по колориту, словно впитавшую в себя лучшие традиции русской классической литературы.

Это — «Анна Снегина», изумительная по живописи характеров и реалистическому изображению эпохи и в особенности тогдашней русской деревни,

ироническая и нежная, навеки обессмертившая русскую природу:

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.

Древесная цветень и сочь — какая полнота слияния слова и ощущения! Я как впервые прочел эти строчки, так и твержу их с тех пор всю жизнь.

Право, уже эти две поэмы могли бы составить славу великого поэта! Но ведь за это время Есенин еще съездил в Баку, откуда кроме превосходных «Персидских мотивов» привез незабываемую балладу о 26 комиссарах, в которой русский стих так великолепно расцвечен образами восточной поэзии и где прославлен навеки подвиг бакинских большевиков.

А ведь все это сделал один поэт — Сергей Есенин! И при этом он был до такой степени чужд всякого фанфаронства и жречества, что можно было подумать, будто творческий подвиг дается ему легко и просто.

Сам Есенин неоднократно подчеркивал свою приверженность к крестьянству. Еще в начале нашего знакомства он мне раз сказал с оттенком некоторого вызова:

— А знаете, я ведь крестьянин и продналог в деревню посылаю.

Был он в то время немного под хмельком и, как всегда в такие минуты, возбужден и задирист.

В юности Есенин отдал дань народничеству и анархическому бунтарству. Но он с радостью принял Октябрьскую революцию, как свою революцию, и его не покидало чувство благоговения перед Лениным и постоянное пристальное внимание и уважение к тому, что говорит партия.

Сергей Есенин был предан народу всей душой. Он был полон постоянных и глубоких раздумий о его нуждах и судьбах. В этих своих раздумьях, при всех своих противоречиях, он был честен до конца. При внешней непосредственности своего поведения он к своей литературной деятельности относился с величайшей серьезностью.

Он обдумывал свой каждый шаг в литературе, и несмотря на то, что печатался он в «Красной нови» и что А. К. Воронский едва ли не первый из советских критиков дал высокую оценку его дарования, Есенин, когда возник новый журнал—«Октябрь», орган пролетарских писателей, напечатал в одном из его первых номеров свою «Песнь о великом походе».

Он сделал это для того, чтобы показать, что не принадлежит к какому-либо одному направлению тогдашней литературы, что значение его творчества шире, и Маяковский верно понял значение этого сближения Есенина с пролетарскими поэтами. Маяковский «с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина от имажинизма в ВАПП» (см. статью Маяковского «Как делать стихи»).

Есенин знал, что принадлежит всей советской литературе. Его влияние на поэзию того времени было уже бесспорно.

Есенинские интонации прозвучали тогда и у поэтов-молодогвардейцев, входивших в РАПП, и у поэтов группы «Перевал», созданной Воронским. Были среди литературных последователей Есенина упадочники, подхватившие разухабистые мотивы «Москвы кабацкой». Но были и настоящие поэты, продолжавшие и развивавшие лучшие традиции богатого поэтического наследия Есенина. Есенин сделал для литературы так много, что Маяковский после его смерти сказал самое большее, что он мог сказать о поэте: он назвал Есенина подмастерьем у народа, у языкотворца.

Умер Ленин, и тяжело упала эта потеря на сыновнюю душу Сергея Есенина. Получив пропуск из «Правды», он несколько часов простоял в Колонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба, переживал он горе прощания. В эти дни, наверное, и зародились скорбные и полные животворной силы ямбы его «Ленина»:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин

Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.

Сын российской деревни, он относился к Ленину именно так, как мог относиться к нему русский крестьянин эпохи великой революции: Ленин спас русское крестьянство от помещичьего и царского гнета. Но у Есенина тема Ленина взята шире: Ленин спас русский народ от гнета капитализма и иностранного империалистического господства.

Произведение Есенина «Ленин» хотя и является всего лишь фрагментами ненаписанной поэмы «Гуляй-поле», это едва ли не самая высокая вершина всего творчества его. Позже придет Маяковский и, благодаря глубокому проникновению в произведения Ленина и в биографию его, вылепит монументальный образ великого учителя пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства, национальную гордость русского народа.

Есенин, изображая Ленина, на первый план поставил те его черты, о которых мы слышали от всех, кто близко знал Владимира Ильича:

Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Изображая Ленина, Есенин сознательно отказывается от всякого стремления к монументальности. Чтобы усугубить свою иронию по поводу банальных и ходульных изображений героя, он к слову «в масках» («Мы любим тех, что в черных масках») подбирает рифму: «на салазках». «Застенчивый, простой и милый» — таким видит он Ленина, и тем сильнее действие его неожиданных, проникнутых восхищением, слов:

Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

В Ленине Сергей Есенин подчеркнул скромность, доброту, доступность, любовь к детям. Но, показав

эти черты, поэт не принизил образа великого учителя. И хотя смерть Ленина — это величайшее всенародное горе, Есенин понимает:

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Сейчас, оглядываясь в прошлое, поражаешься, с какой точностью поэт передал настроение миллионов людей России в те дни, когда мы осиротели.

«Ленин жив! Ленин жив! Ленин будет жить!» — твердили тогда и стихи и плакаты. Такой ритм отбивало каждое сердце.

Но если настроение рабочего класса и революционной молодежи было видно явно, более скрыты и затаенны были те глубокие сдвиги, которые после смерти Ленина происходили среди интеллигенции, даже в тех слоях ее, которые находились далеко от партии. Многие большие ученые, выдающиеся деятели искусств в те дни впервые задумались о судьбах России, о том, что не случайно народ избрал ленинский путь, и о том, что иной путь для народа просто немыслим. А что происходило в те дни с советским крестьянством, об этом с чуткостью большого художника рассказал Есенин и в «Возвращении на родину», и в «Руси советской», и во многих других своих стихотворениях...

Летом 1924 года Есенин уехал в деревню. Вернувшись, он пришел к нашему общему знакомому. Там в то время как раз собралось много гостей, было весело и шумно.

Сергей мигнул мне, и мы вышли в соседнюю комнату...

— Знаешь, я сейчас из деревни,— понижая голос, зашептал он.— Вот раньше, когда, бывало,

я приезжал в деревню, то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком — так, больше из задора... А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики: то неладно, это не так... А отец мне вдруг отвечает: «Нет, сынок, эта власть нам очень подходящая, вполне даже подходящая...» Ты знаешь, чтобы из него такие слова вывернуть, большое дело надо было сделать. А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а? А я что-то не то орал... пустяки.

И все, что он мне тут же рассказал о деревенских делах, потом, словно процеженное, превратилось в его знаменитых стихах о деревне и в «Анне Снегиной» в чистое и ясное слово поэзии.

Едва ли не с начала моего знакомства с Есениным шли разговоры о том, что он женится на Софье Андреевне Толстой, внучке писателя Льва Толстого. Сергей и сам заговаривал об этом, но по своей манере придавал этому разговору шуточный характер, вслух прикидывая: каково же будет, если он женится на внучке Льва Толстого! Но что-то очень серьезное чувствовалось за этими как будто шуточными речами.

Да и какие тут могут быть шутки! В облике этой девушки, в округлости ее лица и проницательно-умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее серых глазах. Она, видно, чувствовала себя внучкой Софьи Андреевны Толстой. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя.

Мы собрались на мальчишник у той нашей приятельницы, которая и познакомила меня с Есениным. Я мало кого знал из друзей Есенина, и некоторые из них мне не нравились — это была та среда литературной богемы, к которой я относился без всякой симпатии. Может быть, сейчас я на многих посмотрел бы более снисходительно, но тогда во мне сильна еще была пуританская и сектантская нетерпимость

военного коммунизма. Сережа то веселился, то вдруг задумывался. Потом взял гитару...

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Как сейчас слышу я его немного глуховатый голос, простой и печальный напев, ту особенную русскую манеру пения, о которой Лев Толстой сказал, что поется с убеждением, что главное — это не песня, а слова.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени [10].

«А ведь ему совсем нелегко живется,— впервые подумал я тогда.— Болен он, что ли?..»

Сергей допел, все кинулись к нему, всем хотелось его целовать, благодарить за эту прекрасную песню, в которой необычайно переплелись и затаенная, глубокая тоска, и прощание со своей молодостью, и его заветы, обращенные к новой молодости, к бессмертной и вечно молодой любви...

«В молодости нравился, а теперь оставили»... Но его и сейчас любили. Что же это? Неужели кокетство?..

Он махнул рукой и вдруг ушел.

— Ну и оставьте его,— сказала хозяйка дома.

— Что же, все как полагается на мальчишнике,— сказал кто-то,— расставаться с юностью нелегко.

Заговорили на какие-то другие темы. Хозяйка дома незаметно вышла, потом показалась в дверях и поманила меня.

— Плачет,— сказала она, — тебя просил позвать.

Сергей сидел на краю кровати. Обхватив спинку с шишечками, он действительно плакал.

— Ну чего ты? — Я обнял его.

— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.

— Ну почему не выйдет?

Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного,— бывают признания, которые даже записать нельзя и которые при всей их правдивости покажутся грубыми.

— Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись,— сказал я...

После того как Софья Андреевна вышла замуж за Есенина, я как-то был приглашен к ним. Странно было увидеть Сергея в удобной квартире, где все словно создано для серьезного и тихого писательского труда. Там у нас произошел один из самых серьезных и страстных разговоров о пути крестьянства. По обыкновению, Сережа непосредственно в разговоре не участвовал, он слушал, как я спорил с одним из его друзей.

Друг его открыто выражал неверие в возможность социалистической переделки деревни, он приводил факты, свидетельствующие о возрастании веса кулачества в экономике деревни, предвещал дальнейший расцвет кулачества и видел в нем весьма осязательную угрозу пролетарской диктатуре.

Я, опираясь на одну из последних работ Ленина— «О кооперации» (1923 год) и на недавние постановления правительства и партии, говорил о возможности другого, кооперативного, социалистического пути развития. Слово «колхоз» еще не было произнесено, но оно носилось в воздухе. Речь шла о «переходе» «к новым порядкам путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина*» (курсив В. И. Ленина). Именно эта сторона процесса больше всего интересовала Есенина, он вставлял в наш диалог вопросы о том, что предстоит пережить крестьянству при переходе к социализму, насколько мучительно отзовется на крестьянине этот процесс перехода, какими душевными изменениями ознаменуется для крестьянина этот переход.

В начале разговора Сергей сидел на другом краю стола, рядом с женой, возле самовара, потом перешел на наш конец. Он взял низенькую скамеечку и сел так, чтобы были видны наши лица. Помимо логических доказательств ему нужно было еще что-то. Мне очень хотелось, чтобы он всегда жил так — тихо, сосредоточенно. Писателю его масштаба, его величины таланта следовало бы жить именно так. Но не помню, в этот ли раз или в другой, когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода,— он показал на большой портрет Льва Николаевича,— два — борода,— он показал на групповое фото, где снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем,— три — борода,— он показал на копию с известного портрета Репина.— Вот там, с велосипедом,— это четыре — борода, верхом — пять... А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого.— Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью.

Я ушел в предчувствии беды. Беда вскорости и стряслась.

...Когда мне пришлось нести на плечах гроб Есенина, я все вспоминал эту последнюю нашу встречу у него дома, наш горячий спор и милое, полное искреннего и самозабвенного волнения лицо его: ведь спор шел о самом для него дорогом — о судьбе Родины, о социализме, о пути родного ему крестьянства...

Москва с плачем и стенанием хоронила Есенина. В скорби о нем соединилась вся, тогда разделенная на группы и враждебные направления, советская литература. Вряд ли есть поэт-современник, не посвятивший памяти Есенина хотя бы несколько строк. Стихотворение Маяковского возвышается над всеми прочими стихами, посвященными памяти Есенина, как достойный памятник собрату...

Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы.

И. С. РАХИЛЛО

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Из записной книжки

Есенин стоял у прилавка, на фоне книжных полок, молодой, светлый, элегантный, и спорил с каким-то высоким лысым человеком в старинном сюртуке, как оказалось, профессором истории. Профессор держал в руках раскрытый томик «Слова о полку Игореве» и старался доказать, что «Слово о полку» — произведение не оригинальное, что история похода князя Игоря Святославича в старинных летописях — Лаврентьевской и Ипатьевской — изложена гораздо последовательнее и исторически точнее.

— Историки лучше и подробнее рассказали о всех событиях, связанных с походом князя Игоря, и его неудачной битве с половецкими ордами.

Профессор доказывал свое положение веско, стройно, по-ученому, то и дело заглядывая в раскрытый томик.

Есенин возражал:

— Автор «Слова о полку» — художник, он поэтически нарисовал военный поход князя Игоря и сумел гораздо правдивей показать и раскрыть глубокую сущность его неудачи, ибо художник, поэт действует и мыслит живыми образами...

Восторгаясь красочным языком «Слова», Есенин остановился у прилавка и, поглядывая снизу на своего длинного худощавого оппонента, торжественно прочитал:

— «Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещия персты на живая струны вскладаше: они же сами князем славу рокотаху».

И совсем без всякой последовательности восхищенно заметил:

— Князь вступает в «злат стремень». Злат стремень! Вот где точности и красоте языка учиться!..

Из Пятигорска приехал близкий друг и поклонник Есенина драматург Алексей Славянский. Вдвоем с Есениным они привлекают внимание всех встречных. Синяя черкеска с широкими завернутыми рукавами, кавказский пояс, кинжал и шашка в богатом серебре, на спине голубой башлык, лихо заломленная папаха, под густыми, сросшимися бровями желтые глаза уссурийского тигра — таков по внешности Славянский. И рядом с ним в модном костюме — Есенин, только что вернувшийся из-за границы.

Бывший чабан, выросший без родителей, Алеша Славянский был всего-навсего начальником клуба одной из кавалерийских дивизий, расквартированных на Тереке.

Его пьесы «Красный орленок», «Пять ночей» и «Сосны шумят» шли во многих театрах страны. И в каждый свой приезд в Москву, получив в охране авторских прав накопившийся гонорар, Славянский обязательно собирал друзей и устраивал шумный праздник.

Есенина Славянский боготворил. И поэт отвечал ему самыми чистыми дружескими чувствами.

Мы направлялись в кавказский духанчик, где у Славянского был знакомый повар грузин.

О своем пребывании за границей Есенин рассказывает глухо, нехотя...

Непривычный к суматошной артистической жизни и частым переездам из одного города в другой, Есенин устал от этого путешествия.

— Поверишь, минуты не мог уделить работе,— с горечью вздыхал он, хмуря лоб.— То гости мешают, то встречи и банкеты... да и язык...

Разве наш язык по богатству можно сравнить с любым иностранным? Там все «вундербар» или «о'кэй». «Как вам нравится наш русский лес?» — «О'кэй!» — «А наша русская зима?» — «О'кэй!» — «А наши девушки?» Все равно «о'кэй». В Берлине

один немецкий драматург, собиравшийся в Москву, попросил меня найти такое слово, чтоб оно могло годиться в разговоре на любой случай. Подыскал я такое слово — «чудесно». «Как вам русский лес?»— «Чудесно!» — «А девушки?» — «Чудесно!» Но он почему-то каждый раз забывал и отвечал: «Чедузно». Бывало, спросишь: «Как вам наша русская зима?» — «Чедузно». Решил он всерьез русским языком овладеть. Читает по самоучителю: «Я поехал в Украину». Поправляю его: «По-русски надо сказать — на Украину».— «Понял: не «в», а «на». Я поехал на Крым...» — «Не на Крым, а в Крым».— «Ага, понял. Я поехал в Кавказ...» — «В Кавказ не говорят. Правильно — на Кавказ».— «Ясно. Я поехал на Сибирь».— «На Сибирь — нельзя. В Сибирь». Рассвирепел он: «Доннер — веттер, когда — «на», когда — «в», какие же здесь правила?» — «А нет правил. Просто — на Кавказ и в Сибирь, на Украину и в Крым. Без всяких правил!» Нет, брат, ни одному иностранцу никогда не выучиться настоящему русскому языку! Это все запоминается с детства. У них — «о'кэй», «вундербар», а у нас на это двадцать слов с различными оттенками найдется: хорошо, прекрасно, обворожительно, великолепно, волшебно, восхитительно, сказочно, бесподобно, дивно...

— И чедузно! — добавил Славянский, поднимая бокал светлого цинандали.

По телефону узнаю от поэта Василия Наседкина, что в Доме Герцена Есенин будет читать новую поэму.

Не знаю почему, но встреча была организована не в зале, а в небольшой комнатке на втором этаже. За столом я увидел Есенина и Воронского. Справа, у стены, сидели, не раздеваясь, Зинаида Райх и Мейерхольд.

Народу было немного. Кроме Наседкина пришли поэты из «Перевала», студенты из Литературного института. У кафельной печки устроились на диване несколько подвыпивших молодых людей. Они, несомненно, ждали очередного литературного скандала.

В комнате было прохладно. Есенин выступал в шубе с меховым воротником. Шапку он снял и по-

ложил на стол. Неяркий свет лампочки, висевшей под потолком, невыгодно освещал его бледное, усталое лицо, резко подчеркивая собранные на лбу морщины и оттеняя пугающую синеву утомленных подглазий. Есенин выглядел в этот вечер больным и постаревшим. Не поднимая глаз, с опущенной головой, он начал читать свою последнюю поэму — «Анна Снегина»:

Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места...

Есенин читал поэму негромким голосом, как бы гордясь этой достигнутой им эпической формой стихосложения, не нуждающейся ни в каком внешнем украшательстве.

Рисовал ли он пейзаж, приводил ли разговор крестьян, вводил ли слушателей в мир переживаний своего лирического героя,— все было просто и сильно.

...Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
...Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Картинно рисовал Есенин суровые, грозные годы революции в деревне:

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон,—
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он...

Компания у кафельной печи поэму явно не одобряла.

Ощущая глухую атмосферу недоброжелательства, Есенин продолжал тем же негромким голосом читать поэму, сурово сомкнув над переносицей широкие брови, как бы объявляя этой строгой, необычно скромной манерой чтения непримиримый вызов ехидно ухмыляющимся представителям литературной богемы.

Никогда потом не приходилось слышать такого чтения, проникновенного и выразительного, полного необыкновенной простоты и непередаваемой задушевной напевности, с какой в тот вечер читал Есенин «Анну Снегину».

Т. Ю. ТАБИДЗЕ

ЕСЕНИН В ГРУЗИИ

В своем «Путешествии в сказочную страну» Кнут Гамсун пишет, что русские императоры возвели в обычай ссылать опальных поэтов на Кавказ, но Кавказ из места ссылки превращался для поэтов в источник вдохновения. Нетрудно догадаться, что здесь говорится о Пушкине и Лермонтове.

Еще больше связана с Грузией судьба третьего поэта той же романтической эпохи — Грибоедова, похороненного в Тифлисе.

Пушкин имел, несомненно, очень поверхностное представление о тогдашней Грузии, его «Путешествие в Арзрум» полно курьезов, но зато в чистой лирике он оставил неувядаемой прелести образцы: «На холмах Грузии», «Не пой, красавица, при мне...»

После Пушкина Грузия как бы по традиции вдохновляла многих русских поэтов. Во время войны потянуло в Грузию К. Бальмонта. Он еще до приезда в Грузию, в Океании на пароходе перевел пролог поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Впоследствии Бальмонт и Валерий Брюсов как будто разделили «сферы влияния» на Кавказ: Бальмонт — переводом Руставели, а Брюсов — превосходной книгой «Поэзия Армении»...

В книге «Видение древа» Бальмонт продолжает песню Пушкина о Грузии.

По стопам предшественников шел и Сергей Есенин. Пример Пушкина влек и его на Кавказ.

Из книг А. Мариенгофа о С. Есенине видно, что первое впечатление путешествия на Кавказ прошло для поэта не отмеченным особой силой. По поводу этой первой поездки Есенин пишет одной своей

знакомой в Харьков: «Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губернии я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествия для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то во всяком случае что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона» [1].

Затем в письме описывается трогательный случай, как жеребенок около станции Тихорецкой хотел догнать поезд. Из этого эпизода вылилась впоследствии лучшая поэма Есенина «Сорокоуст».

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?*

В этот период Есенин приезжал в Тифлис, но мы с ним не встречались, и если бы не воспоминания А. Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в Тифлисе мы так и не знали бы совершенно [3].

Но иным приехал в Грузию С. Есенин в сентябре 1924 года. Тогда он, безусловно, находился в зените своего творчества.

До этого Есенин уже успел побывать в Европе и Америке. Но что могла дать его мятущейся душе иссушенная поэзия Запада? Он сам рассказывал, что никогда раньше не чувствовал такой суеты и холода, как именно в тот период.

Внешний успех на Западе не излечил его внутреннего кризиса, и он вместо успокоения чувствовал какое-то ожесточение. Ему хотелось сразу наверстать пропущенное вдохновение, он чувствовал неиссякаемый творческий голод. Из уже достаточно

---

* В письме из Самары Есенин писал: За поездом у нас опять бежала лошадь (не жеребенок), но я теперь говорю: «Природа, ты подражаешь Есенину» [2].

собранных материалов для биографии поэта можно уследить, что грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за этот период он написал чуть не треть всех стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве. В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхаидзе свое «Возвращение на родину». И стихи и интонация голоса сразу же показали нам, что поэт — в творческом угаре, что в нем течет чистая кровь поэта.

В этот период Есенин сознательно стремился порвать со старым образом жизни. Видно было, что кабацкая богема ему до боли надоела, но он еще не находил сил вырваться из ее оков:

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой...

Поэт благодарит Кавказ: он научил его русский стих «кизиловым струиться соком»,— и дает как бы клятву:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой...

Ему не удалось сдержать своего слова, но зато некоторые строки из того же «На Кавказе» оказались пророческими:

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Кавказ, как когда-то для Пушкина, и для Есенина оказался новым источником вдохновения. В отдалении поэту пришлось многое передумать, в нем происходила сильная борьба за окончательное поэтическое самоутверждение. Он чувствовал наплыв новых тем, он хотел быть «настоящим, а не сводным сыном — в великих штатах СССР». Но для рождения новых тем нужно, чтобы старые темы и мотивы испепелились,— и вот именно в эту пору Есенин кончил свои крестьянские и деревенские напевы, он

с кровавой болью расставался со старым своим деревенским миром, чтобы перейти к большой «эпической теме». Здесь, в Тифлисе, на наших глазах писались эти мучительные стихотворные послания «К матери», «К сестре», «К деду» и их воображаемые ответы. Все эти стихи построены на контрастах: на юге в бесснежную тифлисскую зиму поэт почти с неприязнью вспоминает рязанскую зиму:

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга! [3]

Здесь нет возможности описать все встречи с поэтом: много в них интимного, многое лишено широкого общественного интереса, многого просто не уместить, но есть и многое важное для советской общественности — я имею в виду взаимоотношения русских и грузинских поэтов. У меня со стенографической точностью воспроизведены для подготовляемой о С. Есенине книги беседы на эту тему на банкете, устроенном в честь С. Есенина. Есенин вскоре ответил на эти беседы стихотворением «Поэтам Грузии».

В письмах ко мне из Москвы Есенин писал, что зима в Тифлисе останется навсегда лучшим воспоминанием. В следующую зиму он собирался опять засесть в Тифлисе и запасался охотничьим ружьем, чтобы ходить на кабанов и медведей. Этому не суждено было сбыться.

В Москве С. Есенин много рассказывал о тифлисской жизни. Об этом мы узнали от В. И. Качалова в его последний приезд в Тифлис (вместе с художественниками). Есенин не переставал думать о приезде в Тифлис и о встрече с друзьями. Грузинские поэты ответили ему взаимной любовью: Сандро Шаншиашвили и Валериан Гаприндашвили переводят его на грузинский язык; выходит в переводе Цецхладзе поэма «Анна Снегина». Сам Есенин не-

сколько раз собирался приняться за переводы грузинских поэтов, учитывая важность этого дела для обоюдного культурного сближения, но и этому не пришлось сбыться. Несомненно, для осуществления этого крупного культурного дела кроме желания русских и грузинских поэтов нужен более внушительный общественный почин.

Есенин был в Грузии в зените своей творческой деятельности, и нас печалит то, что он, безусловно, унес с собой еще не разгаданные напевы, в том числе и напевы, навеянные Грузией. Ведь он обещал Грузии — о ней в своей стране «твердить в свой час прощальный».

Н. А. ТАБИДЗЕ

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА

Чудесный, солнечный, сверкающий день в Тбилиси.

Я вышла в город. Вдруг в глаза мне бросается афиша — «Вечер Сергея Есенина». С афиши улыбается своей очаровательной улыбкой Есенин. В тот вечер, вечер его вдохновенного чтения стихов своих, я познакомилась с ним. Я не буду говорить ни о его грандиозном успехе, ни о его поэзии. Мне хочется рассказать о нем просто как о друге и о человеке.

Мы с ним часто встречались. Мой муж Тициан Табидзе и Есенин были очень дружны. Как-то раз, возвращаясь домой, я услышала знакомый голос, доносившийся из пивного подвала. Я быстро устремилась в погреб, где Сережа дрался с кем-то; он был подвыпившим, да и все присутствующие были пьяны. Я схватила его за руку и попросила пойти со мной. Он был ошеломлен моим появлением в таком месте и покорно за мной последовал.

Я привела его домой, постелила ему постель, уложила. Он радовался чистой постели, говоря, что давно в такой постели не лежал. Тициан, придя домой, очень обрадовался, что Сережа у нас.

Когда утром он вышел в столовую, моя дочурка, увидя его с волосами цвета спелой ржи, как бы обсыпанными золотой пылью, воскликнула: «Окрос пули!» (Золотая монета). Так в нашем доме за ним и осталось прозвище «Золотая монета». Видно было, что это ему очень нравилось, и, играя с моей девочкой, он заставлял повторять ее «Окрос пули». Андрей Белый в своей книге «Ветер с Кавказа» вспоминает,

что будто я назвала Есенина «Золотой монетой». Но это не я, а моя маленькая дочурка.

В одно утро я захожу к нему, он еще лежал в постели и смотрел в потолок, а на глазах застыли слезы. Я взволновалась, спросила, в чем дело, чем он так расстроен. Сережа ответил мне, что он видел во сне сестру, которая очень нуждалась в деньгах и плакала. Я начала его успокаивать и сказала, что этому легко помочь. «Пойдите в «Зарю Востока» к Вирапу (редактор газеты), и он даст Вам деньги за стихи». Он обрадовался, вскочил, оделся и убежал.

Надо сказать, что накануне вечером Сережа сказал моей матери: «Мама, Вы очень вкусно кормите, а вот красный борщ с гречневой кашей не умеете делать, а это самое любимое мое кушанье». Мама засмеялась и сказала, что не мудрено сготовить, завтра к обеду у нас будет борщ с кашей. Тициан воспользовался этим и объявил, что завтра приведет к обеду поэтов на любимый борщ Есенина.

К обеду почти все собрались, не было только Сережи и Паоло Яшвили. Я стояла у закусочного стола, около буфета. В это время открылась дверь, вбежал Есенин с громадным букетом белых и желтых хризантем, обсыпал ими меня и, страшно обрадованный, сказал: «Вирап дал мне деньги, я перевел сестре, и я счастлив!» Мы сели обедать. Входит Паоло и говорит: «Сережа, приехала Айседора Дункан, и она придет сюда». Есенин вскочил, выбежал в свою комнату, схватил вещи и убежал. Еле его догнали. Паоло клялся, что он пошутил.

Сережа любил по утрам, когда я ему заносила завтрак, чтоб я села около него, и тогда он много рассказывал о своей деревне, о матери, о сестрах и о каком-то богатом дяде, который гнал свои плоты.

На другое утро после его бегства, зайдя к нему, я спросила, почему он убежал, когда услышал про Айседору Дункан. Тогда он рассказал мне, что когда впервые он встретился с Дункан, она была потрясена его сходством с ее погибшим сыном. «Это и было первопричиной нашего сближения. Очень быстро она мне стала в тягость. Я видел в этом что-то противоестественное. Я очень скоро одумался, хотел в Париже бросить ее, но она всюду следовала за

мной. Как только она появляется где-либо, я сейчас же уезжаю, чтобы не встретиться с ней».

И правда, через несколько дней Сережа уехал, а Дункан приехала в Тбилиси, встретилась с нами, мы вместе обедали. Узнав, что его уже нет, она уехала в тот же день.

Когда вышла книга Есенина «Русь советская», он подарил ее мне, сделав на ней своей кровью надпись: «Люби меня и голубые роги». К сожалению, эту книгу украли у меня. Еще до того, как он поселился у нас, он пришел как-то часов в двенадцать ночи и принес Тициану стихотворение «Поэтам Грузии». Он сказал, что у него не было чернил и он писал их кровью.

Он ходил в идеально сшитом сером костюме, иногда с палкой с круглой головкой. Я очень любила наблюдать за ним, когда он меня не видел. Он шел по-детски важно. Но стоило ему увидеть меня или кого-либо из знакомых, как весь освещался необычайно обаятельной улыбкой, и от его золотой головы как бы шли солнечные лучи.

Он уехал в Баку. Я отдыхала в Боржоми. Тициан мне сообщил, что из Баку звонил Сережа — хочет приехать к нам. «На что я ему ответил,— говорил Тициан,— мы будем очень рады. Пожалуйста, приготовь ему комнату». Но, увы, Есенин на этот раз не приехал к нам, а уехал в Москву. Из Москвы он прислал нам письмо. Оно у нас сохранилось. Это было последнее письмо Есенина. Тициан ответил на это письмо и еще раз просил его приехать к нам. Когда он проходил мимо редакции «Зари Востока», ему крикнули: «Тициан, Сергей Есенин повесился!» Это был большой удар для всей нашей семьи.

Когда я после его смерти приехала в Москву, я положила на могилу Есенина желтые и белые хризантемы в память того дня, когда он ими осыпал меня.

Н. К. ВЕРЖБИЦКИЙ

ЕСЕНИН В ТИФЛИСЕ

Четырнадцатого сентября 1924 года в Тифлисе состоялась многочисленная демонстрация в честь празднования Международного юношеского дня.

Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые, мускулистые ребята в трусиках и майках.

Зрелище было внушительное. Физкультурники с красными знаменами печатали шаг по брусчатке мостовой. Сердце прыгало в груди при взгляде на них. Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав:

— Эх, Сережа, если бы и нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!

Есенин внимательно посмотрел мне в глаза.

По-видимому, это моя взволнованная фраза задержалась в его сознании. И спустя полтора месяца я прочел в стихотворении «Русь уходящая»:

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

— Вспоминаешь? — спросил у меня поэт, когда эти строки появились в «Заре Востока»...

Первый вечер Есенина состоялся в одном из рабочих клубов. Сперва он прочел:

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет [1].

Переполненный зал слушал внимательно. Стояла полная тишина, навеянная музыкой печальных слов.

Когда было прочитано три-четыре таких стихотворения, на сцену, словно сговорившись, поднялись молодые люди и стали критиковать эти стихи: одни — за «несозвучность эпохе», другие — за «богему», третьи — за «растлевающее влияние»...

Аудитория зашумела.

Тогда я, стоя возле кулис, шепнул:

— Прочти из «Гуляй-поля».

Есенин властно ступил к самому краю авансцены. Лоб его прорезала глубокая морщина, глаза потемнели.

Тихо бросив в зал: «Я вам еще прочту»,— он начал:

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту...

Слушавшие стали переглядываться и пожимать плечами: «О ком это он?.. При чем здесь перепелиная охота?»

А Есенин продолжал, постепенно повышая голос:

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».
. . . .
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

Теперь уже всем стало ясно, что речь идет о великом Ленине. Снова наступила полная тишина. В голосе поэта зазвучала скорбь.

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Есенин умолк, потупясь.

Словно холодным ветром пахнуло в намертво притихшем зале.

Несколько секунд стояла напряженная тишина.

А потом вдруг все сразу утонуло в грохоте рукоплесканий. Неистово били в ладоши и «возражатели». Да и нельзя было не рукоплескать, не кричать, приминая в горле ком подступающих рыданий, потому что и стихи, и сам поэт, и его проникновенный голос — все хватало за самое сердце и не позволяло оставаться равнодушным.

У каждого жили в памяти скорбные дни января 1924 года, когда вся страна навсегда прощалась с великим вождем...

Потом просили читать еще и еще...

Многие встали с мест и обступили сцену, не сводя глаз с Есенина. Задние ряды тоже поднялись и хлынули...

«Ну вот,— думал я, когда мы возвращались из клуба,— первая встреча поэта с Кавказом состоялась. Его приняли, поняли и, наверное, никогда не забудут...»

Есенин всю дорогу молчал.

Но когда мы поднимались по лестнице, он положил мне руку на плечо и охрипшим голосом произнес:

— Ты знаешь, ведь я теперь начал писать совсем по-другому...

Однажды я рассказал Есенину о гениальном китайском лирике VIII века Ли Бо (Ли Пу). Этот замечательный поэт был приглашен ко двору императора. Придворного поэта полюбила императрица. Ли Пу бежал от этой любви. Император в благодарность дал ему пятьдесят ослов, нагруженных золотом и драгоценными одеждами, которые надевались только в дни самых торжественных дворцовых празднеств.

Отъехав немного от столицы, поэт велел среди проезжей дороги накрыть стол с яствами и стал угощать проходящих и проезжавших крестьян, а угостив, на каждого надевал придворную одежду.

Когда золото было израсходовано, вино выпито, кушанья съедены, одежды розданы, Ли Пу пешком отправился дальше. Дошел до огромной реки Янцзы, поселился здесь и часто ночью на лодке выезжал на середину реки и любовался лунным отражением.

Однажды ему захотелось обнять это отражение, так оно было прекрасно. Он прыгнул в воду и утонул...

Есенина поразила эта легенда. Он просил еще подробностей о Ли Пу.

Я прочел ему отрывок из поэмы китайского лирика:

Грустная, сидела я у окна,
Наклонившись над шелковой подушкой,
Вышивая, уколола себе палец.

Капнула кровь,
И белая роза, которую я вышивала,
Сделалась красной...

Я думала о тебе —
Ты сейчас далеко, на войне,
Может быть, истекаешь кровью?..

Слезы брызнули из моих глаз...
Снова я, грустная, села к окну
И стала вышивать слезы на шелковой подушке.

Они были, как жемчуг,
Вокруг красной розы...

Спустя много месяцев, в течение которых никто из нас ни в письмах, ни в разговорах не вспоминал о Ли Пу, летом 1925 года я получил от Есенина из Москвы письмо с портретом Ли Пу (вырезка из какого-то английского журнала): охмелевший поэт бредет куда-то, сопровождаемый юношей и девушкой. Он добродушен, счастлив и спокоен.

На портрете была надпись:

Дорогому другу Коле Вержбицкому на память.

Жизнь такую,
Как Ли Пу, я
Не сменял бы
На другую
Никакую!

Сергей Есенин.

Но не только в этом проявилась у Есенина память о Ли Пу.

Есть у него стихотворение «Море голосов воробьиных». Там имеются такие строки:

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Первая и последняя фразы этой строфы непонятны, тем более что о воде в стихотворении не говорится ни слова. Но их смысл становится ясным, если связать его с легендой о Ли Пу. Видно, она глубоко запала в душу Есенина.

Это один из примеров того, как прочно овладевали поэтом некоторые образы, особенно образы неожиданные, поражающие воображение. Они для поэта до такой степени приобретали самостоятельное значение, что он, восприняв их органически и введя в свой поэтический обиход, даже не считал нужным расшифровывать.

Однажды в Тифлисе, осенью 1924 года, во время «восстания» меньшевиков, мы ехали ночью по шоссе. За городом нас остановил конный разъезд — три всадника на белых лошадях.

Спустя полтора месяца Есенин, даря одному товарищу свою книжечку, написал: «На память о белых лошадях».

В ту ночь у нас много было всяких происшествий, но Есенину ярче всего врезались в память три белые лошади, внезапно появившиеся из-за скалы при свете фаэтонных фонарей.

Есенин, мой друг журналист Шакро Бусурашвили и я шли берегом Куры. Вскоре мы остановились перед невзрачным домом. Изнутри доносилось пение. Шакро толкнул дверь, и мы вошли в полутемное помещение.

К правой стене был приперт двуногий стол. На тахте лежал старенький ковер с длинными подушками. В углу стояла табуретка, на ней — ведро с водой. Среди этой бедной обстановки казались неожиданными большой портрет Шота Руставели, размашистой кистью написанный прямо на стене, и два больших букета каких-то крупных белых цветов в глиняных кувшинах.

Посреди комнаты стоял среднего роста пожилой мужчина с седоватой бородкой. Его карие глаза смотрели спокойно, умно и благожелательно.

Это был Иетим Гурджи, народный певец и народный поэт Грузии — так нам представил его Шакро.

Иетим поклонился нам и снова запел. Он пел и указательным пальцем наигрывал на трехструнном инструменте с длинным и тонким грифом — чонгури.

Перед ним на тахте, прислонившись к стене, сидели трое юношей. Они не спускали глаз со старика и, прослушав часть песни, вместе с ним повторяли ее. Если они ошибались, учитель останавливал их ударом ноги о пол и сам еще раз повторял трудное место.

Юноши заучивали с голоса стихи и мелодии Иетима. Он говорил:

— Если что плохо сложилось в голове, всегда можно исправить. А напечатанное в книге — никогда.

Отсюда, из этой каморки, песни старого молексе разлетались во все стороны света, как пушинки одуванчика. Ветер жизни не выбирал для них ни места, ни направления — лови, кто хочет, бери и выращивай из этих крошечных семян пышные цветы любви, красоты и мудрости!

Голос у Иетима был слабый и немного дребезжал. Но в пении старика было так много сердечности и любви к каждому звуку, что нельзя было не заслушаться. Невольно хотелось вслед за ним повторять его песни, полные глубокого смысла и очарования.

Я записал одну из них. Вот она:

Посмотрите на этот мир —
Его не купишь за серебро.
Много было таких, которые погибли,
Думая завладеть им с помощью богатства,
А когда они умерли в одинокой роскоши,
Некому было даже закрыть глаза
Этим разжиревшим гордецам!

А я выбираю себе друзей
Не из тех, у кого много золота,
А из тех, кто всегда весел и бодр,
Кто верит, что счастье сбудется,
Счастье для всех!

Так поступает Иетим Гурджи,
Следуйте его примеру!

Кончив петь, старик пригласил нас сесть. Он сдержанно выразил удовольствие, узнав, что среди его гостей находится известный русский поэт. Достал из угла большой глиняный кувшин с вином, налил всем и сказал:

— Встреча двух поэтов — это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!.. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии — один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь!

И он еще раз чокнулся с Есениным.

Тот встал, долго молчал и, наконец, запел «Есть одна хорошая песня у соловушки...» [2]

Я еще не слышал и не читал этой песни. В ней было немного слов, но слова эти и мелодия произвели на меня потрясающее впечатление.

Хозяин стоял, опустив голову.

— Не надо печали! — вдруг воскликнул он и толкнул ногою дверь.— Посмотрите, как хорошо на свете!

И перед нашими глазами возникло чудесное зрелище.

Город лежал внизу. На него падали последние лучи заходящего солнца. Длинные тени от домов, скал и деревьев наполнялись синеватой мглой.

Через минуту солнце скрылось, и город погрузился во мрак. Дома и улицы на какое-то мгновение совершенно исчезли из глаз, как будто утонули в этом мраке, но потом в нем начали проступать желтые дрожащие огоньки.

А наверху замигали звезды. Их сразу появилось такое множество, что можно было подумать, будто это не звезды, а отражение огоньков, вспыхнувших внизу.

Есенин не отводил глаз от чудесной картины — Тифлис продолжал жить, бодрствовать, он все еще пел, звуча как один огромный и сложный инструмент.

На просторных балконах зашевелились тени, открылись окна навстречу вечерней прохладе.

Совсем близко из распахнувшейся двери вырвался наружу и понесся к звездному небу густой и согласный хор кейфующих людей.

Иетим Гурджи послушал, улыбнулся и сказал, обращаясь к Есенину:

— Всякая песня годится, лишь бы она шла от души!

И, помолчав, добавил:

— Царь Давид хвастался, что его песни больше всего нравятся богу. А бог посмотрел сверху, покачал головой и говорит: «Ишь ты, расхвастался!.. Каждая лягушка в болоте поет не хуже тебя! Посмотри, как она от всей души старается, хочет мне угодить!» И тогда царю Давиду стало стыдно.

Может быть, эта простодушная, но полная глубокого значения легенда вспомнилась потом Есенину, когда он писал:

Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.[3]

Есенин узнал, что по соседству с нами находится домик, где в 1910 году помещалась подпольная типография грузинских большевиков, и повел меня на круто поднимающуюся к Коджорскому шоссе Церковную улицу (ныне подъем Давиташвили).

Здесь, в доме № 8, и находилась подпольная большевистская типография, в которой был напечатан на грузинском и русском языках первый номер газеты «Тифлисский пролетарий».

Есенин с большим и, признаться, неожиданным для меня интересом беседовал с жителями этого маленького домика, просил показать ему комнату, в которой находилась типография, и был в восторге узнав, что в соседней квартире в те времена жил городовой со своей семьей.

— Вот это — настоящая конспирация! — воскликнул Сергей.

Есенин прекрасно читал свои стихи, никогда не сбивался, ничего не забывал.

Если в отдельных местах произведения он читал, что называется, с нажимом, то это был нажим, идущий от сердца, от переживания самого поэта, а не от законов декламации или от актерства.

Все знавшие и слыхавшие чтение Есенина тоже подтверждают, что память никогда ему не изменяла на стихи. Они словно жили в нем неотделимо, однажды родившись.

Если случайно заходил разговор об имажинизме, Сергей морщился.

— Я никогда,— говорил он,— не подписывался под тем, что «содержание — слепая кишка искусства»![4] Никогда!.. Мало ли что мне приписывают!..

В товарищеском кругу Есенин мог совершенно спокойно, без тени хвастовства сказать:

— Вот, я написал очень хорошее стихотворение.

И эти слова он произносил с такой же простотой, с какой мы говорим: «У меня сегодня хорошее настроение».

Называя себя в стихах «первоклассным поэтом», Есенин отнюдь не возводил себя на пьедестал, а просто, как ему казалось, констатировал никем не оспариваемое обстоятельство. Добавлю к этому, что Есенин очень редко сравнивал себя с кем-нибудь из других современных ему поэтов. А то, что его окружали «середнячки», считал совершенно естественным и неизбежным явлением.

Есенин любил всякие литературные поиски.

Он часто говорил:

— Народу свойственно употреблять в самом обыкновенном разговоре образы, потому что он и думает образно. Мы все говорим: «след простыл», «глаз не оторвать», «слезу прошибло», «намозолили глаза» и тому подобное. Даже одно такое слово, как «сплетня»,— сплошной образ: что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дома в дом... А возьмем пословицы и поговорки — ведь это же сплошная поэзия!

Вопросы формы всегда живо интересовали Есенина. Он постоянно обогащал свой словарь, часами перелистывал Даля, предпочитая первоначальное

его издание с гнездами слов; прислушивался к говору людей на улице, на рынке, сокрушался, что не знает грузинского и армянского языков.

Раз я застал его в подавленном состоянии. Он никак не мог простить себе плохой перенос в строках:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.[5]

— «Лебеда»,— говорил он,— должна была войти в первую строку, обязательно! Но я поленился...

Мне пришло в голову такое построение:

Лебеды не мять в кустах багряных,
Не бродить и не искать следа.

Есенин подумал, потом сказал:

— Тоже не годится, слишком большое значение придается «лебеде». Ведь главное во фразе — «бродить». Второстепенное — «бродя, мять лебеду». И потом уже объяснение — зачем я это делал? «Искал след»... В общем надо совсем переделать всю строфу!..

Владимир ШВЕЙЦЕР

ПЕСНЯ

1



Уже на пороге редакции я услышал знакомый, чуть хриплый голос:

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.

Я открыл дверь в комнату рабкоров и увидел Сергея Есенина. Он сидел на большом деревянном столе, на котором рабкоры газеты «Бакинский рабочий» обычно писали свои заметки.

Теперь они стояли вокруг стола и у стен и жадно слушали:

Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет [1].

Слова эти удивительно сливались с впечатлением, которое производил Есенин. Как изменился он с тех пор, что я видел его в Москве, когда читал он свои стихи в «Кафе поэтов» странной ночной толпе первых революционных дней!

Вечером мы отправились из редакции на берег Каспия и сели в парусную лодку со странным названием «Ай да Пушкин, ай да молодец!».

Лодку кренило от свежего ветра, шипела вода за бортом, скользила мимо апшеронская графика наливных шхун. Есенин читал стихи.

Он сидел за парусом, я не видел его лица, слышал только глухой хрипловатый голос.

Читал он очень много, без единой запинки. Над Каспием уже взошла луна. Есенин читал все взволнованней и глуше. Казалось, он уплывал от нас в свою

песню, как в море, и мы гнались за ним в лодке с именем Пушкина на борту...

Тогда уже рождались стихи персидского цикла, удивительного собрания лирических песен о Персии, написанных на Кавказе.

Незадолго до приезда в Баку Есенин бродил по батумскому бульвару с местной учительницей Шаганэ Нерсесовной, но видел не столько ее, сколько прекрасную персидскую девушку его песни:

Шаганэ ты моя, Шаганэ![2]

Батум благоухал розами, тропическими деревьями, сияющим морем, за которым лежал Босфор.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем[3].

Так создавался лирический есенинский Восток.

После лакированных пальм Батума, после говорливого, праздничного Тифлиса — коричневый Баку, прокуренный мазутным дымом.

Здесь, рядом с кипением большого современного города, Есенин застал еще старый Восток — стадо плоских крыш, сбегающее к синему заливу, голубую луну над узким переулком «крепости», уличного цирюльника, бреющего ножом бороду, окрашенную хной...

Зурна, и саз, и песня муэдзина, и тихий говор в чайхане — Есенин слушал все это и запоминал. Персия, страна его поэтического сна, казалась совсем рядом — за густым маслянистым Каспием.

2

Баку занимает особое место в жизни Есенина.

В Баку Есенин, едва ли не впервые, близко видит делателей и мечтателей социалистической нови. На Есенина бакинского периода несомненно оказала влияние личность Кирова.

...Когда Киров всходил на трибуну — невысокий, коренастый, в скромной куртке военного покроя,— он казался небольшим, почти незаметным, едва ли не ординарным...

Негромкий голос поначалу звучал сдержанно,

сухо. Потом голос Кирова крепчал, становился мускулистым, заполнял зал. Молнии гнева, пафоса, иронии, казалось, вспыхивали среди бури чувств и мыслей. Киров как бы вырастал, поднимался над трибуной...

Чувство шло рядом с логикой, цифре Киров предпочитал образ.

«...Азербайджан,— образно говорил он в 1920 году в освобожденном Баку,— повенчался с великой Советской страной — рабоче-крестьянской Россией». Невеста, продолжал Киров, «не особенно румяна, не особенно дебела, особенным приданым не обладает». Но союз этот является «единственно верным союзом»[4].

Образ, поэтическое сравнение, крылатое слово были не только в ораторской манере Кирова. Это был его жизненный стиль.

Доброе гостеприимство, оказанное Есенину в Баку в годы душевного кризиса поэта, не было случайностью. У Кирова был в этом ревностный помощник — редактор «Бакинского рабочего» Чагин.

Чагин часами мог читать наизусть Пушкина, Маяковского, Есенина.

Первый акт официального гостеприимства, оказанный Есенину в Баку, был одновременно трогательным и забавным. В случае обнаружения поэта вне дома в болезненном состоянии, лицам, коим сим ведать надлежит, предписывалось бережно доставлять его в общежитие, где он жил тогда у Чагина.

Предупредительная эта мера оказалась излишней, а слухи о болезни Есенина сильно преувеличенными.

Для литературных околоточных того времени Есенин был только «упадочным» поэтом с сомнительным имажинистским прошлым. Для «Бакинского рабочего» это был ценный постоянный сотрудник — стихи его печатались рядом с передовыми статьями и фельетонами, за год появилось почти сорок лирических песен и поэм!

3

20 сентября 1924 года Есенин стоял на площади Свободы, перед памятником двадцати шести бакинским комиссарам, и читал свою «Балладу о двадцати шести».

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.

Голос Есенина несся над толпой, собравшейся у памятника, над домами, с которых свешивались восточные ковры.

Негромкий, удивительно выразительный, этот голос как бы воздвигал другой, поэтический, памятник двадцати шести погибшим комиссарам.

«Балладу о двадцати шести» Есенин посвятил «С любовью — прекрасному художнику Г. Якулову».

Посвящение это не было случайным. Художник Георгий Якулов тоже создал поэму о двадцати шести — поэму в камне и металле, проект памятника бакинским комиссарам.

Мы часто вспоминали с Есениным московскую мастерскую Якулова близ Садово-Триумфальной, ныне площади Маяковского.

Большая комната с пристроенной внутри деревянной лестницей, ведущей на антресоли. Театральные афиши, картины, глиняные восточные божки.

Якулов в своем странном костюме жокея, блестя желтыми от бессонницы беспокойными глазами, показывая мне первые эскизы памятника двадцати шести, говорит своим каркающим голосом:

— Это должно быть огромно, как революция, как Восток!

И это действительно был Восток, но Восток, прошедший искушения Запада, всю изощренность его форм. Якулов задумал грандиозный дворец народных празднеств, своего рода революционную готику, с башней, уходящей ввысь, к облакам...

Проект Якулова не был осуществлен именно из-за грандиозности его, но встреча друзей — Есенина и Якулова, поэта и художника, на одной революционной теме сама по себе примечательна.

Талант, смелость новизны, неожиданность реше-

ний сопровождали не только путь Якулова в театре, но и его жизнь.

Мастерская на Садовой была как бы последним пристанищем старой художественной богемы Москвы.

Здесь в ту пору можно было увидеть «всю Москву» — от наркома просвещения до начинающего художника, от прославленного режиссера до футуристического поэта.

— Сегодня у меня джин архиепископа Кентерберийского,— приглашал гостей на один из таких вечеров Якулов.

И действительно, на столе без скатерти стоял бочонок английского джина, присланного в Москву в дар какому-то духовному лицу. Какие таинственные пути привели этот джин в мастерскую художника, не знал, пожалуй, и сам Якулов...

Якулов привез в Баку проект памятника двадцати шести примерно за год до приезда Есенина. Пока проект рассматривался, я предложил Якулову сделать эскизы к пьесе Файко «Озеро Люль» для Бакинского рабочего театра.

Репетиции пьесы шли полным ходом, а эскизов Якулова все не было.

Как-то ночью на улице я напомнил ему об эскизах. Он остановился, достал из кармана папиросную коробку и, прислонив ее пустой стороной к уличному фонарю, начал быстро чертить на ней тонкую паутину линий и черточек.

— Вот эскиз,— сказал он, протягивая мне коробку,— все не удосуживался его записать...

— Здесь есть все,— сказал мне на следующее утро постоянный художник театра Вячеслав Иванов, рассматривая крышку от папиросной коробки с карандашным наброском Якулова.— Здесь все — пространственное решение, стиль постановки. Берусь расшифровать этот иероглиф в декорациях спектакля...

Спектакль, который Давид Гутман ставил в декорациях по микроэскизу Якулова, прошел с шумным успехом. Как вспоминает теперь в своих мемуарах Алексей Файко, успех этот вызвал ревнивый гнев Мейерхольда, который ставил «Озеро Люль» в Москве.

Во время одного из спектаклей «Озера Люль» помощник режиссера постучался ко мне в комнату за кулисами и сказал, что какой-то человек с кнутом настоятельно требует, чтобы его пропустили ко мне.

Неожиданный посетитель в живописном костюме азербайджанца-фаэтонщика вошел и молча протянул мне паспорт. Я раскрыл паспортную книжку и с удивлением прочел имя ее владельца: «Георгий Богданович Якулов».

Фаэтонщик так же молча извлек из глубочайшего кармана крохотную записку. «Пожалуйста, выкупите!» — только два этих слова и было в записке Якулова.

Уезжая в Ереван, он уже на вокзале обнаружил, что у него не хватает средств рассчитаться с фаэтонщиком, который обычно возил его по городу.

Есенин смеется над выходкой Якулова удивительно ясным, добрым смехом.

— Пожалуйста, выкупите! — хохочет он, протягивая Чагину стихи. Потом сам читает их хрипловатым, с теплыми придыханиями голосом.

Стихи очень грустные, помнится, это была «Песня». И будто смотрится Есенин в эту песню, как в зеркало,— лицо его вдруг становится усталым, больным...

Странно звучат после недавнего милого смеха горькие, хватающие за душу слова Есенина о своей песне:

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая[5].

4

Да, было в то время два Есенина. Один — печальный, надломленный, одинокий, другой — обращенный к людям, времени, жизни.

Первое мая 1925 года Есенин встречал на рабочем празднике в Балаханах. Он переходил от группы к группе, оживленный, разговорчивый, поднимая тосты за рабочих, принимая тосты за поэзию.

Тонкие морщинки у щек разгладились, на бледные губы легла улыбка. Казалось, Есенин, озябший в своем уединении, грелся среди людского множества у праздничных костров человеческого тепла.

Киров дружелюбным, умным, чуть насмешливым взглядом следил за весенним походом поэта «в массы»...

И, как всегда после часов прекрасной ясности, опускался в душу Есенина мрак и оживали во мраке мучавшие его призраки...

Недели через три после балаханской маевки мы читали в редакции прощальные стихи Есенина, уезжавшего в Москву:

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май[6].

«Хладеет кровь, ослабевают силы...» Никто еще не знал тогда, как близка ужасная, ошеломляющая, возмущающая душу недоумением и болью могила Есенина. Никто, кроме, может быть, самого Есенина...

Он жил, опрокидывая терпкую чашу жизни, чтобы тут же воспеть ее нежнейшими стихами. Почти все, что писал тогда Есенин, было исповедью, и странно, что люди не услышали в этой исповеди земной печали прощания и разлуки.

Уезжая с Кавказа, он прощается с ним навсегда: «Тебя я не увижу».

Приехав с Кавказа в Москву, глядя на плачущие березы, на снежный «саван», Есенин думает:

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? [7]

Зима 1925 года в другом конце Советской страны. Баку, редакция. Чагин протягивает мне письмо, только что полученное им от Есенина. Я читаю первые стихотворные строчки:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.

Это так просто и по-есенински искренне — человеческая жалоба, как бы родившаяся рядом с тобой, что я невольно оглядываюсь, ищу глазами Есенина. Но нет никого.

Конверт со штампом «Москва», и в конверте письмо, поэма Есенина «Черный человек» и первые щемящие строки ее:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.

Сердце сжимается от тяжелого предчувствия. Я не знал тогда, что Есенин писал «Черного человека» два года. Но помнил, что «черный человек» явился Моцарту как вестник смерти...

Вскоре узнали мы о торопливой одинокой смерти Есенина на распутье, в пустынном номере ленинградской гостиницы, среди чемоданов и коридорных звонков...

Есть у нас люди, которые любят подгримировывать тех, что ушли от нас. Гримируют иногда и Есенина — то под бодрого передовичка, то под мрачного отщепенца. Но Есенин не был ни тем ни другим. Он был — Есенин. Человек-песня. Человек на перекрестке двух эпох:

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою[8].

Свет и мрак жили рядом в этой противоречивой, болезненно чувствительной, болезненно ранимой душе...

Вспоминается неожиданно холодный, ветреный бакинский день — день редакционной панихиды по Есенину.

На всех лицах чувство беды, пришедшей в дом. Сказаны все слова, которые может сказать горе. За окном говорит тревожный апшеронский норд.

Кажется, что в притихшей редакционной комнате где-то рядом еще звучит хрипловатый, с теплыми придыханиями голос Есенина, читающего свою «Песню»:

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

С. А. Толстая-Есенина вспоминала потом, что Есенин плясал, подпевая себе эту песню.

Жажда жизни и уход от нее, пляска под панихидную песню — в этом весь Есенин последнего года своей жизни.

П. И. ЧАГИН

ЕСЕНИН В БАКУ

Замечательному русскому советскому поэту Сергею Есенину воздвигнут мраморный бюст в Рязани, на родной его земле.

«Земля еси, и в землю отыдеши»,— с детства вдалбливали Сергею Есенину и нам, его современникам-однолеткам, библейскую мудрость.

Нет, вопреки этой прапрадедовской мудрости, Сергей Есенин отошел не в землю. Его чудесная поэзия не подвержена заземлению. Она высоко сияет над нашими головами, клокочет в наших душах, нежнейшими лирическими струями переливается в наших сердцах...

Памятник Сергею Есенину в Рязани! Можно подумать, что это нарушение прямо выраженной воли покойного поэта. В стихотворении «Мой путь», написанном в 1925 году, мы читаем:

Пускай я сдохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Что и говорить, написано сердито, даже зло. Но и я, печатая это стихотворение на страницах газеты «Бакинский рабочий», чувствовал, и Сергей Александрович подтверждал это,— вырвалось такое восклицание у него по адресу родной Рязани, что называется, в сердцах, от горечи и досады на то, что представляла собой тогда Рязань.

Каюсь, я разделял полностью его горечь и досаду. Сидели мы с ним в Баку и выкладывали друг другу свои впечатления и переживания: он — свои, свежие

(тогда он только что вернулся из родного села Константинова и из Рязани), а я — свои, стародавние.

Я ведь тоже вроде как земляк Сергею Есенину: дед мой по отцовской линии был из Зарайска, дядья Иван, Тимофей, Данила, Евстигней — ряжские.

Горестно, как и он мне свое, рассказал я Сергею Александровичу о своей поездке в первую мировую войну в бытность студентом Московского университета через Рязань и Ряжск в деревню Лупиловку Ряжского уезда (название-то какое!) к дяде Евстигнею. Жил с месяц в адово-темной курной избе под соломенной крышей и в дыму от соломы вместе с чадами и домочадцами дяди Евстигнея, в числе которых были и телята, и поросята, и всяческая живность. Отдыхал только в ночном с ребятами. На обратном пути в Москву побывал снова в Ряжске и в Рязани. Кромешная темень, невылазная грязь, одурь дикой смеси кабацко-церковного быта — таковы были впечатления. А каковы были переживания в юной душе студента, уже марксиста, без пяти минут большевика, их, вторя мне, Есенин выражал своими стихами, только что написанными:

Россия... Царщина...
Тоска...

Проездом и мимоездом до конца двадцатых годов доводилось мне снова видеть Рязань. Картина оставалась неизменной, прежней. Недаром наш талантливый советский фельетонист Михаил Кольцов в своем фельетоне «Ярмарка в Рязани» в те годы с болью в сердце писал, что таким городам, как Рязань, видимо, пришел конец, что их в социализм не возьмешь.

Мудрено ли, что в такой Рязани Сергей Есенин не хотел видеть памятник себе, своему поэтическому таланту, своему творчеству! Всеми фибрами своей души он ощущал, что это было бы надругательством над дерзновенной мечтой, зародившейся в нем с детства. А мечта эта была такая:

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,

Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

Стало быть, не нарушена воля поэта, а осуществлена его заветная юношеская мечта. Это осуществление мечты стало возможным и необходимым потому, что Рязань теперь — уже не та Рязань...

На память приходят воспоминания. Были ясные майские дни 1925 года в Баку. Правда, там много теплее, почти уже жарко в это время. Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими. Они знали его и любили.

А иначе, без общения с пролетариями нефтеносного Баку, без многодневного впитывания в себя всего, чем они живут и дышат, как можно было бы создать такую поэтическую жемчужину, как «Баллада о двадцати шести», самых дорогих бакинскому пролетариату людях, ставших в 1918 году жертвами английских империалистов! Помню, с каким вдохновением Сергей Есенин читал эту свою знаменитую «Балладу» у памятника двадцати шести и какой бурной овацией наградили его бакинские рабочие.

То же было и на маевке 1925 года в Балаханском промысловом районе Баку, где был заложен рабочий поселок имени Степана Разина. И здесь Сергея Есенина встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на траве расположились рабочие со своими семьями, читал рабочим стихи, пел частушки. После этого поехали на дачу в Мардакьянах под Баку. Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал стихотворения из цикла «Персидские мотивы».

Киров, человек огромного эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку! Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай же. Чего не хватит — довообразит. Он же поэт. Да какой!».

И уже вскоре я такую иллюзию создал. Поселил его на одной из лучших бывших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями — ни дать ни взять Персия! Жил Сергей Александрович на этой даче, говоря его же словами, «как некий хан», но у него и в обстановке созданной ему иллюзии Персии не выходило из головы и сердца родное, рязанское.

Помните, как написал он в стихотворении «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»:

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Огромное впечатление произвела на Есенина встреча ранней осенью 1924 года на товарищеском вечере с Сергеем Мироновичем Кировым и Михаилом Васильевичем Фрунзе, приезжавшим тогда в Баку. Сергей Александрович долго находился под впечатлением этой встречи. Без конца выведывал у меня все подробности боевой работы Кирова в 11-й армии, в Астрахани. А Воронского, который сопровождал Фрунзе как его иваново-вознесенский земляк и революционный соратник, допрашивал о подробностях боевой работы Фрунзе. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту написать эпическую вещь о гражданской войне, о большевистских полководцах, и чтобы обязательно во главе всего этого эпоса, который должен перекрыть и «Песнь о великом походе», и «Анну Снегину», и все написанное им, был Ленин. «Я в долгу

перед образом Ленина,— говорил Есенин,— ведь то, что я писал о Ленине,— и «Капитан земли», и «Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода»,— это слабая дань памяти человеку, который не то что, как Петр I, Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету».

Спустя три месяца в Москве, в конце декабря, на XIV съезде партии Сергей Миронович Киров спрашивал меня: «А что пишут из Баку о Есенине? Как он?» Сообщил Миронычу: по моим сведениям, Есенин уехал в Ленинград. «Ну что ж,— говорит Киров,— продолжим шефство над ним в Ленинграде. Через несколько дней будем там». Недоумеваю, но из дальнейшего хода разговора узнаю: принято постановление ЦК — Кирова посылают в Ленинград первым секретарем губкома партии. Ивана Ивановича Скворцова-Степанова — редактором «Ленинградской правды», меня — редактором «Красной газеты».

Но, к величайшему сожалению и горю, не довелось С. М. Кирову продолжить шефство над Сергеем Есениным, а по сути дела, животворное влияние партии на него и его поэтическое творчество. На следующий день мы узнали, что Сергей Есенин ушел из жизни.

В. И. КАЧАЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосым, скуластым, басистым. И слыхал о нем, о его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 г. в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей.

«Приведем к вам сегодня Есенина», — объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по моему, в марте 1925 г. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться...» Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще не-

сколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться»,— бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча, и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Сели за стол, стали пить водку. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость появилась в глазах; на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застывали в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа — и какое-то хорошее выражение, лицо пытливого, вдумчивого, в чем-то очень честного, в чем-то даже строгого, здорового парня,— парня с крепкой «башкой».

А вот брови сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже мрачно, тускло поблескивали две капли белых глаз — со звериной тоской и со звериной дерзостью. Углы рта опустились, натянулась на зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный оскал, и весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят.

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужицки — и заулыбался широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомство

с Блоком. Замечательно читал стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво-неожиданно-контрастно. Тут же на глазах он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко сшит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве — рязанских, и московских, и тульских,— что-то очень широко русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шее накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен... Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня... Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотцой... Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, рассыпалась... вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни кашне

на шее, ни галстук парижский. А выпил стакан красного, легкого вина залпом, но выпил, как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) и — ох! Рязань косопузая пьет в кабаке. Выпил, крякнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть[1].

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается Есенин, в какие иные миры свободно вторгается эта наша «косопузая Рязань!»

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли...

В июне того же года театр приехал на гастроли в Баку. Нас пугали этим городом, бакинской пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зноем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новая Европа». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, море как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этажи. Приходит молодая, миловидная, смуглая девушка и спрашивает: «Вы Качалов?» — «Качалов»,— отвечаю. «Один приехали?» — «Нет, с театром».— «А больше никого не привезли?» Недоумеваю: «Жена, говорю, со мною, товарищи».— «А Джима нет с вами?» — почти вскрикнула. «Нет, говорю, Джим в Москве остался».— «А-яй, как будет убит Есенин,

он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море».

Девушка отошла от меня огорченная. «Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима»...

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают.

Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож, тюрк, подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разобрать нельзя. Безнадежные каракули. Подпись «Есенин». «Где же, спрашиваю, тот, кто написал записку?» Сторож отвечает мрачно: «На улице, за дверью. Ругается. Меня называет «сукин сын». Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть». Я поспешил на улицу, как был в царском облачении Федора, даже в мономаховой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубахе кавказского покроя, кепка надвинута на глаза... Взволнован. Страшно обижен на сторожа. Бледный, шепчет сторожу: «Ты не кацо — кацо так не поступают». Я их с трудом примирил и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Он высасывает кровь, улыбается: «Это я вам, об шипы накололся, пожалуйста»,— поднес нам каждому по два цветка. Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик-тюрк, совсем черный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию...

Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурив глаза, с любопытством рассматривает и внимательно слушает.

Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать[2].

В уголке на корзине с провиантом сидит мальчик-тюрк и тоже как будто внимательно слушает, задумчиво ковыряя в носу.

Мелькают еще воспоминания, еще встречи. Короткие, и немного их было, того же года, в Москве, в середине лета. Он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Женится. Зовет меня на мальчишник. Совсем здоровый, мне показалось, ясный, трезвый.

Осенью у Пильняка сидим. Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятным.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу: «Расскажи, что и как Сергей».— «Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, попросил тебе кланяться. И Джиму — обязательно».— «Ну, говорю, выпьем за его здоровье». Чокнулись. «Пьем, говорю, за Есенина». Все подняли стаканы Нас было за столом человек десять. Это было два—два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

«Кланяется тебе Есенин,— сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору, даже повторил:— Слы-

шишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин». Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина,— и он даже не покосился в мою сторону.

Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере»...

А. Ф. КУЛЕМКИН

ЕСЕНИН И СТУДЕНТЫ

Мои воспоминания о Есенине относятся к периоду организации Высшего литературно-художественного института, созданного Валерием Брюсовым.

С первых шагов установились тесные связи с Литературным институтом у писателей и поэтов Москвы. Некоторые преподавали, другие систематически выступали на вечерах, третьи просто дружили со студентами. Особенно часто бывали Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Владимир Маяковский, Николай Асеев. Нарком по просвещению А. В. Луначарский два учебных года читал лекции по драматургии.

Кончался 1921/22 учебный год. Весна. Выдался яркий, солнечный день. В институте ожидали на очередную лекцию Луначарского. Но вот в необычную пору, до вечера еще было долго, во дворе особняка появился Есенин.

В сквере перед фасадом «Дворца искусств», как назывался сологубовский особняк после революции, Есенина окружила толпа студентов и дружно просила прочесть что-нибудь из последних стихов. В такой прекрасный день в помещение идти не хотелось, и кто-то предложил читать с балкона бельэтажа. Есенин не заставил долго ждать.

Внизу его слушала большая толпа студентов и просто подошедших на звонкий голос поэта.

Есенин читал «Песнь о хлебе», «Не жалею, не зову, не плачу...» и другие стихи. Ему неистово хлопали и просили читать, выкрикивая названия популярных стихотворений. И поэт с охотой подчинялся и читал, как всегда, вдохновенно.

Мне в этот день повезло. Оказавшись поблизости от Есенина на балконе, я набрался смелости и после окончания чтения стихов вступил с ним в разговор. Косноязычно, смущаясь, я сумел отрекомендоваться поэту, его заинтересовала моя биография и рассказ о редких изданиях моей библиотеки.

— Из института на Арбат, по Поварской, путь лежит через мою студенческую комнату; седьмой дом отсюда, № 38, Самариных. У меня бывают небезызвестные вам Феоктист Березовский, Петр Орешин, Иван Рукавишников. Из наших студентов приходят Сергей Малашкин, Кожевников, Артем Веселый, Иван Приблудный, белорусские поэты.

С этого раза Есенин появлялся в институте не только на торжественных вечерах, на открытии или окончании учебного года, но и просто невзначай.

Появление Есенина в институте всегда создавало приподнятое настроение у студентов. Интерес был взаимным. Но Есенин к нам относился серьезней. Он не мог пройти равнодушно мимо будущей смены, мимо начинающих неизвестных стихотворцев. И он как бы вглядывался в наши лица, вслушивался в стихотворные строки: каким языком они говорят, что несут нового.

В часы несостоявшихся лекций студенты часто читали свои произведения. По желанию автора чтение бывало с обсуждением или без него. Назывались такие занятия «вольной композицией». Эта форма оказалась устойчивой — студенты приобретали навык к выступлениям да и читали на «вольности» охотнее и смелее, чем в классах и на семинарах. Есенину нравилась студенческая «вольная из вольных» — он считал ее хорошим начинанием и сам принимал участие в выступлениях.

Из поездки за границу Есенин вернулся в Москву 3 августа 1923 года, 1 сентября он уже сидел за столом президиума на общем собрании студентов Литературного института; по левую сторону — Валерий Брюсов, справа — старейший профессор Г. А. Рачинский.

По окончании официальной части собрание сразу же стало просить Есенина читать стихи. Первое стихотворение он прочитал из-за стола. Но с задних рядов дружно требовали:

— Есенин, выше!

Поэту пришлось перейти и встать на парту.

Эта улица мне знакома...

В этот раз он читал особенно много, почти все стихи подготовленной книжки «Москва кабацкая».

Мы, видимо, не вполне понимали трагизм этих стихов. Стихи нравились, студенты улыбались, особенно девушки, словно мы не ощущали и не замечали несчастья, которое тогда уже сторожило поэта. Сидели и как будто присутствовали на представлении, слушали монологи из трагедии, нам «это» нравилось, еще бы — такая экспрессия чувств, всамделишних переживаний! И мы только хлопали, не различая, что это же не пьеса, а сама жизнь и что перед нами смертельно раненный человек...

Начинался 1924/25 учебный год. На вечер по случаю начала учебного года ждали Сергея Есенина. Поэт не пришел. Читалась проза: Всеволод Иванов и Борис Пильняк. И вот, как будто спохватившись, перед отъездом на Кавказ, через два дня, 3 сентября, пришел Есенин. Он не мог не прийти. Поделился со студентами таким необычным по тому периоду стихотворением, как «Русь советская». Потом прочитал «Письмо матери» и «Пушкину».

В окружении студентов Есенин вышел на Поварскую, и вся группа повернула в сторону Арбата. Мы заранее условились с В. Наседкиным завернуть с Есениным ко мне.

Есенин согласился.

Моя небольшая комната вся была заставлена книжными шкафами, поместиться в ней могло только несколько человек, поэтому мы взяли с собой только двоих наших студентов — белорусского поэта, переводчика Янки Купалы и Якуба Коласа Климента Яковчика и Кауричева.

В эти дни у меня гостила жена, студентка института экранного искусства, первого высшего кинематографического учебного заведения, приехавшая из Ленинграда.

Валентина заинтересовала Есенина рассказами об актерской игре, о киноискусстве и Ленинграде.

— Я частенько бываю там. В Ленинграде недавно вышла книжка моих стихов, кстати, я подарю вам ее, а сейчас из цикла «Любовь хулигана» почитаю. Вы не боитесь такого названия? — И Есенин непринужденно стал читать стихи.

Потом, по просьбе поэта, читали и мы, стыдясь своих стихов,— Яковчик и я. Я прочитал стихотворение «Гамены» — о беспризорниках, ночевавших в норах и нишах китайгородской стены. Есенин прочитал свое стихотворение «Папиросники». Текст этого стихотворения он оставил у меня. Потом оно было напечатано в № 9 журнала «Красная нива» за 1927 г.

Внимание Есенина привлекли шкафы. Он извлекал из них уникальные книжки и разговаривал с нами.

— Так вы громили Колчака и Врангеля да еще в такой дивизии, Перекопской... Жаль, что вы не колошматили Юденича. Меня давно эта тема — обороны Петрограда — интересует. А в Крыму не встречались с Махно?

— Мы охотились за Махно, но он был неуловим. Выходил из атаки и окружения, рассыпался, неизвестно куда. Был случай: из одной деревушки провалился, как в преисподнюю. Сам-то что: маленький, юркий человечек, с писклявым женским голоском, но вот отряд в шесть тысяч его вояк исчез бесследно...

Сергей Александрович расспрашивал о подробностях махновских действий на Украине и в Крыму.

Уже одеваясь, Есенин сказал мне:

— Значит, вы — генштабист и в литературе — брюсовец! Я всем вам, друзья, по-товарищески советую — посещайте брюсовский лицей, оканчивайте его, но в творчестве, в своих личных опытах оставайтесь поэтами самобытными. Учеба уводит часто от оригинальности и своего существа. Будьте сами собой, не теряйте органичности и не вдавайтесь в стилизации. Только при этих условиях выучка у Брюсова имеет смысл.

Сентябрь 1925 года.

Шли мимо, от Кудринской к Арбату, и «на огонек» зашли ко мне Сергей Есенин, Петр Орешин, Василий

Наседкин и Иван Приблудный. Читали стихи, читали возбужденно и вразнобой. Есенин прочитал «Сказку о пастушонке Пете». Я в это время, по окончании Литературного института, работал в издательстве «Молодая гвардия» и посоветовал Есенину отдать рукопись в журнал «Пионер». Сказка и была напечатана в номере 23-м, датированном 5 декабря 1925 года.

Петр Орешин настоял, чтобы я прочитал что-нибудь из моих последних стихотворений. Я передал ему стихотворение о первом посещении С. Есенина минувшей осенью. Оно заканчивалось:

А я Есенина стихами
Овеян жил, его собрат.
Ходили вместе, в шаг с дыханьем,
Из института — на Арбат.

Есенин был рассеян и куда-то еще торопился попасть и, тем не менее, не мог пройти мимо книг равнодушно: вытащил «Невский альманах» за 1828 год, IV кн., издания Аладьина. Начал листать и читать нараспев:

Как ныне сбирается вещий Олег...

Обращаясь к Орешину и Наседкину с поднятой в руке книжкой, Есенин с пафосом произнес:

— Прижизненное издание поэта, такие же экземпляры синенькой книжки Александр Сергеевич сам лично разрезал, держал в руках, дарил своим близким и друзьям.— Провел книжкой по голове Приблудного и добавил:— Столетнее издание, Ванёк, точно такую же книжечку носил с собой и имел в библиотеке Пушкин! Подумай только!

Я показал Сергею Александровичу свой альбом и он без особой просьбы написал четверостишие:

Не жалею вязи дней прошедших,
Что прошло, то больше не придет.
И луна, как солнце сумасшедших,
Тихо ляжет в голубую водь...

Больше мы уже не встречались.

И. В. ЕВДОКИМОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Помню, в домораживающие последними морозами дни зимы 1924 года, с небольшим скупым солнцем на полу, вдруг в комнату вошел человек в зимнем пальто, вошел и бросился глазами в глаза. Никогда раньше не видав его, я узнал по прежде попадавшимся портретам Есенина. И мне сразу запомнились мягкая, легкая и стремительная походка, не похожая ни на какую другую, своеобразный наклон головы вперед, будто она устала держаться прямо на белой и тонкой шее и чуть-чуть свисала к груди, белое негладкое лицо, синеющие небольшие глаза, слегка прищуренные, и улыбка, необычайно тонкая, почти неуловимая. Этот образ запечатлелся. За Есениным вошел поэт А. Ганин. Последнего я знал давно: мы земляки. Ганин меня и познакомил с Есениным. Бывший тут поэт Казин стал показывать Есенину какую-то рукопись. Ганин сел к моему столу и спросил о судьбе его стихотворений, находившихся в отделе на просмотре. Я не успел ответить, как Есенин повернулся от Казина:

— Надо, надо взять. У него хорошие стихи, очень хорошие стихи.

На лице у него была застенчивая усмешка. Стихи казались отделу плохими — не были приняты. Такие разговоры повторялись и в дальнейшем: Есенин часто хлопотал то об одном, то о другом поэте...

Самым ярким впечатлением от встреч с Есениным было чтение им стихов...

Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина, но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной

силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации, никому так не пела та подспудная непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело...

Первый раз я слушал его весной 1924 года. Он пришел под хмельком. Мы собирались уже уходить с работы. Он принес стихотворение «Письмо матери», напечатанное в третьей книжке «Красная новь» за 1924 г. Кто-то попросил его прочитать. Держа в руке листок и не глядя в него, он начал читать. Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Слушали Казин, Когоут, Казанский и я. Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой:

Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Тут голос Есенина пресекся, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел... и еще раз запнулся на строчках:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.

Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло, таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами.

Он кончил. Помолчали. В дверях мигал светлыми, слегка желтившими глазами Казанский, Когоут с неподвижным своим лицом тушевал карандашом на какой-то нужной казенной бумаге, Казин серьезно и мечтательно вслушивался в слова, подняв кверху свой нос щипком.

— Ну, каково? — быстро спросил Есенин.

У меня, может быть некстати, подвернулось одно слово:

— Вкусно!

Есенину оно понравилось, он несколько раз повторил его. Через год, когда мы познакомились поближе, он, рассказывая мне о новых своих вещах, всегда, смеясь, шутил:

— Кажется, опять получилось вкусно.

Вскоре он читал другую свою вещь:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой [1].

Остановились мы у стола машинистки «Красной нови». Были Воронский, Казанский и я.

— Хочешь, прочитаю новое стихотворение? — обратился Есенин к Воронскому.

— Ну, — буркнул Воронский.

У Есенина была перевязана марлей рука около кисти. Он только что вышел из больницы. До того говорили: Есенин глубоко и опасно разрезал чем-то руку.

Мы затаились. Особенно мне запомнился Воронский.

Он выглядывал из-под светлых стеклышек пенсне с какой-то удивительной тревогой, улыбка пришла сразу и не сходила с лица, он хорохорился, скрывал свои чувства и переживания, но они были явны в той жадности внимания, с какой он смотрел на поэта. Каюсь, никогда не мог без спазм в горле слушать чтение Есенина. И на этот раз, отвернувшись к шкафу, хлебал я редкие слезы и протирал глаза.

Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам...—

в величайшем возбуждении, тряся забинтованной рукой, кричал Есенин:

Бью, а кони, как метель, шерсть разносят в хлопья.
Вдруг толчок, и из саней прямо на сугроб я...

Встал и вижу: что за черт! Вместо бойкой тройки,
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей — по дороге тряской —
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Нет, это было совершенно необыкновенно, это потрясало, это выворачивалась раненая душа поэта.

Синие твои глаза в кабаках промокли.

Сорвался вдруг голос Есенина... Он закашлялся и устало вытер платком лоб.

— Ты мне давай его,— взволнованно сказал Воронский.

Стихи были напечатаны рядом с «Письмом матери» в той же книжке «Красной нови».

В мае — июне месяце 1924 года Литературно-художественный отдел перевели с Большого Успенского переулка в Главное управление Госиздата на Рождественку.

Перед отъездом — в комнатах был уже разгром — зашел Есенин, трезвый, веселый, свежий. Он собирался уезжать из Москвы.

— До осени,— говорил он,— буду писать прозу. Напишу повесть — листов десять. Хочется. Я ведь писал прозой.

— Это «Яр»-то?

— Да. И еще. Воронскому привезу ее осенью. Для «Красной нови». И сюжет... и все у меня есть.

— Не забудь привезти стихов,— пошутил я.

— И стихи будут. Сначала в деревню к себе съезжу. У нас там охота хорошая. Денег надо свезти на сенокос матери. Потом поеду на юг.

В дальнейшем я встречал Есенина в Госиздате мельком в конце 1924 года и в первой половине 1925 года, обычно в крестьянском отделе или в коридорах, у кассы. При первой же встрече зимой я спросил:

— А как, Сергей Александрович, повесть?

Он заулыбался и, будто извиняясь, ответил:

— Ничего не вышло. Да и заболел я.

В июне 1925 года Есенин зачастил в Литературно-художественный отдел Госиздата. Кажется, он вернулся тогда из Баку. Пошли слухи о женитьбе его на С. А. Толстой. И неизменно при этом повторяли: на внучке Толстого. Наконец он мне и сам сказал:

— Евдокимыч, я женюсь. Живу я у Сони. Это моя жена. Скоро будет свадьба. Всех своих ребят

позову, да несколько графьев. Народу будет человек семьдесят. А Катя — сестра — выходит замуж за поэта Наседкина.

Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе А. А. Берзинь, считавшаяся близким другом Есенина. Чаще всего с нею он и заходил ко мне в то время. Шли переговоры о новой книжке стихов Есенина под названием «Рябиновый костер». Литературно-художественный отдел заключил договор на эту книжку. Договор заключили спешно, чтобы иметь какой-либо повод выдать ему из кассы сто рублей денег. Впоследствии этот договор аннулировали, когда заключили договор на трехтомное «Собрание стихотворений»...

Незадолго перед этими днями Литературно-художественный отдел выпустил его книжку «Березовый ситец». Двенадцатого июня он пришел в отдел за авторскими экземплярами в сопровождении А. А. Берзинь... Меня зачем-то вызвали в другой отдел. Когда через некоторое время я вернулся, Есенина уже не было, но мне кто-то передал от него книжку с надписью красными чернилами:

Сердце вином не вымочу.
Милому Евдокимочу,
Пока я тих,
Эта книга и стих.
С. Есенин.
1925, 12/VI.

В середине июня 1925 г. в Литературно-художественном отделе Госиздата возникла мысль об издании «Собрания стихотворений» Сергея Есенина. Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании...

Однажды он пришел довольно рано.

— Евдокимыч, я насчет моего «Собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег? Только надо скоро.

Я его осведомил, что едва ли можно будет сделать так скоро, как он предполагает: договор на большую

сумму, необходимо будет получить согласие высших органов Госиздата и, конечно, поставить дело на «формальные» колеса, подать заявление, сговориться об условиях и т. д.

Дня через два он появился с Наседкиным и под мою диктовку наспех написал следующее заявление:

«В Литературный отдел Госиздата
Сергея Есенина.

Предлагаю литерат. отд. издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г., сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. *Сергей Есенин.* 17/VI — 25».

Все условия его были приняты, кроме одного: единовременной выдачи двух тысяч рублей. Летние месяцы — время обычного затишья в книгопродавческой деятельности — были трудными, и Госиздат вынужден был сводить свои расходы до минимума. Через неделю, 30 июня, был подписан договор: поэт обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. С июля началась выдача денег, по тысяче рублей ежемесячно. Факт заключения договора с Есениным по высшей ставке — рубль за строку, никому из других поэтов не назначаемой, свидетельствовал о той высокой оценке есенинского творчества, какая была в Государственном издательстве. Кроме того, Госиздат договорился с поэтом о печатании всех его вновь написанных стихотворений отдельными книжками после предварительного их распубликования Есениным в периодической печати. Как общее правило, стихи на рынке идут плохо — эпоха наша полуравнодушна к стихам,— и даже стихи Есенина, например «Березовый ситец», шли медленно, тем не менее Госиздат почел своей обязанностью издать его «Собрание стихотворений».

Надо было видеть ту редкую радость, которая была в синих глазах Есенина, когда дело закончилось во всех инстанциях.

— Евдокимыч,— говорил он,— я написал тысяч пятнадцать строк. Я, понимаешь, отберу самое лучшее, тысяч десять. Этого довольно: будет три тома. Понимаешь, первое мое «Собрание». Надо издать только хорошо. Я теперь примусь за работу.

Обращение Есенина ко мне объяснялось тем, что главным образом мне пришлось иметь с ним дело в оформлении разных деталей: заведующим отделом Н. И. Николаевым мне это было поручено особо.

Уже вскоре Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся, засмеялся и он.

— Это ничего,— говорил Есенин,— я, понимаешь, как-нибудь зайду, мы с тобой вместе и разберемся...

Отложили до более благоприятного случая. А летом внезапно, не сказавшись, Есенин исчез — в Баку. Прождали месяца два. В августе мне поручили написать ему письмо. Ухмыляясь и стремясь быть строгим и официальным, я послал ему письмо, в котором напомнил о невозможности производить набор по его оригиналам, об отсутствии всякого плана издания и просил подумать его, в каком виде он хочет издать «Собрание стихотворений». Тут же указал несколько возможных видов издания: хронологический, по циклам, по родам и видам поэзии. Ответ получил по телеграфу: «Приезжаю» (31/VIII). Скоро он появился в Москве...

По возвращении он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы втроем, усевшись тут же за стол, работали над распланированием стихотворений.

— Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так,— заговорил он, появившись в первый же раз после приезда,— я обдумал... В первом томе — лирика, во втором — мелкие поэмы, в третьем — крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?

— Как ты хочешь,— отвечал я,— это твое дело. Мы тебе не будем подсказывать никакого другого способа, лишь бы можно было скорее приступить к работе.

Остановились на распределении по родам и видам поэзии. Есенин унес из отдела свою непричесанную

груду стихотворений, еще более растрепавшуюся, так как за время его отсутствия она неоднократно была читаема в отделе разными лицами.

Недели через полторы стихи вернулись в более налаженном виде, но—увы — и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе соединялось по нескольку стихотворений без начала и конца, кое-где было по нескольку дат, зачеркнутых и перечеркнутых и опять восстановленных, не соблюдена строфичность, тексты не сверены после машинистки и т. д.

Нетрудно было рассердиться на другого, но на этого обаятельного человека, серьезно и детски синевшего глазами над тобой, было свыше человеческих сил рассердиться.

— Теперь, кажется, совсем хорошо,— торопливо суетился он у стола,— тут вот — лирика, тут — поэмы. Я еще подбавлю. Соня переписывает.

Тогда и условились еще раз-два просмотреть рукопись вместе со мной в отделе...

Как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.

Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею... И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:

— Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?

А потом сразу серчал:

— Что же ты переписала? Где же то, помнишь, недавно-то я написал? Ах, ты!..

И так мешалась ласка и грубость все время.

В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак.

— Сережа, ты разденься,— подсказал я,— тебе будет удобнее...

Он скинул пальто и кашне и, будто всегда делал так, подал их жене, а та, словно всегда раздевала его, взяла и спокойно положила на соседний свободный стол. Не скрою, я испытал неловкость.

Есенин торопливо, умело и знакомо шабаршился в рукописи, видимо помня каждое стихотворение, где оно лежало, и складывал их грудкой. Листки расползались, он сердился, хватал их... Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал:

— Соня, почему ты тут написала четырнадцатый год, а надо тринадцатый?

— Ты так сказал.

— Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних... Нет! Не-е-т!

Есенин задумывался.

— Нет, ты права! Да, да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин перескакивал от одного тома к другому, переделывал по нескольку раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитулы и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего недоставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номах».

— Это что? — спросил я.

— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах это Махно. И Чекистов, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переменю. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

— А мне жалко названия «Страна негодяев»,— сказал я.— «Номах» — очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную,

окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать.

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы начиная с января выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректурах, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжек и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве»... Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

— Это мое первое детское стихотворение,— кончив, сказал он[2].

Все улыбались и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и твердили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного больным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» — первой книги поэта.

— Понимаешь, Евдокимыч,— как-то тревожно похрипывал он,— будет три толстых книжки. Ты только каждое стихотворение пусти с новой страницы, как вот Демьяна Бедного печатаете. Не люблю я, когда стихи печатают, как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих стихотворений.

В августе Литературно-художественный отдел перевели по тому же коридору во втором этаже, в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами, с дурным архаическим отоплением (устаревшая Амосовская система), с переполнением комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И

завели: не курить в комнатах. В коридоре у дверей поставили маленький, для троих, деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел несколько минут своей жизни.

И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закуривал — и выходили в коридор. Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случалось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру. Вид его был неизбежно одинаков: расстегнутое пальто, шапка или шляпа, высоко сдвинутые кверху, кашне, наклон головы и плеч вперед, размахивающие руки... Какое-то глубочайшее удальство было в нем, совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой позы и позировки. И еще издали рассиневались чудесные глаза на белом лице, будто слегка посеревший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя. Связных воспоминаний я не сохранил, потому что не записывал, не было в этом нужды, казалось, и без записи все запомнится надолго. И все не запомнилось: память оказалась коварна, кое-что она упорно подсказывает, но без должной убедительности. И то, в чем я не уверен, я не пишу...

В. Ф. НАСЕДКИН

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

Конец февраля.

Захожу в Брюсовский к Г. А. Бениславской. В комнате передвигают что-то. Здесь же сестры Есенина — Катя и Шура. На угловом столике последний портрет Есенина (с П. И. Чагиным) и свежая, развернутая телеграмма.

Завтра приедет Сергей, говорит Катя, в ответ на мой любопытный взор, обращенный на телеграмму.

Эта весть обрадовала и напугала меня.

С той поры, как я приобрел тонкую тетрадочную книжку стихов «Исповедь хулигана», я полюбил Есенина, как величайшего лирика наших дней. Новая встреча с ним, после годичной разлуки, мне казалась счастьем. Но почти этого же я испугался. Мне тогда часто думалось, что рядом с Есениным все поэты «крестьянствующего» толка, значит, и я, не имели никакого права на литературное существование.

На другой день Катя, Галя и я отправляемся на Курский вокзал встречать Есенина. Подходит поезд. Вдруг, точно откуда-то разбежавшись, на ходу поезда, в летнем пальто, легко спрыгивает Есенин.

Через полминуты из того же вагона, откуда спрыгнул Есенин, шел его бакинский товарищ (брат П. И. Чагина) с чемоданами в руках. Выходим на вокзальную площадь. Вечереет, падает теплый, голубоватый снежок.

После утреннего чая, на следующий день, Есенин достает из чемоданов подарки, рукописи, портреты.

— А вот мои дети...— показывает он мне фотографическую карточку.

На фотографии девочка и мальчик. Он сам смотрит на них и словно чему-то удивляется. Ему 29 лет, он сам еще походит на юношу. Выглядел он очень хорошо, хвалился, что Кавказ исправил его.

Из Баку он привез целый ворох новых произведений: поэму «Анна Снегина», «Мой путь», «Персидские мотивы» и несколько других стихотворений.

«Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживал над ее окончательной отделкой. В такие часы он оставался один, и телефон выключался.

Друзьям он охотнее всего читал тогда эту поэму. Поэма готова. Я предложил ему прочитать ее в «Перевале». Есенин согласился. В 1925 г. это было его первое публичное выступление в Москве.

Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев «на Есенина» зашло много «мапповцев», «кузнецов» и других.

Но случилось так, что прекрасная поэма не имела большого успеха.

Кто-то предложил обсудить.

— Нет, товарищи, у меня нет времени слушать ваше обсуждение. Вам меня учить нечему, все вы учитесь у меня,— сказал Есенин.

Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произвели огромное впечатление. Есенин снова владел всей аудиторией.

На три дня из деревни к Есенину приехала мать. Есенин весел, все время шутит — за столом сестры, мать. Семья, как хорошо жить семьей!

Круг знакомых, в котором Есенин вращался в то время, небольшой, преимущественно писательский.

На вечеринке, устроенной в день рождения Гали, в числе гостей были Софья Андреевна Сухотина (урожденная Толстая), Б. Пильняк и ленинградская поэтесса М. Шкапская.

Наибольшее внимание за этот вечер Есенин уделял Софье Андреевне.

Из Баку Есенин привез несколько новых песенок, которые он как новинки охотно исполнял перед гостями. Через некоторое время звучание этих песенок появилось в творчестве Есенина.

В первой половине марта Есенин заговорил об издании своего альманаха. Вместе составляли план. Часами придумывали название и, наконец, придумали:

— Новая пашня?

— Суриковщина.

— Загорье?

— Почему не Заречье?

— Стремнины?

— Не годится.

— Поляне.

— По-ля-не... Это, кажется, хорошо. Только... вспоминаются древляне, кривичи...

Остановились на «Полянах». На другой день о плане сообщили Вс. Иванову. Поговорили еще. Редакция: С. Есенин, Вс. Иванов, Ив. Касаткин и я— с дополнительными обязанностями секретаря.

Альманах выходит два-три раза в год с отделами прозы, стихов и критики. Сотрудники — избранные коммунисты-одиночки и попутчики.

Прозаиков собирали долго. По замыслу Есенина, альманах должен стать вехой современной литературы, с некоторой ориентацией на деревню. Поэтов наметили скорей: П. Орешин, П. Радимов, В. Казин, В. Александровский и крестьянское крыло «Перевала».

Пошли в Госиздат к Накорякову. «Основной докладчик» — Есенин. Я знал, что Есенин говорить не умеет, поэтому дорогой и даже в дверях Госиздата напомнил ему главные пункты доклада.

Но... ничего не помогло. Вместо доклада вышла путаница. Накоряков деликатно, как будто понимая все сказанное, задал Есенину несколько вопросов. Но с альманахом ничего не вышло. Есенин через две

недели опять уехал на Кавказ, поручив Вс. Иванову и мне хлопотать об издании.

На троицын день (кажется, 7 июня) Есенин поехал к себе на родину, в село Константиново.

Вернувшись из Константинова, Есенин ушел от Г. А. Бениславской. И на время перевез ко мне в комнату свои чемоданы. Недели через две Есенин решил переехать к Софье Андреевне и как-то нерешительно, почти нехотя, стал он перебираться к ней, но чемоданы его и книги долго еще стояли у меня в комнате.

Вскоре Есенин уехал на Кавказ вместе с С. А. Толстой, но в этот раз он вернулся с Кавказа скорее, чем всегда.

Перед отъездом на Кавказ Есенин ездил в свое Константиново. Из деревни, прямо с вокзала, он заехал в «Красную новь». Мне и еще кому-то из перевальцев, случайно бывшим в редакции, он прочитал свои новые стихи, написанные на родине:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года[1].

Это стихотворение он написал на Оке, два дня пропадая с рыбацкой артелью на рыбной ловле.

Квартира С. А. Толстой в Померанцевом переулке, со старинной, громоздкой мебелью и обилием портретов родичей, выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое местожительство, видимо, начинало тяготить Есенина.

Примерно в первой половине сентября он попросил Галю купить ему квартиру. Квартира была найдена, и задаток оставлен. Но через несколько дней

задаток Софья Андреевна взяла обратно. Повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко.

Приблизительно в то же время такая же история получилась с санаторием Мосздрава.

Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться и отдыхать. Несколько дней Галя и Екатерина хлопотали в Мосздраве о путевке. Наконец, путевка получена. Санаторий осмотрен; все хорошо, но в последний момент Есенин ехать не захотел. Софья Андреевна пожелала ехать вместе с Есениным, но для нее не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий.

Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с одним из своих знакомых, и по давней привычке запели народные песни. Во время пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея своим слушателем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.

Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колечко,
Гори, мое золото...

вызвали улыбку восхищения.

Позже Есенин читал:

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи [2].

Но настроение этого и другого стихотворения («Листья падают, листья падают») мне показалось странным. Я спросил:

— С чего ты запел о смерти?

Есенин ответил, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что только памятуя о ней поэт может особенно остро чувствовать жизнь.

Жизнь Есенина была строго распределена. Неделя делилась на две половины. Первая половина недели иногда затягивалась на больший срок — это

пора работы. Вторая половина — отдых и встречи. Вот эти-то встречи часто и выбивали из колеи Есенина.

Первую половину недели до обеда, то есть до пяти часов вечера, Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много. Однажды в один день он написал восемь стихотворений, правда, маленьких. «Сказка о пастушонке Пете» написана им за одну ночь.

В рабочие дни Есенин без приглашения никого не принимал.

Последние месяцы Есенин был необычайно прост. Говорил немного и как-то обрывками фраз. Подолгу бывал задумчив.

Случайно сказанное кем-нибудь из родных неискреннее слово его раздражало.

Помню, на какой-то вопрос Есенина один молодой поэт затараторил так, как будто читал передовицу. Есенин остановил его и предложил говорить проще:

— Ты что, не русский, что ли, оскабливаешь каждое слово?

Сказано это было так, что поэт (очень самолюбивый) только «отряхнулся», сказал себе под нос «и правда» и заговорил другим языком.

Октябрьский вечер. На столе журналы, бумаги. После обеда Есенин просматривает вырезки. Напротив, с «Вечеркой» в руках, я, Софья Андреевна сидит на диване. Светло, спокойно, тихо. Именно тихо. Есенин в такие вечера был тих.

Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах.

О книге стихов «Персидские мотивы», вышедшей в мае в издательстве «Современная Россия», в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать.

Заслуживающей внимания была одна вырезка со статьей Осинского из «Правды». Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось.

О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина.

Есенин с горькой, едва заметной улыбкой отодвигал от себя пачку бумажек с синими наклейками.

В начале осени как-то вечером я жаловался на самого себя. Есенин лежал на диване, а я сетовал на трудности, на неуверенность. Есенин, словно раздумывая о чем-то, спокойно заметил:

— Стели себя, и все пойдет хорошо. Стели чаще и глубже.

После одной читки стихов Есениным я искренне удивился его плодовитости. Довольный, Есенин улыбался.

— Я сам удивляюсь,— молвил он,— прет, черт знает как. Не могу остановиться. Как заведенная машина.

Осенью Есенин закончил «Черного человека» и сдавал последние стихи в Госиздат для собрания сочинений. Еще раньше, отбирая материал для первого тома, он заметил, что у него мало стихов о зиме.

— Теперь я буду писать о зиме,— сказал он.

— Весна, лето, осень как фон у меня есть, не хватает только зимы.

Появились стихи: «Эх, вы, сани! А кони, кони!..», «Снежная замять дробится и колется...», «Слышишь — мчатся сани...», «Снежная замять крутит бойко...», «Синий туман. Снеговое раздолье...», «Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и дали...», «Голубая кофта. Синие глаза...» и три стихотворения, не увидевшие света, написанные им в клинике.

Над «Черным человеком» Есенин работал два года. Эта жуткая лирическая исповедь требовала от него колоссального напряжения.

То, что вошло в собрание сочинений,— это один из вариантов. Я слышал от него другой вариант, кажется, сильнее изданного. К сожалению, как и последние три зимние стихотворения, этот вариант «Черного человека», по-видимому, записан не был. И вообще, сочиняя стихи, Есенин чаще заносил на бумагу уже совсем готовое, вполне сложившееся, иногда под давлением необходимости сдавать в журналы.

Есенин обладал огромной памятью. Он мог читать наизусть целые рассказы какого-нибудь понравившегося ему писателя, хотя за последний год память немного сдала, случалось, что стихи забывались.

Не помню обстановки, были вдвоем. Есенин заговорил о творчестве.

Теперь трудно даже приблизительно восстановить его отдельные слова или выражения. Лишь осталась в памяти его мысль.

Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык, может быть, даже важнее, чем для писателя-прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих и интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка.

Есенин хвалился, что этим языком он хорошо научился пользоваться.

Осенью 1923 года Есенин также говорил, что его дружба с «логовом жутким» ему необходима для творчества.

Возможно, это не полно, но ясно, что без этого знакомства стихов о «Москве кабацкой» не было бы.

В конце осени Есенин опять думал о своем журнале. С карандашами в руках, втроем, вместе с Софьей Андреевной, мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов.

Друзей действительных и друзей в кавычках у Есенина было огромное число. Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком.

Как правило, Есенин со всеми прост и деликатен. Если кто-нибудь говорил ему плохое о знакомом, он, слегка хмельной, считал своим долгом заступиться за оговоренного. А когда ему доказывали, что N.

все-таки плох, Есенин терялся и делал вид, что никак не может поверить этому.

Похоже было — на людей Есенин смотрел через какие-то свои, им самим сделанные розоватые очки. Люди у него все хорошие, порядочные. Но чувствовалось, что где-то глубоко у него затаено другое, которому Есенин сознательно не давал ходу.

Пожалуй, наибольшее дружеское расположение Есенин питал к Петру Орешину. Их связывало многое и в прошлом и в настоящем.

Очень хорошо относился к Ив. Касаткину, уважал А. Воронского.

Был близок с Вс. Ивановым, Б. Пильняком, И. Л. Вардиным, Л. Леоновым, Ив. Вольновым, М. Герасимовым, П. Радимовым, В. Александровским, Вл. Кирилловым и с некоторыми другими.

Одним из лучших современных писателей Есенин считал Вс. Иванова.

После долгой размолвки, примерно за месяц до клиники, Есенин первым помирился с Мариенгофом, зайдя к нему на квартиру.

Дня через два после примирения Есенин сказал мне:

— Я помирился с Мариенгофом. Был у него... Он неплохой.

Последние два слова он произнес так, как будто прощал что-то.

Очень ценил Н. Клюева, которого всегда называл своим учителем.

Из классиков своим любимым писателем называл Гоголя.

Толстого как моралиста не любил, но от некоторых его художественных произведений приходил в восторг.

Больше всего Есенин боялся... милиции и суда.

Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорбленный подал в суд. Есенин волновался и искал выхода.

Это обстоятельство использовала Екатерина.

Есенин около 20 ноября ночевал у своих сестер в Замоскворечье.

— Тебе скоро суд, Сергей,— сказала Екатерина утром.— Выход есть,— продолжала сестра,— ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься.

Есенин печально молчал. Через несколько минут он, словно сдаваясь, промолвил:

— Хорошо, да... я лягу.

А через минуту еще он принимал решение веселей.

— Правда. Ложусь. Я сразу покончу со всеми делами.

Дня через три после описанного разговора Есенин лег в психиатрическую клинику. Ему отвели светлую и довольно просторную комнату на втором этаже.

Последний раз у Есенина в клинике я был 20 декабря вместе с Екатериной.

За двадцать пять дней отдыха (срок лечения предполагался двухмесячный) Есенин внешне окреп, пополнел, голос посвежел, но, несмотря на старания врача А. Я. Аронсона, Есенин не имел покоя в клинике. Оставшиеся за стеной лечебного заведения то и дело тормошили его. В это время он порвал связь с С. А. Толстой. Одна старая знакомая пришла с поручением от З. Н. Райх, которая требовала деньги на содержание дочери, грозила Есенину судом и арестом денег в Госиздате. Денег в Госиздате оставалось мало, тяжело обременяли постоянные заботы о сестрах, о родителях. Срок лечения ему казался слишком длительным.

Из клиники Есенин решил ехать в Ленинград. Об этом он говорил больше всего. Впереди новая жизнь. Через Ионова устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать.

За вечер дважды читал мне три новых стихотворения. Одно, если не изменяет память, начинавшееся со строк:

Буря воет, буря злится,
. . . .
Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится... [3]
. . . .

поразило меня своей редкой силой выразительности и образности. Под свежим впечатлением оно показалось мне лучшим из всего написанного им за этот год.

На другой день Есенин покинул клинику.

Три дня я не видел его.

23 декабря, зайдя к С. А. Толстой, часов в шесть, слышу звонок. Открываю дверь. Входит Есенин и, не поздоровавшись, идет в комнату. Вещи готовы. Все уложено в чемоданы. Перед выходом Есенин дает мне госиздатовский чек на семьсот пятьдесят рублей — он не успел сегодня заглянуть в банк и едет в Ленинград почти без денег. Попросил выслать завтра же.

Через две недели мы должны были встретиться в Ленинграде...

В. И. ЭРЛИХ

ИЗ КНИГИ «ПРАВО НА ПЕСНЬ»

РЯЗАНЬ

Вечер.

Есенин лежа правит корректуру «Москвы кабацкой».

— Интересно!

— Свои же стихи понравились?

— Да нет, не то! Корректор, дьявол, второй раз в «рязанях» [1] заглавную букву ставит! Что ж он думает, я не знаю, как Рязань пишется?

— Это еще пустяки, милый! Вот когда он пойдет за тебя гонорар получать...

— Ну, уж это нет! Три к носу, не угодно ли? Пальцы левой руки складываются в комбинацию. Кончив корректуру, он швыряет ее на стол и встает с дивана.

— Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть! У меня — Рязань! Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! А у него — шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины!

СТИХИ

— Хорошие стихи Володя читал нынче. А? Тебе— как? Понравились? Очень хорошие стихи! Видал, как он слово в слово вгоняет? Молодец!

Есенин не идет, а скорей перебрасывает себя в другой конец комнаты, к камину. Кинув папиросу

в камин, продолжает, глядя на идущую от нее струйку дыма:

— Очень хорошие стихи... Одно забывает! Да не он один! Все они думают так: вот — рифма, вот — размер, вот — образ и — дело в шляпе. Мастер. Черта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь «Пугачева»? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть — вот тогда ты мастер!.. Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне мой учитель! Вот кто!

«ГУЛЯЙ-ПОЛЕ»

Утро.

Просыпаюсь оттого, что кто-то где-то, неподалеку от меня, злостно бубнит.

Подымаясь, вижу: Есенин в пижаме, босиком стоит возле книжного шкафа. Слышно только — сто один, сто два, сто три, сто четыре...

Подхожу к нему.

— Что ты делаешь?

— Погоди, не мешай! Сто восемь, сто девять, сто десять...

Лезу обратно.

Минуты через две:

— Кончил! Полтаву подсчитывал. Знаешь, у меня «Гуляй-поле» больше. Куда больше!

Кстати: отрывок из этой поэмы печатался в альманахе «Круг». Он же под заголовком «Ленин» вошел в Собрание сочинений. Где хранится остальная часть поэмы — мне неизвестно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вернулся Есенин. Он помутнел и как-то повзрослел.

— Милый! Да ты никак вырос за три недели!

— Похоже на то. В деревне был... С Сашкой...

— Пил?

— Нет. Немного. Стихи хочешь слушать? «Возвращение на родину». Посвящается Сашке [2].

После чтения:

— Слушай! А верь, я все-таки от «Москвы кабацкой» ушел! А? Как ты думаешь? Ушел? По-моему, тоже! Здорово трудно было!

И помолчав немного:

— Это что! Вот я поэму буду писать. Замеча-ательную поэму! Лучше «Пугачева!»

— Ого! А о чем?

— Как тебе сказать? «Песнь о великом походе» будет называться. Немного былины, немного песни, но главное — сделаю! Не веришь? Ей-богу, сделаю!

ПРИБЛУДНЫЙ

Приехал Приблудный. Ходит по городу в одних трусах. Выходим из дому — Есенин, я и голый Приблудный.

Есенин с первых же шагов:

— А знаешь, я с тобой не пойду! Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно. Понимаешь? Не нужно! Ты что? Думаешь, я поверю, что ты из спортивных соображений голый ходишь? Брось, милый! Ты идешь голым потому, что это входит в твою программу! А мне это не нужно! Понимаешь? Уже не нужно! Ну так вот. Ты иди по левой стороне, а я — по правой. С тем и расстались.

БЕЗДЕНЕЖЬЕ

До двенадцати — работает, не вылезая из кабинета. («Песнь о великом походе».)

В двенадцать одевается, берет трость (обязательно трость) и выходит.

Непременный маршрут: набережная, Летний сад, Марсово поле и по Екатерининскому каналу в Госиздат.

В Госиздате сидит у Ионова до трех, до пяти. Вечера разные: дома, в гостях.

На Гагаринской — пустая квартира. Сахаров в Москве, семья на даче.

Живем вместе.

Понедельник — нет денег.

Вторник — денег нет.

Среда — денег нет.

Четверг — нет денег...

И так вторую неделю.

Ежедневно, по очереди, выходим «стрелять» на обед.

Есенин, весело выуживая из камина окурок:

— А знаешь? Я, кажется, молодею! Ей-богу, молодею!

И слегка растерянно:

— И пить не хочется...

ПУШКИН

— Ты посмотри! Ведь пили они не меньше нашего! Ей-ей, не меньше! А пьянели меньше! Почему?

— Не знаю.

— И я не знаю! То есть, у меня есть одно соображение, только не знаю — верно ли? Я думаю, они и ели лучше нас! А?..

Слушай! Как ты думаешь? Под чьим влиянием я находился, когда писал «Москву кабацкую»? Я сперва и сам не знал, а теперь знаю. Мне интересно, что ты скажешь.

— Люди говорят — Блока.

— Так то люди! А ты?

— А я скажу — Пушкина.

Он заглядывает мне в глаза и тычет кулаком в бок.

— А чего именно? Ну, ну!

— А я думаю, вот чего:

На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил[3].

Есенин скачет, как кенгуру, и вопит на всю квартиру:

— Ай, умница! Вот умница! Первый человек понял! Ну и молодец! Только ты мне все-таки скажи, мне интересно, как ты догадался?

— А очень просто! У тебя на постели книжка лежит и открыта как раз на этих стихах.

— Та-а-к...

Он медленно опускается на стул.

— Так! Значит, и ты не умница, и я дурак... Аминь... Ну, теперь давай искать курево!

НА УЛИЦЕ

Саженный дядя лупит лошадь кнутовищем по морде. Есенин, белый от злости, кроет его по всем

матерям и грозит тростью. Собирается толпа. Когда скандал ликвидирован, он снимает шляпу и, обмахиваясь ею, хрипит:

— Понимаешь? Никак не могу! Ну никак!

Проходим квартал, другой.

— А знаешь, кого я еще люблю? Очень люблю!

Он краснеет и заглядывает в глаза:

— Детей.

ПРИЕХАЛИ

Брюсовский переулок. Дом «Правды». Седьмой этаж. Четыре звонка.

— Вот это — Катя! А вот это — Галя! Идет, как на велосипеде едет! Обрати внимание! Вот что!.. Надо зайти в «Стойло». Никогда не видал? Пойдем покажу. Романтика жизни моей в нем, друг ты мой!

СТОЙЛО

Тверская. «Стойло Пегаса».

Огромный, грязный сарай с простоватым, в форменной куртке, швейцаром, умирающими от безделья барышнями и небольшой стойкой, на которой догнивает десяток яблок, черствеет печенье и киснут вина.

Кто знает? Может быть, здесь когда-нибудь и обитала романтика.

Пока сидит Есенин, все настороже. Никто не знает, что случится в ближайшую четверть часа: скандал? безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он, наконец, подымется и уйдет. И все становится глубоко бездарным, когда он уходит.

ССОРА

Мы в гостях у Георгия Якулова. Есенин волнуется: нет вина. Он подходит ко мне и диктует:

— Слушай! Сходи, пожалуйста, домой, возьми у Гали деньги и приходи сюда. Вина купишь по дороге.

Я смущен.

— Знаешь, Сергей... Мне не хочется...

— Не хочется?..

Я знаю, что еще секунда, и он скажет слово, после которого я не смогу с ним встретиться.

Я молча поворачиваюсь и иду к двери.

Ночная Тверская. Бульвар.

Куда идти?

В Москве — Ричиотти и Шмерельсон. Ночуют у Шершеневича. Пойду к ним.

Шершеневич живет в маленьком одноэтажном флигельке.

Осторожно стучу в окно кабинета, где спят свои. Один из них, как спал — в подштанниках, открывает мне дверь. Оба рады: отбившийся от стада осел вернулся в стойло. Осторожно, стараясь не шуметь, я раздеваюсь и ложусь между ними.

Утро. Стук в дверь и голос Юлии Сергеевны:

— Можно?

Натягиваем одеяло до подбородков.

— Войдите!

Она входит в комнату, с изумлением смотрит на нас и бежит обратно.

— Вадим! Вадим! Вставайте! Ваши имажинисты размножаются почкованием!

Наскоро одевшись, иду на Брюсовский.

Есенин молчалив и серьезен.

Не глядя на меня, надевает шляпу и открывает дверь, пропуская меня вперед.

Так же молча мы выходим на Тверскую и спускаемся в подвал для обычного завтрака.

После долгого молчания он подымает на меня глаза. Они печальны и почти суровы.

— Разве я оскорбил тебя?

Я молчу.

— Если так, прости!

Тут только я начинаю понимать, что я совершил гнусность. Я предал его, занятый мыслью о том, что обо мне подумает Якулов! Вспотев от стыда, я подымаюсь на ноги.

— Сергей! Если можешь, забудь вчерашний вечер! Я готов служить тебе.

Он тоже подымается и смотрит мне в глаза.

— У тебя есть полтинник?

— Есть.

— Дай мне!

Он берет деньги и выходит на улицу. Раньше, чем

я успеваю сообразить, в чем дело, он возвращается и кладет передо мной коробку:

— У тебя нет папирос...

ПРИТЧА О ЦИЛИНДРАХ

— Так-с... Хочешь притчу послушать?

— Сам сочинил?

— Ума хватит. Так вот! Жили-были два друга. Один был талантливый, а другой нет. Один писал стихи, а другой — непечатное. Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет! Отсюда мораль: не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр!

Он закладывает левую руку за голову и читает:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе,—
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле[4].

— Хотел бы я знать, хорошие это стихи или плохие?

ЕЩЕ О ЛЕНИНГРАДЕ

Какой-то дурак из стихотворцев, отведя меня в сторону (мы были в редакции «Красной нови») и, очевидно, желая доставить мне удовольствие, сказал:

— Знаете, я вам очень сочувствую! Дружба с Есениным — неблагодарная вещь!

Вспоминаю. Было это еще в Ленинграде. Есенин среди бела дня привел меня в кавказский погребок на Караванной и угостил водкой. Это была первая настоящая водка в моей жизни, а потому через час я был «готов». Когда я, наконец, продрал глаза, был уже вечер. Есенин сидел рядом со мной на диване и читал газету. Нетронутая рюмка водки стояла перед ним на столе.

«ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ПРЕКРАСНОМ»

Мы выходим из «Стойла». Он идет некоторое время молча, углубленный в газету, затем, не глядя, спрашивает:

— О чем с тобой говорил Грузинов?

— Об участии нашем, ленинградцев, в «Гостинице».

— Ну и что?

— Ничего. Я сказал, что за других я не ответчик, а сам буду участвовать в журнале только в том случае, если мы войдем соредакторами. Разумеется, попытаюсь повлиять и на других.

— Так. А ты не думаешь, что они твое поведение поймут как результат моего влияния?

— Думаю.

— Боишься?

— Не слишком.

— Ну, смотри! Мне-то есть где печататься и без них. А ты что делать будешь?

— Ничего.

— Заладила сорока Якова! «Ничего, ничего!» Что ж, мне для тебя специальный журнал открывать? Ты смотри, дурака не валяй! Ты что думаешь, непризнанный гений? Так имей в виду, что непризнанных гениев в этом мире не бывает! Это, брат, неудачники выдумали! Хм... А ребятам, пожалуй, скажи, чтобы действительно не торопились в «Гостиницу» идти! Я, пожалуй, и в самом деле журнал открою!..

ГАЛЯ

— Сергей Александрович! Костюмы ваши в полном порядке! Починены, вычищены! Имейте в виду!

— Та-а-к...

Он медленно поворачивается ко мне.

— Запомнишь, что я тебе сейчас скажу?

— Запомню.

— Ну так вот! Галя — мой друг! Больше, чем друг! Галя — мой хранитель! Каждую услугу, оказанную Гале, ты оказываешь лично мне! Аминь?

— Аминь.

ПОЭЗИЯ

Если он не пишет неделю, он сходит с ума от страха.

Есенин, не писавший в свое время два года, боится трехдневного молчания.

Есенин, обладавший почти даром импровизатора, тратит несколько часов на написание шестнадцати строк, из которых треть можно найти в старых стихах.

Есенин, помнивший наизусть все написанное им за десять лет работы, читает последние стихи только по рукописи. Он не любит этих стихов.

Он смотрит на всех глазами, полными безысходного горя, ибо нет человека, который бы лучше его понимал, где кончается поэзия и где начинаются только стихи.

Утром он говорит:

— У меня нет соперников и потому я не могу работать.

В полдень он жалуется:

— Я потерял дар.

В четыре часа он выпивает стакан рябиновой, и его замертво укладывают в постель.

В три часа ночи он подымается, подымает меня, и мы идем бродить по Москве.

Мы видим самые розовые утра. Домой возвращаемся к чаю.

МОСКВА-РЕКА

Пятый час утра.

Мы лежим на песке и смотрим в небо.

Совсем не московская тишина.

Он поворачивается ко мне и хочет говорить, но у него дрожат губы и выражение какого-то необычайно чистого, почти детского горя появляется на лице.

— Слушай... Я — конченый человек... Я очень болен... Прежде всего — малодушием... Я говорю это тебе, мальчику... Прежде я не сказал бы этого и человеку вдвое старше меня. Я очень несчастлив. У меня нет ничего в жизни. Все изменило мне. Понимаешь? Все! Но дело не в этом... Слушай... Никогда не жалей меня! Никогда не жалей меня, кацо! Если я когда-нибудь замечу... Я убью тебя! Понимаешь?

Он берет папироску и, не глядя на меня, закуривает.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

— Госиздат купил. У меня и у Маяковского. Приятно будет перелистывать, а? Как ты думаешь? По-моему — приятно! Вот только переделать кое-что

надо. Я тут кое-где замены сделал, да не знаю, хорошо ли. Помнишь, у меня было:

Славься тот, кто наденет перстень
Обручальный овце на хвост[5].

Я думаю переделать. Что ты скажешь?

— По-моему, не стоит. Слово не воробей.

— Так-то так, да овца-то мне теперь не к лицу! Старею я, вот в чем дело! Я и «Сорокоуст» подчистил.

ЯЗЫК

Он второй день бродит из угла в угол и повторяет стихи:

Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

— А? Каково? Пред твоими слабыми сынами! Ведь это он про нас! Ей-богу, про нас! И про меня! Не пиши на диалекте, сукин сын! Пиши правильно! Если бы ты знал, до чего мне надоело быть крестьянским поэтом! Зачем? Я просто — поэт, и дело с концом! Верно?

ОТЪЕЗД

— Вот что! Ты уехать хочешь? Уезжай! Теперь не держу. Хотел я, чтобы ты у меня на свадьбе был, да теперь передумал. Запомни только: если я тебя позову, значит, надо ехать. По пустякам тревожить не стану. И еще запомни: работай, как сукин сын! До последнего издыхания работай! Добра желаю! Ну, прощай! Да! Вот еще: постарайся не жениться! Даже если очень захочется, все равно не женись! Понял?

ВТОРАЯ РАЗЛУКА

26.VII—25.

Открытое письмо от Софьи Андреевны Толстой. Ростов н/Д. Вокзал.

Приписка Есенина:

Милый Вова,
Здорово.
У меня — не плохая
«Жись»,
Но если ты не женился,
То не женись.

Сергей [6].

Ноябрь.

Захожу как-то в Союз писателей на Фонтанке. Кто-то сообщает:

— Есенин в Питере. Ищет вас. Потерял адрес. По привычке, иду на Гагаринскую.

Он действительно был, искал, не нашел, уехал.

Декабрь, 7-е.

Телеграф: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

ЧЕТВЕРГ

С утра мне пришлось уйти из дому.

Вернувшись, я застал комнату в некотором разгроме: сдвинут стол, на полу рядком три чемодана, на чемоданах записка:

«Поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова? Жду тебя там. Сергей» [7].

Выхожу.

У подъезда меня поджидает извозчик.

— Федоров заперт был, так они приказали везти себя в «Англетер». Там у них не то приятель живет, не то родственник.

Родственником оказался Г. Ф. Устинов, приятель Есенина, живший в сто тридцатом номере гостиницы.

Есенина я застал уже в «его собственном» номере в обществе Елизаветы Алексеевны Устиновой и жены Григория Колобова, тоже приятеля Есенина по дозаграничному периоду.

Сидели не долго.

Я поехал домой, Есенин с Устиновой — по магазинам (предпраздничные покупки).

Перед уходом пробовал уговорить Есенина прожить праздники у меня на Бассейной.

Ответ был следующий:

— Видишь ли... Мне бы очень хотелось, чтобы эти дни мы провели все вместе. Мы с Жоржем (Устинов) ведь очень старые друзья, а вытаскивать его с женой каждый день на Бассейную, пожалуй, будет трудновато. Кроме того, здесь просторнее.

Вторично собрались часа в четыре дня. В комнате я застал кроме упомянутых самого Устинова и Ушакова (журналист, проживавший тут же, в «Англетере»). Несколько позже пришел Колобов. Дворник успел к тому времени перевезти вещи Есенина сюда же. К девяти мы остались одни.

Часов до одиннадцати Есенин говорил о том, что по возрасту ему пора редактировать журнал, как Некрасову, о том, что он не понимает и не хочет понимать Анатоля Франса, и о том, что он не любит писем Пушкина.

— Понимаешь? Это литература! Это можно читать так же, как читаешь стихи. Порок Пушкина в том, что он писал письма с черновиками. Он был больше профессионалом, чем мы.

Говорили о Ходасевиче.

Из двух стихотворений — «Звезды» и «Баллада»— Есенин предпочел первое.

— Вот дьявол! Он мое слово украл! Ты понимаешь, я всю жизнь искал этого слова, а он нашел.

Слово это: жидколягая.

— А «Баллада»?

— Нет, «Баллада» не то! Это, брат, гофманщина! А вот первое — прелесть!

Незаметно заснули.

ПЯТНИЦА

Проснулись мы часов в шесть утра.

Первое, что я услышал от него в этот день:

— Слушай, поедем к Клюеву!

— Поедем.

— Нет, верно поедем?

— Ну да, поедем. Только попозже. Кроме того, имей в виду, что адреса его я не знаю.

— Это пустяки! Я помню... Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его.

Часов до девяти лежа смотрели рассвет. Окна номера выходили на Исаакиевскую площадь. Сначала свет был густой синий. Постепенно становился реже и голубее. Есенин лежа напевал:

Синий свет, свет такой синий! [8]

В девять поехали. Пришлось оставить извозчика и искать пешком. Мы заходили в десятки дворов. Десятки дверей захлопывались у нас под носом. Десятки жильцов орали, что никакого Клюева, будь он трижды известный писатель (а на последнее Есенин очень напирал в объяснениях), они не знают и знать не хотят. Номер дома, как водится, был благополучно забыт. Пришлось разыскать автомат и по телефону узнать адрес.

Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял:

— Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!

Несколько минут спустя:

— Николай! Можно прикурить от лампадки?

— Что ты, Сереженька! Как можно! На вот спички!

Закурили. Клюев ушел умываться. Есенин, смеясь:

— Давай подшутим над ним!

— Как?

— Лампадку потушим. Он не заметит! Вот клянусь тебе, не заметит.

— Нехорошо. Обидится.

— Пустяки! Мы ведь не со зла. А так, для смеха.

Потушил.

— Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.

Клюев действительно не заметил.

Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров. Есенин читал последние стихи.

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай.

Учитель слушал.

Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали.

Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи.

Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России.

Ничего другого, по совести, он не мог и сказать.

Есенин помрачнел.

Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел.

Пришли Устиновы. Елизавета Алексеевна принесла самовар. С Устиновыми пришел Ушаков и старик писатель Измайлов. Пили чай. Есенин снова читал стихи, в том числе и «Черного человека». Говорил:

— Снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза (Устинова) будет хозяйка. Возьму у Ионова журнал. Работать буду. Ты знаешь, мы только праздники побездельничаем, а там — за работу.

Перед сном снова беседа:

— Ты понимаешь? Если бы я был белогвардейцем, мне было бы легче! То, что я здесь, это не случайно. Я здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь. Поэтому я не ропщу. Но если бы я был белогвардейцем, я бы все понимал. Да там и понимать-то, в сущности говоря, нечего! Подлость — вещь простая. А вот здесь... Я ничего не понимаю, что делается в этом мире! Я лишен понимания!

СУББОТА

Вот тут я начинаю сбиваться. Пятница и суббота — в моей памяти — один день. Разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали. Разговоры были одни и те же: квартира, журнал, смерть. Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно: праздники, все закрыто. Кроме того, и денег у него было немного. А к субботе и вовсе не осталось. Пел песню.

Вечером:

— А знаешь, ведь я сухоруким буду!

Он вытягивает левую руку и старается пошевелить пальцами.

— Видал? Еле-еле ходят. Я уж у доктора был. Говорит — лет пять-шесть прослужит рука, может, больше, но рано или поздно высохнет. Сухожилия, говорит, перерезаны, потому и гроб.

Он помотал головой и грустно охнул:

— И пропала моя бела рученька... А впрочем, шут с ней! Снявши голову... как люди-то говорят?

ВОСКРЕСЕНЬЕ

С утра поднялся галдеж.

Есенин, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его хотели взорвать. Дело было так.

Дворник пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил: «Пожалуйста!»

Есенин пошел мыться, но вернулся с криком, что его хотели взорвать. Оказывается, колонку растопили, но воды в ней не было — был закрыт водопровод. Пришла Устинова.

— Сергунька! Ты с ума сошел! Почему ты решил, что колонка должна взорваться?

— Тетя Лиза, ты пойми! Печку растопили, а воды нет! Ясно, что колонка взорвется!

— Ты дурень! В худшем случае она может распаяться.

— Тетя Лиза! Ну что ты, в самом деле, говоришь глупости! Раз воды нет, она обязательно взорвется! И потом, что ты понимаешь в технике!

— А ты?

— Я знаю!

Пустили воду.

Пока грелась вода, занялись бритьем. Брили друг друга по очереди. Елизавета Алексеевна тем временем сооружала завтрак.

Стоим около письменного стола: Есенин, Устинова и я. Я перетираю бритву. Есенин моет кисть. Кажется, в комнате была прислуга.

Он говорит:

— Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!

Он засучил рукав и показал руку: надрез. Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку.

Кончили они так:

— Сергунька! Говорю тебе в последний раз! Если повторится еще раз такая штука, мы больше незнакомы!

— Тетя Лиза! А я тебе говорю, что если у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку! Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра!

— Чернила будут. Но если тебе еще раз взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут, можешь подождать до утра. Ничего с тобой не случится.

На этом поладили.

Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи.

Говорит, складывая листок вчетверо и кладя его в карман моего пиджака:

— Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочитает.

Вслед за этим пошли: ванна, самовар, пиво (дворник принес бутылок пять-шесть), гусиные потроха, люди. К чаю пришел Устинов, привел Ушакова. Есенин говорил почти весело. Рассказывал про колонку. Бранился с Устиновой, которая заставляла его есть.

— Тетя Лиза! Ну что ты меня кормишь? Я ведь лучше знаю, что мне есть! Ты меня гусем кормишь, а я хочу косточку от гуся сосать!

К шести часам остались втроем: Есенин, Ушаков и я.

Устинов ушел к себе «соснуть часика на два». Елизавета Алексеевна тоже.

Часам к восьми и я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель. Ушакова уже не было.

Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично.

На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой: никого в номер не пускать.

Е. А. УСТИНОВА

ЧЕТЫРЕ ДНЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

1

В ноябре 1925 года вошел к нам в номер гостиницы «Англетер», в Ленинграде, поэт Сергей Александрович Есенин. От былого здоровья, удали осталась только насмешливая улыбка, а волосы, те прекрасные, золотые волосы, совсем посерели, перестали виться, глаза тусклые, полны грусти, красноватые, больные веки и хриплый, еле слышный голос.

— Сереженька, что с тобой?

— Болен я, тетя *, вот, думаю лечиться скоро в Москве у лучших профессоров.

Он был такой исстрадавшийся, растерянный, неспокойный, все время что-нибудь перебирал руками. Пришел не один — с поэтом Н. П. Савкиным. Читал свои последние произведения.

В этот его приезд мы виделись два раза. В день отъезда он пел хрипловатым приглушенным голосом вместе с Савкиным рязанские частушки...

2

Через месяц, 24 декабря 1925 г., утром в 10—11 часов к нам почти вбежал в шапке и шарфе сияющий Есенин.

— Ты откуда, где пальто, с кем?

— А я здесь остановился. Сегодня из Москвы, прямо с вокзала. Мне швейцар сказал, что вы тут, а я хотел быть с вами и снял пятый номер. Пойдемте ко

* Есенин звал автора воспоминаний «тетей».

мне. Посидим у меня, выпьем шампанского. Тетя, ведь это по случаю приезда, а другого вина я не пью.

Пошли к нему. Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь — пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернется — словом, говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем. Вещи он оставил сначала у поэта В. Эрлиха и ждал теперь его приезда с вещами.

Есенин попросил у меня поесть, а потом мы с ним поехали вечером покупать продовольствие на праздничные дни. Есенин рассказывал о том, что стихов больше не пишет, а работает много над большой прозаической вещью — повесть или роман. Я попросила мне показать. Он обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть. Рассказывал о замужестве своей сестры Кати, подшучивал над собой, что он-то уж избавлен от всякой женитьбы, так как три раза был женат, а больше по закону не разрешается.

Первый день прошел в воспоминаниях прошлого и в разговорах о ближайшем будущем. Поэта Эрлиха мы просили искать общую квартиру: для нас и Сергея Александровича.

Я сначала не соглашалась на такое общежитие, но Есенин настаивал, уверяя, что не будет пить, что он в Ленинград приехал работать и начать новую жизнь.

В этот день мы разошлись довольно поздно, а на другой день (26 декабря) Есенин нас разбудил чуть свет, около пяти часов утра. Он пришел в красном халате, такой домашний, интимный. Начались разговоры о первых шагах его творчества, о Клюеве, к которому Есенин хотел немедленно же ехать. С трудом его уговорили немного обождать, хотя бы до полного рассвета.

Днем, в 11—12 часов, в номере Есенина были Клюев, скульптор Мансуров и я. Мы сидели на кушетке и оживленно беседовали. Сергей Александрович познакомил меня с Клюевым:

— Тетя, это мой учитель, мой старший брат.

Я недолго была у Сергея Александровича. Как потом передавали, они сумели поспорить, но разошлись с тем, чтобы на другой день встретиться. Есенин назавтра говорил, что он Клюева выгнал. Это было не совсем так.

В тот день было немного вина и пива. Меня, помню, поразил один поступок Есенина: он вдруг запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить.

Помню, заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову и изредка поправляя волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашивала я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!

— Ну, а твое творчество?

— Скучное творчество! — Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато.— Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское, вот веселит, бодрит. Всех тогда люблю и... себя! Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь «*божья дудка*».

Я попросила объяснить, что значит «божья дудка».

Есенин сказал:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же.

Он смеялся с горькой складочкой около губ.

Пришел Г. Ф. Устинов с писателем Измайловым и Ушаковым, подошел Эрлих. Есенин читал свои стихи. Несколько раз прочел «Черного человека» в законченном виде, значительно сокращенном.

Разбирали вчерашний визит Клюева, вспоминали один инцидент. Н. Клюев, прослушав накануне стихи Есенина, сказал:

— Вот, Сереженька, хорошо, очень хорошо! Если бы их собрать в одну книжку, то она была бы настольной книгой всех хороших, нежных девушек.

Есенин отнесся к этому пожеланию неодобрительно, бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его. Вспоминая об этом сегодня, Есенин смеялся.

3

27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может взорваться ванна: там будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет.

Я сказала, что когда будет все исправлено, его позовут.

Я зашла к нему. Тут он мне показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза.

Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью.

Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака.

Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил:

— Потом прочтешь, не надо!

Позднее мы снова сошлись все вместе. Я была не все время у него, то выходила, то снова приходила. Вечером Есенин заснул на кушетке. За ужином Есенин ел только кости и уверял, что только в гусиных костях есть вкус. Все смеялись.

В этот день все очень устали и ушли от него раньше, чем всегда. Звали его к себе, он хотел зайти — и не пришел.

4

28-го я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, подошел Эрлих — и мы вместе стучались. Я попросила, наконец, коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату: кровать была не тронута, я к кушетке — пусто, к дивану — никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла...

Владимир МАЯКОВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?»


сенина я знал давно — лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей... [1]
Небо — колокол, месяц — язык... [2]

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя — родина,
Я — большевик... [3] —

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник [4]. Не молоконосной корове а ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья — есенинцы.

Оказалось, не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей [5].

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Н. Н. НИКИТИН

О ЕСЕНИНЕ

Сколько было знакомых, приятелей, друзей в кавычках, сближений с женщинами, и обо всем этом Есенин писал в своих стихах: «легкие друзья», «легкие подруги», «вспыльчивые связи». А вот истинной дружбы и, быть может, истинной любви, как он ее понимал, мне кажется, ему не хватало. И не потому ли он так часто тосковал об этом: «Друзей так в жизни мало!..», «Ни друга, ни жены» — эта тема кочевала у Есенина из одного стихотворения в другое еще с 1922 года. Его предсмертное обращение к другу («До свиданья, друг мой, до свиданья») мне представляется просто поэтическим и отчасти «бытовым» приемом. Как в «Черном человеке». Я думаю, что тот, кто получил эту предсмертную записку поэта, написанную кровью, как сообщали газеты того времени, не был истинным другом поэта. Быть может, только в бакинском стихотворении («Прощай, Баку!») есть настоящее, а не только прием: «В последний раз я друга обниму...»

И до смерти Есенина, и после мне неоднократно приходилось слышать о его невероятной общительности. Да, он был очень общителен. Я это видел сам. Мы, люди его поколения, это помним. Но в этой общительности была в то же время и сдержанность. На мой взгляд, Есенин вовсе не был так прост, как думается. Он был человек по-своему и сложный и простой. И до известной степени замкнутый, как это ни странно говорить о нем, прожившем свои дни среди шума. Но недаром же Есенин писал еще в 1922 году: «Средь людей я дружбы не имею...»

Последней его женой была С. А. Толстая, ныне тоже покойная. И хоть бесцельно теперь гадать, каким бы руслом пошла их жизнь, но, когда думаешь о близких людях, трудно не высказать предположений. В жизни случается всякое. Кто знает, если бы Есенин остался жив, если бы он еще пережил несколько лет, если бы перешагнул через эти критические житейские перевалы, быть может, его судьба сложилась бы по-иному? Хотя, откровенно говоря, мне трудно себе представить есенинскую судьбу обычной судьбой. Но встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не «проходным» явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелегкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:

— Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил...

— Но что другое?..

Он махнул рукой, промолчал.

С. А. Толстая была истинная внучка своего деда. Даже обликом своим поразительно напоминала Льва Николаевича. Она была человеком широким, вдумчивым, серьезным, иногда противоречивым, умела пошутить, всегда с толстовской меткостью и остротой разбиралась в людях.

Я понимаю, *что* привлекло Есенина, уже уставшего от своей мятежной и бесшабашной жизни, к Софье Андреевне. Это были действительно уже иные дни, иной период его биографии. В этот период он стремился к *иной жизни*. В 1924 году были написаны «Песнь о великом походе», «Поэма о 36» (о «клокочущем пятом годе»). В том же году появилась баллада о двадцати шести комиссарах, стихотворение о Ленине: «Еще закон не отвердел...» Тогда же (1925 г.) было опубликовано большое «программное» стихотворение «Мой путь». Это был взгляд в будущее и в то же время оглядка на прошлое.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,

Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой...

Но в этом же самом 1925 году Есениным была написана поэма «Черный человек» (трагическое содержание ее известно) [1].

Я не претендую на звание «друга» Есенина прежде всего потому, что у меня такое же понятие о дружбе, какое было и у него. Но я знал Есенина главным образом в течение последних трех лет его жизни, и мне захотелось кое-что дополнить к появившимся уже биографическим материалам о нем.

В «Огоньке» (1960, № 40) литературовед Ю. Прокушев пишет, что Есенин «живо следил за творчеством писателей-современников». Ю. Прокушев приводит несколько фраз из воспоминаний какого-то писателя, но фамилию его не называет. Есенин будто бы встретился этому писателю на Тверской «с пачкой книг издания «Круг», которую он нес...» И сказал при этом: «Занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы».

Конечно, Есенин мог нести пачку книг из издательства и даже мог сказать что-нибудь такое. Но мало ли что Есенин сказал! То, что говорим мы случайно, часто не соответствует истине, и главное — во всей этой фразе мне чувствуется совсем не есенинская интонация... И звучит-то она стандартно.

20-е годы. Все мы были молоды. Очень молоды. И не знали писателей моложе нас. Стариков из скромности, иногда из почтительности, а иногда из своеобразного и, пожалуй, глуповатого «гонора» мы не считали своими современниками. За творчеством действительно своих современников, то есть современников по возрасту, мы не умели «живо следить» и уж тем более не умели «просматривать» их творчество. Мы все вместе кипели в общем котле тогда еще только закипавшей советской литературы. Мы не делились ни на поэтов, ни на прозаиков. Среди нас не было «метров». Не был метром и Есенин.

Мы с жадностью не «просматривали», а «проглатывали» сочинения друг друга. Но, конечно, это еще не значит, что мы читали «пачками». Вспоминая Есенина, я могу утверждать, что Есенин мало интересовался прозой. Поэтов знал отлично. Это верно. А в прозе... Да вот в подтверждение один пример. Однажды я спросил его мнение о книгах очень одаренного, хорошо известного многим в те времена прозаика. Есенин вдруг смутился:

— Я не читал, понимаешь... Я очень редко читаю современную прозу. Боюсь. Большинство из прозаиков — мои приятели... Как и он! А вдруг он скверно пишет? Ну как же дальше я буду с ним встречаться?

Это было сказано искренним голосом, идущим от сердца, почти по-детски, даже без улыбки, и, только увидав, что я словно ошарашен, Есенин рассмеялся.

За все годы встреч с ним, если между нами затевался литературный разговор, мы говорили большей частью о поэзии.

Он не любил «прю...», то есть «прений». Длинных разговоров. Его вполне устраивали короткие реплики, и больше всего — эмоциональное отношение слушателя. Этим мы и довольствовались. В этом смысле чуткость его была феноменальной.

Однажды, приехав в Ленинград, он прочитал мне только что написанную «Анну Снегину». Строфы звонко раскатывались по большой комнате бывшей барской квартиры двухэтажного особняка у Невы на Гагаринской улице.

И вот эта поэма словно прокатилась мимо меня по паркету. Есенин кончил, а я молчал.

— Ну и молчи! — сердито буркнул он.

Вечером мы снова встретились, гуляли по набережной Невы, неподалеку от Зимней канавки. Есенин любил это место. Оно ему напоминало пушкинские времена.

Я попытался объяснить свое молчание после «Анны Снегиной», но Есенин мгновенно перебил меня жестом.

— Да ладно... Не объясняй. Чего там... На твоем лице я вижу больше, чем ты думаешь. И даже больше, чем скажешь.

— Ну, я еще ничего не сказал! Не торопись. А если хочешь, так выслушай...

Есенин приготовился слушать.

Я говорил, что «Снегина» хорошая поэма, что Есенин не может написать дурно. Но что фон ее эпический. И вот это обстоятельство все меняет. Говорил я главным образом о том, что мне многое ново в поэме. Например, картины революции в деревне. Что по всем строфам и в ряде сцен рассыпаны социальные страсти.

— Этого раньше у тебя не было. Здóрово даны образы... Но ведь Оглоблин Прон все-таки недописан. Как его расстреляли деникинские казаки, дошедшие до Криушей... А как он умирал? Разве это не важно? Как мужики из-за земли убили «фицера Борю», мужа Анны?

В общем у меня был свой взгляд на поэму. Я чувствовал за ней большой классический роман в стихах.

Есенин метнулся в мою сторону.

— «Евгения Онегина» хочешь? Так, что ли?.. «Онегин»?

— Да.

Может быть, эти мои мысли были абсурдны. Быть может, кое-что я уже прибавил сейчас, ведь воспоминания не протокол. Но я твердо помню, что мы долго разговаривали на гранитной набережной, гуляя взад и вперед. Мне помнится, как я говорил, что «Снегина» стала бы шедевром, если бы...

Критика в общем признала ее и до сих пор считает одним из лучших революционных произведений Есенина. Возможно, она и права, и я субъективен. Но в тот вечер мы еще не знали, что скажут критики, и руководствовались лишь своими мнениями.

Помню, как Есенин стал задумчив. Он умел слушать, а не только соглашаться с благожелательными, эмоциональными, вкусовыми оценками.

Мы вернулись на квартиру на Гагаринской. В передней на подоконнике был небрежно брошен черный плащ, черный мятый цилиндр. При мне Есенин никогда не надевал этого наряда. Я тут же вспомнил литературное общество «Колос» и «Кафтанчик»...

Есенин перехватил мой взгляд, иронически усмехнулся.

— Привез зачем-то из Москвы эту дрянь! Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать «Онегина». Ты прав... Но... Нет уж... Что делать? Пусть останется в «Снегиной» все так, как было.

На искренности всегда держались наши отношения. Не помню, чтобы он лицемерил, чтобы своим товарищам он говорил дежурные любезности.

Кстати, он с откровенностью проявлял свое отношение к Маяковскому. Таким же откровенным был с ним и Маяковский. Они, конечно, не были друзьями, они были полярны, но через год после смерти Есенина, по-моему, лишь один Маяковский высказал истинное отношение к поэту Есенину в стихотворении «Сергею Есенину». Мне подчас кажется, что стихи «Сергею Есенину» — не стихи... Это воистину —

В горле
горе комом...

О Есенине, при его шумной жизни, ходили всякого рода «легенды». Вернее, «лыгенды», как называл всякого рода сплетни Лесков. Ходят они и теперь. Я предпочел бы не распространяться на эту тему. Есенин, конечно, не был ангелом, но я предпочитаю следовать не за распространителями «дурной славы», которая сама бежит, а за Анатолем Франсом. Франс очень верно и мудро говорил о Верлене: «...нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладает правами, которых у нас нет, ибо он стоит несравненно выше и вместе с тем несравненно ниже нас. Это — бессознательное существо, и это — такой поэт, который встречается раз в столетие»[2].

Я верю в то, что это же самое вполне приложимо к Есенину.

Мне трудно писать о Есенине в хронологическом порядке. Сейчас я перейду к тому, с чего мне и хотелось начать этот рассказ.

Шла империалистическая война. Собственно говоря, она уже почти «прошла». Кончалась по крайней мере для России.

Я только что вернулся в Петроград с Рижского фронта. Там, на участке батальона, которым коман-

довал мой близкий товарищ, я случайно попал в бой. Он начался на рассвете... На болотной полосе в долине, засыпанной мокрым снегом, которая разделяла наши передовые позиции от немецких, полз туман. Одна цепь наших стрелков за другой, спускаясь в долину, исчезала в нем. Там мутным сплошным огнем вспыхивали разрывы. Немцы били из тяжелых орудий. За три дня боев от батальона осталась пятая часть. Оставшиеся отказались идти в бесплодные атаки. Начались репрессии. Многих солдат арестовали, отправили в арестантские роты, а несколько десятков человек тут же на фронте расстреляли.

Подавленный виденным, я вернулся в Петроград. Один приятель, «грешивший» стихами, привел меня «рассеяться» на Жуковскую улицу. Там, в одном из домов возле Греческой церкви, помещалось общество крестьянских поэтов под названием «Колос». В «Колосе» был вечер поэзии. Участвовали Есенин и Клюев. В ту пору эти имена мне ничего не говорили.

Дородный Клюев, с пшеничными усами, с кудрявой шевелюрой ямщика, читал свои стихи, нелепо шаманя, кривляясь. Крестьян-поэтов в «Колосе» я что-то не увидел. Вместо них я приметил двух-трех молодых людей, весьма отглаженных, с удивительными проборами, да небольшую группу молоденьких танцовщиц из Мариинского театра. Когда Клюеву из благожелательности поаплодировали, на эстраде появился другой поэт, обряженный так же, как и Клюев, в кафтан. Что-то прекрасное чувствовалось в его глазах и в молодом голосе, и поэзия этого поэта показалась мне очень самобытной. Почуялось, что в поле запела свирель.

После «вечера» я не мог удержаться и, ни о чем не раздумывая, отправился за кулисы, в так называемую артистическую. Не помню, как я «представился» Есенину. Не помню, о чем мы стали разговаривать...

Оказалось, что мы одногодки, сверстники.

— Ты что же, интересуешься стихами? — спросил меня Есенин.— Ты солдат?

— Нет, я студент университета. Я только что вернулся с фронта и не успел снять солдатскую форму.

Я там был с подарками. Сюда же я попал случайно.

— Почему вы так одеваетесь? — вдруг после паузы бесцеремонно спросил я Есенина.— К чему этот кафтанчик и лаковые с набором сапожки? Святочный маскарад?

— Ты думаешь, только Маяковский может носить желтую кофту?.. Садись.

Я сел на диванчик. Мы продолжали разговор, и я рассказал Есенину все, что видел на фронте под Ригой.

— Вот когда вы читали вашу «Корову»:

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок,—

мне вспомнилось иное... Я видел разбросанные по болоту трупы молодых солдат. Еще и до сих пор они там лежат. Их тоже треплет ветер, засыпает снег.

— Ужас... Я этого не испытал,— сказал Есенин и встряхнулся всем телом.— Знаешь что? Поедем ко мне.

Я поехал.

С той поры мы не виделись до осени 1923 года, когда встретились в издательстве «Круг». Есенин вернулся из поездки по Америке, Франции, Германии, после разрыва с Айседорой Дункан. Я вернулся из Англии. Мы поделились пережитым за все минувшие годы. Наше знакомство возобновилось. Но никто из нас никогда не вспоминал поэтического вечера в обществе «Колос». Не могу понять — почему, ведь оба отлично помнили об этом.

Кстати, в том же 1923 году Есенин (это было уже в Москве) однажды показал мне свою фотокарточку, на которой он был снят в солдатском обмундировании. Он выглядел на ней очень «бравым» солдатиком, аккуратным не по-окопному. Помнится, будто бы он говорил мне, что служил санитаром, кажется, в каком-то госпитале Царского Села. К сожалению, в моей памяти не уцелели все подробности. И сейчас завел я этот разговор лишь потому, что в Литературной энциклопедии (том IV, стр. 80) о Есенине напи-

сано, что он «был мобилизован в 1916 году, а после Февральской революции дезертировал с фронта». Мне с ним не пришлось разговаривать по этому поводу, но этот момент его биографии хорошо бы выяснить. В «Снегиной» он писал о себе: «Война мне всю душу изъела», «Я бросил мою винтовку...» Как же все это было?

1924 год, разгар нэпа. Поздний летний вечер. Есенин вместе со мной приехал в один из кварталов Москвы, который не славился своей безопасностью. По улицам и переулкам брели разные люди, одни о чем-то споря, другие со смехом, видимо выпившие. Тут были всякого рода подонки, продажные женщины, воры, бездомники и беспризорники. Они направлялись к Ермаковке. Так называлась московская ночлежка. Когда и мы с Есениным вошли туда же, мне вспомнилась надпись над вратами дантовского ада: «Оставь надежду всяк, сюда входящий».

«Есенин... Есенин... Есенин» — послышался мне шепот. Я оглянулся. У обитателей Ермаковки наморщенные лица. В глазах светится холодное любопытство. Некоторые смотрят недружелюбно. Есенин чувствует это. Он идет по проходу между нарами, сутулясь, как писал о себе в одном из стихотворений, будто сквозь строй его ведут.

На Есенине заграничное серое пальто, заграничная серая шляпа с заломом, обычный, как всегда, белый шелковый шарф. Но вскакивает он на первые попавшиеся ему нары, и с него будто разом сдувает всю благоприобретенную «Европу».

Он начинает чтение «Москвы кабацкой». Этим он, очевидно, задумал «купить» своих новых слушателей. Но чем надрывнее становился его голос, тем явственнее вырастала стена между хозяевами и гостем поэтом. На лице Есенина появилась синеватая бледность, он растерялся, а ведь он говорил, что ни к одному из своих выступлений он не готовился так, как к этому, никогда так не волновался, как отправляясь на эту встречу.

А ведь сюда его никто не приглашал. Здесь его вообще не ждали. И когда он начал читать свой

«кабацкий цикл», слушатели посматривали на Есенина: одни с недоумением, другие неодобрительно.

Сейчас я думаю, что такой прием со стороны ермаковцев психологически совершенно понятен. Как могли они воспринять, да еще в стихах, весь тот «бытовой материал», где все так было близко им и в то же время, очевидно, ненавистно...

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт [3].

Есенин мнет свой белый шарф, голос его уже хрипит, а «бандиты» и «проститутки» смотрят на Есенина по-прежнему бесстрастно. Не то что братья-писатели из Дома Герцена, в ресторане-подвальчике. Положение осложнялось. Все мрачнее становились слушатели.

И вдруг Есенин, говоря по-современному, резко поворачивает ручку штурвала.

Он читает совсем иные стихи — о судьбе, о чувствах, о рязанском небе, о крушении надежд златоволосого паренька, об отговорившей золотой роще, о своей «удалой голове», о милых сестрах, об отце и деде, о матери, которая выходит на дорогу в своем ветхом шушуне и тревожно поджидает любимого сына — ведь когда-то он был и «кроток» и «смиренен»,— и о том, что он все-таки приедет к ней на берега Оки.

Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть[4].

Что сталось с ермаковцами в эту минуту! У женщин, у мужчин расширились очи, именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь уже большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она... Плакали и бородачи. Им тоже в их «пропащей» жизни не раз мерещились и родная семья, и все то, о чем не можешь слушать без слез. Прослезился даже начальник Московского уголовного розыска, который вместе с нами приехал в Ермаковку. Он «сопровождал» нас для безопасности. Он был в крылатке с бронзовыми застежками — «львиными мордами» — и в черной литераторской шляпе, очевидно, для конспирации.

Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке стало словно светлее. Словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжелые, угарные мысли. Вот каким был Есенин... С тех пор я и поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья...

Утром за завтраком он сказал мне:

— Я долго, очень долго не мог вчера заснуть... А как ты? Ты помнишь, что сказал Лермонтов о людях и поэте:

Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной [5].

— Хорошо, что мы вчера встретили людей не праздных, а сраженных жизнью. Не с праздничными лицами, но все-таки верящих в жизнь... Никогда нельзя терять надежду, потому что...

Он намеревался прибавить еще что-то, однако, по своему обычаю, отделался лишь жестом.

Однажды с Есениным мы ехали на извозчике по Литейному проспекту. Увидев большой серый дом в стиле модерн на углу Симеоновской (теперь ул. Белинского), он с грустью сказал:

— Я здесь жил когда-то... Вот эти окна! Жил с женой в начале революции. Тогда у меня была семья. Был самовар, как у тебя. Потом жена ушла...

Я не знаю, о ком он говорил. Я никогда не расспрашивал Есенина о его личной жизни. И он никогда не любил рассказывать об этом. Я не раз задумывался о его романе — уже двадцатых годов — с Айседорой Дункан. Не было ли это позой? Любил ее Есенин или нет? Думаю, любил. Это была великая артистка, разрушавшая ложные, по ее мнению, каноны классического французского балета. И, очевидно, это был большой человек. Об этом говорят последние страницы ее жизни.

Приехать совершенно бескорыстно в Советскую Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров, нужды и голода... Приехать в «большевистскую» Москву с намерением бескорыстно отдать ей свой

талант — это совсем не то, что современные гастроли зарубежных артистов. Поверить в эту Россию мог человек лишь незаурядный. Вспомните те годы... Презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, была уже на закате, все-таки не просто... Но и не в этом дело. Она могла жить в полном довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить. Что только Россия может быть родиной не купленного золотом искусства.

Долгие годы и до самой смерти восторженно относился к ней Станиславский. И разве Есенин не мог не почувствовать ее обаяние? Неоднократно он говорил мне о ее танцах. Их недолгая совместная жизнь оказалась горькой. Но какая полынь отравила этот роман, я не знаю...

На берега Невы приехал А. Я. Таиров с Камерным театром. Он позвонил мне из гостиницы «Англетер» и сказал, что ждет меня к обеду, на котором будет и Айседора Дункан. Мне очень захотелось пойти. Я никогда в жизни ее не видел. Но у меня сидел Есенин, и я сказал Таирову об этом.

— Хочешь прийти с ним? Ради бога, не надо. Не зови его, будет скандал. Изадора и он совсем порвали друг с другом.

Между прочим, все близкие Дункан, и Есенин тоже, всегда называли ее Изадорой... Это было ее настоящее имя.

Есенин, сидевший рядом с телефоном, очевидно, слышал весь мой разговор с Таировым и стал меня упрашивать взять его с собой. Я протестовал. Но в конце концов все вышло так, как он хотел.

В номере Таирова Есенин не подошел к Айседоре Дункан. Этому способствовало еще то, что кроме Таирова, А. Г. Коонен и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы Камерного театра. Среди них и затерялся Есенин.

Я смотрел на Дункан. Передо мной сидела пожилая женщина, как я понял впоследствии — образ осени. На Изадоре было темное, как будто вишневого цвета, тяжелое бархатное платье. Легкий длинный шарф окутывал ее шею. Никаких драгоценностей.

И в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из «Гамлета». Есенин рядом с ней выглядел мальчиком... Но вот что случилось. Не дождавшись конца обеда, Есенин таинственно и внезапно исчез. Словно привидение. Даже я вначале не заметил его отсутствия. Неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Изадорой?..

Быть может, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
. . . .
Так мало пройдено дорог.
Так много сделано ошибок [6].

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще раз проверить себя, что кроется под этой *иной радостью*, о которой он пишет... Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают.

О его стиле. Слушая большинство есенинских стихов в его чтении, я часто говорил себе: «Какая лапидарность...» А некоторые поэты шептали тогда, что все эти стихи только «цыганщина». Между прочим, Есенин сам виноват в этой молве. О ряде своих стихов еще в «Анне Снегиной» он сказал, что они «по чувству — цыганская грусть». Но ведь он понимал это по-блоковски. Конечно, он шел за Блоком. Я скажу лишь одно: когда еще бурлили акмеистические, символистские, имажинистские, конструктивистские и прочие «страсти», он уже перешагнул через них, а также через свою «цыганскую грусть», как через лужу. Он стал писать как большой русский поэт, идущий от классических традиций. И в то же время был

оригинален. Но ему был близок строй классической русской поэзии.

Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила [7].

Под этими безукоризненными строками мог бы подписаться Пушкин. Прошу понять это как метафору. Может быть, кое-кому покажется, что я Есенина слишком «возвеличиваю». Может быть... Это все-таки лучше, чем преуменьшать его значение. Его стихи прожили почти полвека. Надеюсь, и в следующие пятьдесят лет не умрут.

Мне часто вспоминается его драматический эпос. До сих пор не могу забыть «Пугачева». Монологи Емельяна Пугачева и «уральского разбойника» Хлопуши, сочащиеся кровью, страстью, когда-нибудь люди услышат с подмостков какого-нибудь театра. И это будет подлинно народный и романтический театр. Именно он таится в этой крестьянской и поистине революционной драме. Пусть в ней, как кто-то говорил, «мало истории». Но ведь и у Шиллера и Шекспира ее было немного. Предвижу возражения, что поставить ее очень трудно. Да, нелегко. Но легкого пути не знает настоящее искусство. Когда я читаю очерк Горького о Есенине, именно о том, как Есенин «подавал» Пугачева, мне думается, я не одинок в своих ощущениях. Есенин действительно так читал эту драму, что она была видна и без декораций, без актеров, без театральных эффектов.

Мне помнится, как в 20-е годы, после смерти Есенина, В. Я. Софронов пробовал работать над материалом этой драмы. Это были еще робкие попытки, но и тогда уже они были значительны. И мне чувствовалось, эта драма — не только для чтения...

Вечером в конце ноября 1925 года в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Есенин. Он говорил о встрече.

— Приходи сейчас, если можешь...

Я не мог.

Несколько позже, но в этот же вечер он ждал меня у Садофьева.

Когда я пришел, гости отужинали, шел какой-то «свой» спор, и Есенин не принимал в нем участия. Что-то очень одинокое сказывалось в той позе, с какой он сидел за столом, как крутил бахрому скатерти. Я подсел к нему. Он улыбнулся.

— Я только что, совсем недавно кончил «Черного человека»... Послушай:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль...

Уже этим началом он сжал мне душу, точно в кулак. Почему-то сразу вспомнился «Реквием» Моцарта. Я не могу сейчас воспроизвести весь наш разговор точно. Помню, что Есенин шутил и был доволен, что «проверил» поэму еще на одном слушателе. На следующий день мы решили снова встретиться. Он обещал приехать ко мне к обеду. Но я его так и не дождался. Мне сказали, что он уехал в Москву, будто сорвался.

Прошел почти месяц. Помню, как в «рождественский сочельник» (тогда праздновали рождество) кто-то мне позвонил, спрашивая — не у меня ли Есенин, ведь он приехал... Я ответил, что не знаю о его приезде. После этого два дня звонили, а я искал его, где только мог. Мне и в голову не пришло, что он будет прятаться в злосчастном «Англетере». Рано утром на третий день праздника из «Англетера» позвонил Садофьев. Все стало ясно. Я поехал в гостиницу.

Санитары уже выносили из номера тело Есенина. Вечером гроб с телом стоял в Союзе писателей на Фонтанке. Еще позднее дроги повезли Есенина на Московский вокзал. Падал снег. Толпа была немногочисленной. Еще меньше было народа на железнодорожной платформе возле товарного вагона. Вот все, что я помню... Нет, еще два слова.

Через некоторое время пошли разговоры, статьи: кто виноват в происшедшем? Поздно было искать, когда уже все случилось. Стихи Есенина и его жизнь не раз могли внушить тревогу, но почему-то все это воспринималось лишь в поэтическом аспекте. Справедливее всех написал А. В. Луначарский, что все мы виноваты более или менее, надо было крепко биться за него.

Немало «лишнего», немало противоречий в своем образе создал он сам. Вспомним хотя бы его «Исповедь хулигана». Но этот же человек всегда с подлинной глубиной, чистотой, романтизмом писал о любви. Он сам себя в своих стихах назвал «последним поэтом деревни». Но разве он мало писал просто о жизни? Разве, раскрывая свое собственное сердце, он не писал просто о человеке? Или, и это самое важное, о судьбах своего народа, Родины... Он же воспел ураган революции и *капитана* ее — Ленина. Это был превосходный русский поэт. Спор о нем будет вечен. Прав Горький, сказав о Есенине, что он пришел в наш мир либо запоздав, либо преждевременно.

Николай ТИХОНОВ

ЕСЕНИН — ЭТО ВЕЧНОЕ

Летом 1929 года вдвоем с ленинградским поэтом Вольфом Эрлихом мы странствовали по замечательным горам Армении. Преодолев Гегамский хребет, нам надо было выйти на верховья Гарничая и спуститься к Гехарду, монастырю, называемому Айриванк, что значит «пещерный».

Так как нас не ждал никакой приют в этой отданной бурям местности, то мы отыскали скалы, в которых, отливая странной, фосфорической синевой, вспыхивая белыми искрами, притаилось маленькое озеро. Среди темных базальтовых скал оно казалось куском синего пламени. Лучшего места для отдыха нельзя было придумать.

Вода в озере была очень холодная. Не успели мы остановиться, как подул необычайно сильный ветер. Он бил как из брандспойта. Мы должны были подставлять ему попеременно свои бока, чтобы он не ударял все время только в спину. Теперь вокруг нас был представлен холод в разных видах. Холодный ветер, холодный камень скал, холодное озеро...

Но мы не хотели уходить отсюда. Сделав несколько шагов в сторону, Вольф воскликнул:

— Это колдовское место! И колдун налицо...

Я пошел к нему. Он стоял перед каменным изваянием, мрачным и таящим неведомую угрозу.

— Что это такое? — спросил он.

— Это вишап, только вишап! Бог его знает, что это такое. То ли дорожный знак, то ли предмет культа, то ли еще что-нибудь, я не знаю. О вишапах есть целые исследования. Мнения ученых расходятся. Но то, что мы нашли его именно здесь, очень интересно. Выпьем за его здоровье!

И мы пили водку, как воду, не ощущая ее вкуса,— так было холодно. И водка была ледяной, как из погреба.

Высокий вишап смотрел на нас тоже ледяными широкими глазами. Громадное туловище чудовища, не то рыбы, не то дракона, отшлифованное ветрами, избитое бурями, как знак вечности, было вбито в камни. Вишап стоял стражем фосфорического озера. На его берегу можно было говорить о чем угодно, пустынность этого места располагала к откровенности, а человеческие голоса здесь были просто необходимы. И мы разговаривали, стоя под леденящим ветром пустыни.

— Вольф,— сказал я,— если бы тебя сейчас, грязного, затрепанного, небритого, в фантастическом костюме, с одеялом на плече, с мешком нищего у ног, увидали твои приятели эстеты и приятельницы, твои ленинградские красотки, что бы они сказали?..

— Ты сам хорош,— сказал Вольф,— но в этих местах встречают не по одежке, иначе нас давно спустили бы с этих скал. И нас встречают не красотки, а красоты, одна другой внушительнее. Жаль, этого не видит Сергей. Он бы радовался, как ребенок. Он всегда умел радоваться по-ребячьи. Он так хорошо радовался...

— Скажи, Вольф, он действительно был в Иране, когда писал свои «Персидские мотивы»?..

— Нет, он никогда не был в Иране. Он был только в Баку, но он был хорошо знаком с азербайджанскими поэтами и от них слышал много стихов иранских классиков. Ему очень нравились стихи Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади.

— А ты сильно любил его?

— Да!

— За что ты его любил?..

— Как можно так сразу сказать, за что ты любишь человека? Мне почему-то казалось, что при всей своей внешней шумности, страсти к громким словам и действиям он был очень незащищен. Мне казалось, что ему всегда угрожает какая-то опасность. И раз он сам заставил меня спать с ним в одной комнате, так как опасался, что его убьют. И спустя некоторое время он рассказал мне, что тот человек, который

действительно хотел его убить, сам признался ему в этом и признался, что обязательно прикончил бы его, если бы он был один. Вот почему мне всегда хотелось, если понадобится, отвести новую опасность...

— Он склонен был к разного рода предчувствиям! — сказал я.— Помню, в 1924 году я был первый раз в Тбилиси. И совершенно неожиданно встретил на улице Есенина. Он был в хорошем настроении, даже весел. Он шутил и сказал: «Давай удерем от моих опекающих». И мы удрали. Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем. Он читал только что написанную «Поэму о тридцати шести». Помнишь там:

Добро, у кого
Закал,
Кто знает сибирский
Шквал.
Но если ты слаб
И лег,
То, тайно пробравшись
В лог,
Тебя отпоет
Шакал.

Я сказал ему, что, по-моему, в Сибири шакалы не водятся. Он засмеялся: «Ну, черт с ними, для рифмы пригодится. А может, они все-таки есть. Ты сам не уверен». Читал он с удовольствием. «У меня хорошо сейчас идут стихи,— добавил он,— я много пишу». В духане было тесно. Какие-то гуртовщики пили длинные тосты, потом так сдвинули стаканы, что они разбились. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Есенина. И вдруг, знаешь, лицо его сразу переменилось. Веселость исчезла. На лоб легла какая-то тень усталости, глаза стали тревожными, точно он что-то видит, чего не вижу я. Он перестал читать стихи и замолчал. Помолчав, он заговорил, и я видел, что появилась напускная веселость, которой он прикрывал волнение. Он спросил: «Ты хорошо спишь в Тифлисе?» — «Прекрасно,— сказал я.— А неужели у тебя нет сна?»

Он нахмурился.

«Я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь — влетают

какие-то птицы. Я сначала испугался... Только слегка забылся, был в полудремоте, очнулся от близкого шороха. Сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег свет — нетопырь, когти как наманикюренные, рот кровавой полоской. Черт знает что! Взял палку, выгнал одного — другой нетопырь висит у окна на занавеске. Спать не дают. Каждую ночь прилетают. Окон раскрыть нельзя. Серые, кладбищенские какие-то уроды... Ну ладно, бросим о них. Давай выпьем!»

Мы выпили и тоже бросили об пол стаканы... Мы продолжали разговор. Я сказал, что собираюсь в Армению.

«Замечательная страна—Армения,—сказал он,—там поэтов много. Я тоже как-нибудь попаду в те края. Вернешься из Эривани — расскажи, как там».

Я вернулся в Тбилиси, но уже не застал Есенина в Грузии. Он уехал, кажется, в Баку... Не помню. И вот его нет, а мы в Армении. Какой ветер...

Ветер свирепствовал. Мы пили водку и закусывали черствым хлебом.

— Надо идти,— сказал я.— Почему мы вспомнили здесь Есенина? Вишап и озеро! Здесь пахнет вечностью! Здесь только и появляться подходящим воспоминаниям. Но, говоря без иронии, эти места сами по себе большая поэзия, ты чувствуешь? Очень жаль, что Есенин сейчас не с нами и не может их видеть. Вольф, ты должен написать о нем все, что ты помнишь. И питерское и московское, все подряд. Есенин — это вечное, как это озеро, это небо...

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта книга — первый опыт издания сборника воспоминаний о Есенине, который объединял бы мемуары, посвященные всем периодам его жизни. Воспоминаний о Есенине написано немало. Уже в первый год после его смерти вышел ряд сборников: «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», М., 1926; «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество», М., 1926; «Памяти Есенина», М., 1926, и другие. Первый сборник носил целиком мемуарный характер, в остальных воспоминания занимали немалое место. Но ни один из этих сборников не ставил себе задачей рассказать о всей жизни поэта.

Из обширной мемуарной литературы, посвященной Есенину, для настоящего сборника отобраны воспоминания наиболее интересные и значительные по содержащемуся в них фактическому материалу. Достоверность была основным критерием при оценке мемуаров, включаемых в настоящий сборник. Составители пытались так отобрать и расположить материал, чтобы перед читателем прошла вся жизнь поэта. К сожалению, не все этапы жизненного пути Есенина нашли равное отражение в мемуарной литературе: так, если петроградскому периоду жизни Есенина посвящена целая серия воспоминаний, то, например, зарубежная поездка 1922—1923 годов не отображена в воспоминаниях с желаемой полнотой.

В настоящую книгу включается полностью или в отрывках пятьдесят шесть воспоминаний. Тексты воспоминаний вновь сверены с имеющимися первоисточниками, прижизненными публикациями и рукописями.

Значительная часть воспоминаний публикуется в сборнике впервые (воспоминания Н. П. Калинкина, А. Р. Изрядновой, Н. Н. Ливкина, Л. М. Клейнборта, П. А. Кузько, Рюрика Ивнева, Д. К. Богомильского и других). Целый ряд воспоминаний, уже бывших в печати, просмотрен, исправлен и дополнен авторами (воспоминания С. М. Городецкого, И. И. Старцева, А. Б. Гатова и других).

Ограниченность объема сборника не давала возможности представить все отобранные воспоминания полностью. Ряд материалов печатается с сокращениями: опускаются места, не относящиеся к Есенину, повествующие о малозначительных фактах его биографии или повторяющие сказанное другими мемуаристами. В тех случаях, когда воспоминания публикуются не полностью, это оговаривается в примечаниях.

Е. А. Есенина.

В КОНСТАНТИНОВЕ

Есенина Екатерина Александровна (р. 1905) — сестра поэта. В 1923—1925 годах помогала Есенину заниматься его литературно-издательскими делами. Работает над книгой воспоминаний о Есенине. Отрывок из этой книги: «В Константинове» — был впервые напечатан в альманахе «Литературная Рязань», 1957, № 2. Печатается по рукописи, подготовленной для настоящего сборника.

А. А. Есенина.

«ЭТО ВСЕ МНЕ РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ»

Есенина Александра Александровна (р. 1911) — сестра поэта. Воспоминания впервые напечатаны в журнале «Молодая гвардия», М., 1960, №№ 7, 8. Дополненные и переработанные, опубликованы в журнале «Простор», Алма-Ата, 1963, №№ 9, 10, 11 под названием «Мой брат Сергей Есенин». В настоящем сборнике печатаются по тексту, подготовленному А. А. Есениной.

[1] Из стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (III, стр. 11).
[2] Там же.

Н. П. Калинкин.

В ОДНОМ КЛАССЕ

Калинкин Николай Петрович (р. 1895) — константиновский крестьянин.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1956 году.

[1] Из стихотворения «Все живое особой метой» (II, 109).

Н. И. Титов.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЕСЕНИНА

Титов Николай Иванович (р. 1896) — рабочий автозавода имени Лихачева, ныне пенсионер.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Литературная запись Л. В. Якубенок.

Е. М. Хитров.

В СПАС-КЛЕПИКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Хитров Евгений Михайлович (1872—1932) — в годы пребывания Есенина в Спас-Клепиковской второклассной церковно-учительской школе работал старшим учителем в этой школе.

Воспоминания печатаются впервые, по машинописи. Написаны в 1926 году.

[1] В тетрадях, переданных Есениным, были стихи: «Воспоминания», «Моя жизнь», «Что прошло — не вернуть», «И. Д. Рудинскому», «Звезды», «Ночь», «Восход солнца», «К покойнику», «Зима», «Песня старика разбойника». Тетради сохранились (I, 332—333).

Н. А. Сардановский.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮНОСТИ

Сардановский Николай Алексеевич (1893—1961) — преподаватель музыки.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1960 году.

[1] Рукопись стихотворения неизвестна.

С. Н. Соколов.

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Соколов Сергей Николаевич (1897—1960) — заслуженный учитель РСФСР, директор Константиновской сельской школы.

Воспоминания печатаются впервые, по машинописи. Написаны в 1956 году.

[1] Из стихотворения Надсона «Мать». Советский писатель, Ленинград, 1949, стр. 203.

[2] Из стихотворения «Русь советская» (III, 170).

А. Р. Изряднова.

ВОСПОМИНАНИЯ

Изряднова Анна Романовна (1891—1946) — издательский работник. В годы встреч с Есениным — корректор типографии «Товарищества И. Д. Сытина». В 1914 году Сергей Есенин вступил в гражданский брак с А. Р. Изрядновой.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Хранятся у Е. А. Есениной. Написаны в 1926 году.

[1] В журнале «Мирок» было опубликовано первое стихотворение Есенина «Береза».

[2] О выступлении Есенина в «Эстетике» см. воспоминания И. Н. Розанова (стр. 287 настоящего сборника).

Г. Д. Деев-Хомяковский.

ИЗ СТАТЬИ «ПРАВДА О ЕСЕНИНЕ»

Деев-Хомяковский Григорий Дмитриевич (1888—1946) — поэт. В годы встреч с Есениным — один из руководителей Суриковского литературно-музыкального кружка.

Воспоминания впервые опубликованы в журнале «На литературном посту», М., 1926, № 4, май. Печатаются по этому тексту с сокращениями.

[1] Из стихотворения «Королева» (II, 45).

[2] См. журнал «Друг народа», М., 1915, № 1, 1 января.

Б. А. Сорокин.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ШАНЯВСКОГО

Сорокин Борис Андреевич (р. 1893) — журналист.

Воспоминания опубликованы в альманахе «Земля родная», Пенза, 1961.

Печатается отрывок из этих воспоминаний.

[1] Из стихотворения «По селу тропинкой кривенькой...» (I, 127—128).

Н. Н. Ливкин.

В «МЛЕЧНОМ ПУТИ»

Ливкин Николай Николаевич (р. 1894) — поэт.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1965 году.

Д. Н. Семеновский.

ЕСЕНИН

Из воспоминаний

Семеновский Дмитрий Николаевич (1894—1960)—поэт.

Воспоминания впервые опубликованы в сборнике «Теплый ветер», Ивановское книжное издательство, 1958. Печатается по этому тексту. Заключительная часть воспоминаний, где мемуарист говорит об эпизодических встречах с Есениным в 1923—1925 годах, опущена.

[1] Из стихотворения «Выткался на озере...» (I, 60).

Л. М. Клейнборт.

ВСТРЕЧИ

Клейнборт Лев Максимович (1875—1950) — литературный критик, публицист.

Воспоминания Клейнборта публикуются впервые, по авторизованной машинописи, хранящейся в Государственном литературном музее. Написаны в 1926 году. Печатаются с сокращениями.

[1] Автор неточно цитирует статью Г. Деева-Хомяковского «Правда о Есенине» (журнал «На литературном посту», М., 1926, № 4). См. стр. 105 настоящего сборника.

[2] Ни тетрадь со стихотворениями Есенина, ни его письмо к Л. М. Клейнборту до настоящего времени не разысканы.

[3] Из стихотворения «Узоры» (I, 112).

[4] Имеется в виду стихотворение «Поет зима — аукает...» (I, 57). Под названием «Воробышки» оно было опубликовано в журнале «Мирок», М., 1914, № 2, февраль.

[5] Стихотворение «Сыплет черемуха снегом...» (I, 62) было опубликовано не в «Журнале для всех», а в «Ежемесячном журнале», П., 1915, № 6, июнь.

[6] Видимо, речь идет о статье Л. Клейнборта «Печатные органы интеллигенции из народа», помещенной в журнале «Северные записки», П., 1915, № 7—8, июль — август. Поскольку Есенина летом 1915 года в Петрограде не было (он уехал в конце апреля, а вернулся

в конце сентября — начале октября), встреча с Клейнбортом не могла состояться раньше осени. При этом вызывает сомнение сообщение мемуариста о том, что он рекомендовал стихи Есенина в «Северные записки». В этом журнале, кстати в том же номере, что и статья Клейнборта, уже была напечатана «Русь» Есенина.

[7] Из этих записей Есенина сохранился только один (шестой) лист, посвященный Г. Успенскому (V, 62). Этот отрывок в целом совпадает с пересказом Клейнборта.

В. С. Чернявский.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Чернявский Владимир Степанович (1889—1948) — один из товарищей Есенина 1915—1918 годов. В те годы он был студентом, позже — актер, мастер художественного слова.

Воспоминания были опубликованы в журнале «Звезда», М.—Л., 1926, № 4. Печатаются по этому тексту.

[1] Речь идет о «Поэзе о Бельгии» Игоря Северянина.

Нам нужно дружнее сплотиться,
Прияв твой пленительный плен,
О Бельгия, синяя птица
С глазами принцессы Малэн!..

(*Игорь Северянин.* Трагедия титана. Берлин — Москва, 1923, стр. 93.)

[2] Речь идет о стихотворении Ф. Сологуба «России» («Еще играешь ты, еще невеста ты...»). (*Ф. Сологуб.* Великий благовест. М.—П., 1923, стр. 51.)

[3] В учительской семинарии Есенин не учился. В 1912 году он окончил со званием учителя школы грамоты Спас-Клепиковскую учительскую школу.

[4] Из стихотворения «Запели тесаные дроги...» (I, 220).

[5] Речь идет о статье З. Гиппиус «Земля и камень» (журнал «Голос жизни», П., 1915, № 17, 22 апреля).

[6] В автобиографии 1922 года Есенин писал: «Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба...» (V, 9).

[7] Трактат «Ключи Марии» был написан Есениным в сентябре 1918 года, издан в 1920 году. Лучшим доказательством, что эта ра-

бота Есенина родилась не из «постоянного общения с Клюевым», может служить то, что в «Ключах Марии» немало места отведено резкой критике Клюева (см., например, V, 47—48).

[8] Из стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие». Собр. соч. в восьми томах. М.—Л., 1960, т. 3, стр. 278.

[9] Это письмо Есенина к Чернявскому не сохранилось.

М. П. Мурашев.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Мурашев Михаил Павлович (1884—1958)— писатель.

Воспоминания впервые напечатаны в сборниках «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», М.—Л., 1926; «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество», М., 1926.

Печатаются по тексту, подготовленному автором к печати в 1957 году.

[1] Имеется в виду стихотворение «Гаснут красные листья заката...» (I, 233).

[2] Из стихотворения «В хате» (I, 125—126).

[3] Из стихотворения «Устал я жить в родном краю...» (I, 200).

[4] См. стихотворения, экспромты и наброски (V, 244).

[5] *А. Блок*. Собр. соч. в восьми томах. М.—Л., 1960, т. 3, стр. 295.

Ю. Д. Ломан.

ФЕДОРОВСКИЙ ГОРОДОК

Ломан Юрий Дмитриевич (р. 1906) — заместитель директора ленинградского завода «Красный химик», член КПСС с 1932 года, участник обороны Ленинграда.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи.

[1] Из стихотворения «Русь» (I, 146).

С. М. Городецкий.

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Городецкий Сергей Митрофанович (р. 1884) — поэт. Первая его встреча с Есениным произошла 11 марта 1915 года — через несколько дней после приезда Есенина в Петроград. Эта встреча настолько запомнилась Есенину, что он отметил ее во всех своих

автобиографиях. Городецкий дал Есенину рекомендательное письмо издателю «Ежемесячного журнала» В. С. Миролюбову: «Дорогой Виктор Сергеевич. Приласкайте молодой талант — Сергея Александровича Есенина. В кармане у него рубль, а в душе богатство. Посылаю и свое стихотворение — может быть, пригодится...» (Есенин, V, 267), и подарил свою книгу «Четырнадцатый год» с надписью: «Весеннему братику Сергею Есенину с любовью и верой лютой» (ГБЛ).

Воспоминания были впервые напечатаны в журнале «Новый мир», 1926, № 2. Печатаются по рукописи.

[1] Речь идет о статье Б. Лавренева «Казненный дегенератами» («Красная газета», вечерний выпуск, Л., 1925, № 315, 30 декабря).

[2] Начальные строки второго, третьего и четвертого стихотворений Н. Клюева из сборника «Четвертый Рим», П., изд. «Эпоха», 1922.

М. М. Марьянова.

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Марьянова Мальвина Мироновна (р. 1896) — поэтесса.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1964 году.

А. А. Блок.

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ПИСЕМ

Отрывки из дневников печатаются по изданию: *Александр Блок*, Собр. соч. в восьми томах, М.—Л., 1963, т. 7. Письмо Блока Есенину — то же издание, т. 8. Отрывки из записных книжек: *Александр Блок*. Записные книжки. М., 1965.

[1] Во время этой первой встречи Блок дал Есенину рекомендательное письмо к М. П. Мурашеву (см. стр. 153 настоящей книги) и подарил свою книгу стихов с надписью: «*Сергею Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок*, 9 марта 1915, Петроград» (ЦГАЛИ).

[2] В период 1917—1918 годов Есенин был захвачен идеей утверждения некоего иллюзорного крестьянского царства. Это привело его к отчуждению от многих писателей, представлявшихся Есенину носителями городской культуры. «Бог с ними, с этими питерскими

литераторами...— писал он А. Ширяевцу 24 июня 1917 года,— они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина» (V, 126). Видимо, подобные мысли Есенин развивал и во время разговора с Блоком 3 января 1918 года.

В этой беседе Есенин пытался противопоставить свое творчество творчеству Блока. Называя Блока «западником», он, видимо, хотел этим сказать, что поэзия Блока —городская, чуждая, по его мнению, крестьянству. Стремясь как можно безусловнее для собеседника доказать свое народное первородство, Есенин даже выдумал легенду о своем происхождении из старообрядческой семьи. Старообрядчество понадобилось ему как лишнее доказательство своей принадлежности к самым «исконним» русским семьям, как доказательство «почвенности» своего творчества.

Многое из того, что было записано Блоком, воплотилось в стихах Есенина. Сопоставление Кольцова, Клюева и самого Есенина в стихотворениях «О Русь, взмахни крылами...», «Я выплевываю причастие...» явный перефраз «Инонии».

Недолгий период отчуждения от Блока сменился у Есенина снова горячей приверженностью и уважением к замечательному русскому поэту. Даже в период имажинистских эпатажей, когда многое выглядело «позволительным», Есенин не считал возможным нападать на Блока. Показателен в этом отношении рассказ В. Пяста о речи, которую произнес Есенин во время одного из своих выступлений в 1923 году:

«Блок,— говорил молодой поэт, предводитель послефутуристических бунтарей,— к которому приходил я и в Петербурге, когда начал свои выступления со стихами (в печати), для меня, для Есенина, был — и остался, покойный,— главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что есть на свете.

(Я стараюсь передать смысл и стиль речи Есенина *точно*; эти слова врезались в память, хотя вся речь была бессвязна, как принято выражаться, гениально-косноязычна.)

Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней с благоговением. Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся. Да, я не участвовал в этом вечере, и я сказал им, моим бывшим друзьям: «Стыдно!» Имажинизм был ими опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма...» (*В. Пяст*, «Встречи с Есениным». ЦГАЛИ).

[3] Речь идет о статье *Блока* «Интеллигенция и революция», которая была впервые напечатана в газете «Знамя труда» 19 января

1918 года. Статья вызвала необычайное озлобление буржуазной прессы и таких писателей, как Мережковский и Гиппиус.

[4] «Знамя труда» — газета левоэсеровского направления, в которой сотрудничали Блок и Есенин.

С. Т. Коненков.

ПЕВЕЦ РУСИ

Коненков Сергей Тимофеевич (р. 1874) — скульптор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, народный художник СССР.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1964 году.

[1] Из стихотворения «О верю, верю, счастье есть...» (II, 29).
[2] Из стихотворения «Кантата» (II, 68).
[3] Из поэмы «Анна Снегина» (III, 193).
[4] Из стихотворения «Русь советская» (II, 170).

П. В. Орешин.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Орешин Петр Васильевич (1887—1943) — поэт.

Воспоминания впервые напечатаны в журнале «Красная новь», М., 1926, № 52. Печатаются по этому тексту с сокращениями.

[1] Из стихотворения «Товарищ» (I, 264).

[2] Из стихотворения «Преображение» (II, 13). Автор, видимо, ошибается, относя чтение этого стихотворения к дооктябрьским дням. Оно было написано после революции.

[3] Из стихотворения «Все живое особой метой...» (II, 109).

[4] Из стихотворения «Теперь любовь моя не та...» (II, 76).

[5] Из стихотворения «Не напрасно дули ветры...» (I, 287). Автор ошибочно относит это стихотворение к 1918 году. Оно было написано в 1917 году.

[6] Из стихотворения «Иорданская голубица» (II, 55).

Н. Г. Полетаев.

ЕСЕНИН ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Из воспоминаний

Полетаев Николай Гаврилович (1889—1935) — поэт.

Воспоминания впервые напечатаны в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», М.—Л., 1926. Печатаются по этому тексту с сокращением.

[1] Имеется в виду стихотворение «Зеленая прическа...» (II, 59).

Н. А. Павлович.

КАК СОЗДАВАЛСЯ КИНОСЦЕНАРИЙ «ЗОВУЩИЕ ЗОРИ»

Павлович Надежда Александровна (р. 1895) — поэтесса.

Воспоминания впервые напечатаны в альманахе «Литературная Рязань», 1957, № 2. Печатаются по рукописи.

[1] «Зовущие зори» (сценарий в 4-х частях), «Литературная Рязань», 1957, стр. 289—300.

П. А. Кузько.

ЕСЕНИН, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Кузько Петр Авдеевич (р. 1884) — литератор, персональный пенсионер.

Воспоминания печатаются впервые, по рукописи. Написаны в 1963—1964 годах.

[1] См. воспоминания П. А. Кузько о В. И. Ленине в журнале «Вопросы истории КПСС», 1964, № 4, апрель стр. 84—88.

[2] См. письма (V, 130—131).

Л. В. Никулин.

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

Никулин Лев Вениаминович (р. 1891) — писатель.

Воспоминания впервые опубликованы в журнале «Дон», Ростов-на-Дону, 1957, № 4; печатаются по рукописи.

[1] Из стихотворения *Осипа Мандельштама* «Отчего душа так певуча...» Стихотворения. Госиздат, М.—Л., 1928, стр. 27.

[2] «Барабан строгого господина» — название книги стихов *Марии Шкапской* (изд. «Огоньки», Берлин, 1922); «В лимонной гавани Иокогама» — название книги стихов *Бориса Смиренского* (изд. «Кольцо поэтов», П., 1922).

[3] Из стихотворения «Я иду долиной. На затылке кепи...» (III, 78).

[4] Из стихотворения «Ленин» (отрывок из поэмы «Гуляй-поле») (III, 144).

Рюрик Ивнев.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Рюрик Ивнев (Михаил Александрович Ковалев, р. 1891) — поэт.

Впервые небольшие воспоминания Ивнева о Есенине были напечатаны в 1926 году в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». В настоящее издание вошла часть новых воспоминаний Ивнева, посвященная встречам с Есениным в Москве в 1918—1925 годах. В первой части Ивнев рассказывает о встречах с Есениным в Петрограде в 1915 году и в период Февральской революции.

[1] Речь идет о стихотворении «Радость, как плотвица быстрая...» (V, 247).

[2] Письмо публикуется впервые. Хранится у Е. Никитиной.

А. Б. Мариенгоф.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт, один из основателей имажинизма.

Воспоминания печатаются с сокращениями по тексту книги: Анатолий Мариенгоф. «Воспоминания о Есенине», М. 1926.

[1] Рукопись неизвестна.

[2] Из стихотворения «По-осеннему кычет сова...» (II, 92).

И. И. Старцев.

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Старцев Иван Иванович (р. 1896) — библиограф.

Впервые воспоминания Старцева о Есенине были напечатаны в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», М.—Л., 1926. Воспоминания печатаются по рукописи.

М. Д. Ройзман.

«ВОЛЬНОДУМЕЦ» ЕСЕНИНА

(*Из воспоминаний*)

Ройзман Матвей Давыдович (р. 1898) — писатель.

Воспоминания написаны в 1964 г. Печатаются по рукописи.

[1] Из письма Есенина А. Мариенгофу, отправленного весной 1923 года из Парижа (V, 171).

[2] Речь идет о декларации имажинистов «Восемь пунктов», напечатанной в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1924, № 1 (3).

В. П. Комарденков.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

(*Из воспоминаний*)

Комарденков Василий Петрович (р. 1897) — художник, доцент Московского высшего художественно-промышленного училища.

Воспоминания печатаются впервые, по авторизованной машинописи. Написаны в 1964 году.

И. В. Грузинов.

ИЗ КНИГИ «С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»

Грузинов Иван Васильевич (1886—1942) — поэт, участник группы имажинистов.

Воспоминания были написаны в июне 1926 года и опубликованы отдельной книгой в 1927 году издательством «Всероссийский союз поэтов». Печатаются с сокращениями по этому тексту. Кроме этих воспоминаний И. В. Грузинову принадлежат еще одни небольшие воспоминания, опубликованные в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», М.—Л., 1926.

В публикуемых воспоминаниях И. В. Грузинов передает высказывания Есенина в очень отрывочной форме, и в силу этого зачастую случайная, сказанная по какому-либо определенному поводу фраза Есенина приобретает в изложении Грузинова неправомерно увеличительную степень.

[1] В целом об отношении Есенина к Брюсову следует судить не по приведенной Грузиновым частушке (она была опубликована в газете «Голос трудового крестьянства», М., 1918, № 127, 19 мая), а по статье Есенина «В. Я. Брюсов» и стихотворению «Памяти Брюсова». В статье Есенин писал: «Умер Брюсов... Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха. Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы» (V, 81). Об отношении Есенина к Маяковскому см. статью *В. Маяковского* «Как делать стихи?» (стр. 471) и примечания к ней (стр. 516 этого сборника).

[2] Из стихотворения Маяковского «Мама и убитый немцами вечер».

[3] Из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (*А. С. Пушкин*. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. XI, М., 1949, стр. 263).

[4] Неточная цитата из стихотворения Д. Бедного «Проводы».

[5] Автор цитирует «Ключи Марии» не совсем точно.

И. Н. Розанов.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Розанов Иван Никанорович (1874—1959)— литературовед, исследователь русской поэзии.

Воспоминания печатаются по рукописи, подготовленной автором незадолго до смерти для сборника воспоминаний о Есенине. В основу текста положены воспоминания И. Розанова «Есенин и

его спутники» (Сборник «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». Изд. «Работник просвещения», М., 1926), «Мое знакомство с Есениным» (Сборник «Памяти Есенина», М., 1926) и брошюра «Есенин о себе и других» (изд. «Никитинские субботники», М., 1926).

[1] *Николай Клюев.* Мирские думы. Изд. М. В. Аверьянова П., 1916, стр. 30.

[2] Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Молчит сомнительно Восток...» (*Ф. И. Тютчев.* Стихотворения и поэмы. Гослитиздат, М., 1957, стр. 247).

[3] Из стихотворения «Корова» (I, 181).

[4] Из стихотворения «Пушкину» (II, 164).

[5] Из «Автобиографии» (V, 12).

[6] Из стихотворения «Пушкину» (II, 164—165).

В. И. Вольпин.

ЕСЕНИН В ТАШКЕНТЕ

Вольпин Валентин Иванович (1891—1956) — поэт, переводчик, библиограф.

Воспоминания были написаны 21 марта 1926 года. Печатаются в сокращении по тексту сборника «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», Госиздат, М.—Л., 1926.

А. Б. Гатов.

ТАК БЫЛО

Гатов Александр Борисович (р. 1889) — поэт.

Воспоминания печатаются по рукописи, которая представляет собою переработанную редакцию статьи «О Есенине», помещенной в сборнике «День поэзии», изд. «Советский писатель», М, 1960, стр. 231.

И. И. Шнейдер.

ЕСЕНИН ЗА ГРАНИЦЕЙ

Шнейдер Илья Ильич (р. 1896) — журналист, театральный работник.

Печатаются в сокращении мемуары «Айседора Дункан. Из

книги воспоминаний», помещенные в журнале «Москва», 1960, № 10, стр. 203—223.

[1] Из письма Р. В. Иванову-Разумнину от 6 марта 1922 года (V, 153).

[2] Из стихотворения «Исповедь хулигана» (II, 102).

[3] Из письма И. И. Шнейдеру из Висбадена от 21 июня 1922 года (V, 156—157).

[4] Из очерка «Железный Миргород» (IV, 260—261).

Н. В. Толстая-Крандиевская.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Толстая-Крандиевская Наталья Васильевна (1889—1963) — поэтесса, жена А. Н. Толстого.

Воспоминания впервые опубликованы в сборнике «Прибой», Л., 1959, январь. Печатаются по этому тексту.

Максим Горький.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Воспоминания впервые опубликованы в «Красной газете» (вечерний выпуск), 1927, № 61, 5 марта, затем — в сборнике М. Горького «Воспоминания. Рассказы. Заметки», издательство «Книга», 1927. Печатаются по тексту издания: *М. Горький.* Собрание сочинений в тридцати томах. Гослитиздат, М., 1952, т. 17.

[1] Ошибка памяти. Есенин впервые приехал в Петроград только весной 1915 года.

[2] Встреча произошла в мае 1922 года («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3, издательство АН СССР, М., 1959, стр. 279).

[3] Из стихотворения «Закружилась листва золотая...» (II, 78).

[4] Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...» (II, 120).

[5] Как и следующие четыре цитируемые строки — из стихотворения «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...» (II, 125—126). У Есенина: «Что ж ты смотришь так синими брызгами?»

Д. К. Богомильский.

ЕСЕНИН И ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ «КРУГ»

Богомильский Давид Кириллович (р. 1887) — издательский работник.

Воспоминания печатаются впервые по рукописи. Написаны в 1964 году.

[1] Первая строфа стихотворения «Вечер черные брови насопил...» (II, 145).

[2] Из письма Есенина Г. Бениславской от 11—12 мая 1925 года (V, 207).

[3] Оба сборника Есенина с дарственными надписями Богомильскому хранятся в Государственном литературном музее.

[4] Из письма М. Горького в издательство «Круг» («Архив А. М. Горького», т. X. «М. Горький и советская печать», кн. 2, М., издательство «Наука», 1965, стр. 24).

А. Л. Миклашевская.

ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

Миклашевская Августа Леонидовна (р. 1891) — актриса Московского Камерного театра. Ей посвящен цикл стихотворений Есенина «Любовь хулигана» (в отдельных публикациях и в книге «Москва кабацкая», Л., 1924). Цикл состоял из следующих стихотворений: «Заметался пожар голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Ты прохладой меня не мучай...», «Вечер черные брови насопил...»

Воспоминания печатаются по тексту журнала «Дон», Ростов-на-Дону, 1963, № 2, февраль. Текст журнала представляет собой переработанную и значительно дополненную редакцию воспоминаний, впервые опубликованных под названием «Встречи с Сергеем Есениным» в «Учительской газете», 1960, 4 октября.

[1] Из стихотворения «Заметался пожар голубой...» (II, 133).

[2] Из стихотворения «Дорогая, сядем рядом...» (II, 139).

[3] Из стихотворения «Вечер черные брови насопил...» (II, 145).

Корнелий Зелинский.

В «КРАСНОЙ НОВИ» В 1923 ГОДУ

Зелинский Корнелий Люцианович (р. 1896) — критик. Воспоминания печатаются по рукописи.

[1] Из стихотворения «Я последний поэт деревни...» (II, 97).

Ю. Н. Либединский.

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Либединский Юрий Николаевич (1898—1961) — писатель, в прошлом один из руководителей РАППа.

Впервые воспоминания Либединского о Есенине были опубликованы в журнале «На литературном посту», М., 1926, кн. 1, апрель. Значительно расширенные и дополненные, они были напечатаны Либединским в книге «Современники», М., «Советский писатель», 1958. Печатаются по тексту этой книги, с некоторыми сокращениями.

[1] Из стихотворения «Иорданская голубица» (II, 55).

[2] Из стихотворения «Осень» (I, 193).

[3] Из стихотворения *Н. Гумилева* «Пьяный дервиш» (*И. С. Ежов* и *Е. И. Шамурин.* Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней. М., «Новая Москва», 1925, стр. 129).

[4] Из стихотворения *А. Блока* «Гармоника, гармоника!», входящего в цикл «Заклятие огнем и мраком». (*Александр Блок.* Собрание сочинений в восьми томах, т. II, Гослитиздат, М.—Л., 1960, стр. 280).

[5] Из стихотворения «Там, где капустные грядки...» (I, 56).

[6] Из стихотворения «Грубым дается радость» (II, 150).

[7] Из стихотворения *Н. Гумилева* «Жираф» (*И. С. Ежов* и *Е. И. Шамурин.* Русская поэзия XX века. стр. 123).

[8] Из стихотворения «Русь уходящая» (II, 197).

[9] Из стихотворения «Пушкину» (II, 164).

[10] Из стихотворения «Песня» (III, 53).

И. С. Рахилло.

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

(*Из записной книжки*)

Рахилло Иван Спиридонович (р. 1904) — писатель.

Впервые воспоминания опубликованы в книге И. Рахилло «Московские встречи», «Московский рабочий», 1961. Текст воспоминаний для настоящего сборника печатается по рукописи.

Т. Ю. Табидзе.

ЕСЕНИН В ГРУЗИИ

Табидзе Тициан Юстинович (1893—1937) — выдающийся грузинский поэт.

О поездках Есенина в 1924—1925 годах на Кавказ и встречах с грузинскими поэтами Т. Табидзе впервые рассказал в газете «Заря Востока», Тбилиси, 1926, 6 января. Печатается по этому тексту.

[1] См. письма (V, 139).

[2] См. письма (V, 144).

[3] Т. Табидзе ошибается. Есенин не приезжал в Тбилиси. Правда, в письме из Ростова Есенин сообщал, что «в четверг еду в Тифлис», но «на другой день после получения письма,— вспоминает А. Мариенгоф,— заявился в Москву и Есенин самолично». Съездить в Тифлис и вернуться в Москву за столь короткий срок он просто не успел бы.

[4] Из стихотворения «Ответ» (II, 216).

Н. А. Табидзе.

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА

Табидзе Ника Александровна (1900—1964) — жена поэта Тициана Табидзе.

Воспоминания на русском языке печатаются впервые, по авторизованной машинописи.

Н. К. Вержбицкий.

ЕСЕНИН В ТИФЛИСЕ

Вержбицкий Николай Константинович (р. 1889) — писатель, журналист. Во время пребывания С. Есенина в Тифлисе и Батуми (конец 1924— начало 1925 г.) работал выпускающим газеты «Заря Востока» (Тифлис).

Печатаются отрывки из книги «Встреча с Есениным», изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1961. Сокращенный вариант воспоминаний впервые опубликован в журнале «Звезда», Л., 1958, № 2.

[1] Из стихотворения «Этой грусти теперь не рассыпать...» (II, 166).

[2] Из стихотворения «Песня» (III, 53).

[3] Из стихотворения «Быть поэтом — это значит то же...» (III, 26).

[4] В «Декларации», подписанной С. Есениным, Р. Ивневым, А. Мариенгофом и другими имажинистами, говорилось: «Тема, содержание — эта слепая кишка искусства — не должны выпирать, как грыжа, из произведений» (V, 220).

[5] Из стихотворения «Не бродить, не мять в кустах багряных...» (I, 204).

Владимир Швейцер.

ПЕСНЯ

Швейцер Владимир Захарович (р. 1889) — писатель. В период пребывания С. Есенина в Баку работал художественным руководителем Бакинского рабочего театра, сотрудничал в газете «Бакинский рабочий».

Воспоминания представляют собою главу из «Этюдов к портретам», опубликованных в журнале «Москва», 1964, № 2. Печатаются по тексту журнала.

[1] Из стихотворения «Этой грусти теперь не рассыпать...» (II, 166).

[2] Из стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» (III, 11).

[3] Из стихотворения «Никогда я не был на Босфоре» (III, 15).

[4] Из доклада С. М. Кирова по текущему моменту на 1-й Общебакинской партконференции Азербайджанской коммунистической партии 5 мая 1920 года (*С. М. Киров.* Избранные статьи и речи (1912—1934). Госполитиздат, М., 1957, стр. 93).

[5] Из стихотворения «Песня» (III, 54).

[6] Из стихотворения «Прощай, Баку! Тебя я не увижу...» (III, 70).

[7] Из стихотворения «Снежная равнина, белая луна...» (III, 112).

[8] Из стихотворения «Русь уходящая» (II, 196—197).

П. И. Чагин.

ЕСЕНИН В БАКУ

Чагин Петр Иванович (р. 1898) — журналист. В годы знакомства с Есениным — редактор газеты «Бакинский рабочий». В 1925 году в Баку с предисловием Чагина вышел сборник Есенина «Русь советская».

Воспоминания впервые опубликованы в газете «Приокская правда», Рязань, 1958, 15 июня. Печатаются по рукописи.

В. И. Качалов.

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Качалов Василий Иванович (1875—1948) — народный артист СССР.

Воспоминания впервые напечатаны в журнале «Красная нива», М., 1928, № 3. Печатаются по этому тексту с сокращениями.

[1] Первые и последние строки стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...» (II, 113—114).

[2] Из стихотворения «Мне осталась одна забава...» (II, 132).

А. Ф. Кулемкин.

ЕСЕНИН И СТУДЕНТЫ

Кулемкин Александр Федорович (р. 1895) — литератор.
Воспоминания печатаются впервые, по рукописи.

И. В. Евдокимов.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Евдокимов Иван Васильевич (1887—1941) — писатель.

Воспоминания впервые напечатаны в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». М.—Л., 1926. Печатаются по этому тексту с сокращением.

[1] Здесь и далее неточно цитируется стихотворение «Годы молодые с забубенной славой...» (II, 153—154).

[2] Еще в 1916 году Есениным был подготовлен в Петрограде сборник стихотворений для детей «Зарянка».

В. Ф. Наседкин.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

Наседкин Василий Федорович (1894—1940) — поэт.

Воспоминания впервые опубликованы: «Последний год Есенина», изд. «Никитинские субботники», М., 1927.

Воспоминания печатаются по тексту, подготовленному для сборника женой Наседкина —Е. А. Есениной.

[1] Из стихотворения «Каждый труд благослови, удача!» (III, 73).

[2] Из стихотворения «Гори, звезда моя, не падай». (III, 85).

[3] Рукопись стихотворения неизвестна.

В. И. Эрлих.

ИЗ КНИГИ «ПРАВО НА ПЕСНЬ»

Эрлих Вольф Иосифович (1902—1944) — поэт.

Воспоминания впервые напечатаны в сборнике «Памяти Есенина», М., 1926, под названием «Четыре дня». Более подробно о встречах с Есениным Эрлих рассказывает в книжке «Право на песнь», Л., 1930. В настоящем сборнике печатается ряд глав из этой книги.

[1] Речь идет о строке «По часовням висел в рязанях» из стихотворения «Ты такая ж простая, как все...» (II, 135).

[2] Стихотворение «Возвращение на родину» было посвящено А. М. Сахарову в двух первых публикациях, когда оно печаталось под названием «На родине». В дальнейшем посвящение было снято.

[3] Из стихотворения *А. С. Пушкина* «Дорожные жалобы». Собрание сочинений в десяти томах. М., 1962, т. 2, стр. 305.

[4] Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...» (II, 120).

[5] В такой редакции печатались строки 47—48 «Кобыльих кораблей» в сборнике «Харчевня зорь», М., 1920.

[6] Это письмо со стихотворной припиской Есенина хранится в ИРЛИ.

[7] Записка Есенина хранится в ИРЛИ. Автор процитировал ее не совсем точно.

[8] Из стихотворения «Исповедь хулигана» (II, 103).

Е. А. Устинова.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

Устинова Елизавета Алексеевна — жена писателя, журналиста Г. Ф. Устинова, с которым дружил С. Есенин.

Воспоминания печатаются по тексту сборника «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Госиздат, М.—Л., 1926.

Владимир Маяковский.

ИЗ СТАТЬИ «КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?»

Первая встреча Маяковского и Есенина произошла в Петрограде, видимо, в начале 1916 года (подробнее см. *В. Ф. Земсков.* «Встречи Маяковского и Есенина» в сборнике «Маяковский и советская литература», М., 1964, стр. 356—357).

В памяти современников сохранилось немало отрицательных суждений Есенина о Маяковском. Их столкновения на литературных диспутах (особенно резкие и бескомпромиссные в 1919—1921 годах) надолго запомнились всем присутствующим. Есенин не скрывал своей неприязни к поэзии Маяковского. В «Железном Миргороде» он писал: «Мать честная! До чего же бездарны поэмы Маяковского об Америке!» (IV, 259). Неприятие Есениным поэзии Маяковского объяснялось прежде всего различными творческими позициями поэтов, немалую роль в их столкновениях сыграла и групповая литературная борьба. Многие современники склонны были рассматривать инвективы Есенина о Маяковском как нечто неизменное, как отражение его постоянной литературной позиции и вкусов. Однако отношение Есенина начало меняться в 1924 году. Особый интерес представляет рассказ Н. Н. Асеева о стремлении Маяковского привлечь Есенина к сотрудничеству в «Лефе».

«Помню, как Маяковский пытался привлечь к сотрудничеству Сергея Есенина. Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин был горд и заносчив; ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку. Он ведь был тогда еще бли-

вок с эгофутурней — с одной стороны, и с крестьянствующими — с другой. Эта комбинация была сама по себе довольно нелепа: Шершеневич и Клюев, Мариенгоф и Орешин. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих, вместе взятых, сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в «Лефе». Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что «это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой». Есенину это не идет. «А у вас же есть группа?» — вопрошал Есенин. «У нас не группа, у нас вся планета!» На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение.

Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один делать будет и чем распоряжаться. «А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!» — «Какое же оно будет?» — «А вот будет отдел называться «Россиянин»! — «А почему не «Советянин»? — «Ну это вы, Маяковский, бросьте. Это мое слово твердо!» — «А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уже нужно журнал не «Лефом» называть, а — «Росукразгруз».

Маяковский убеждал Есенина:

«Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?» — «Я глину, а вы — чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?» — «А из чугуна памятники!»

...Разговор происходил незадолго до смерти Есенина.

Так и не состоялось вхождение Есенина в содружество с Маяковским» (*Н. Асеев.* «Зачем и кому нужна поэзия». М., 1961, стр. 300—301).

При всей резкости полемических оценок творчества Есенина Маяковский никогда не отрицал большого дарования поэта. «Из всех них (имажинистов.— *Прим. ред.*) останется лишь Есенин»,— сказал он в беседе с сотрудником рижской газеты «День» (*В. Маяковский.* Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. 13, М., 1961, стр. 217). Подробный анализ взаимоотношений поэтов дан в статье *В. О. Перцова* «Маяковский и Есенин» (сборник «Маяковский и советская литература», М., 1964).

Отрывок из статьи Маяковского «Как делать стихи?» печатается по изданию: *Владимир Маяковский.* Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. 12, М., 1959, стр. 93—96.

[1] Из стихотворения «Сорокоуст» (II, 95).

[2,3] Неточные цитаты из стихотворения «Иорданская голубица» (II, 55).

[4] Маяковский перефразирует следующий отрывок из «Ключей Марии»: «Она [«марксистская опека в идеологии сущности искусств».— *Ред.*] строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове» (V, 52).

[5] Из стихотворения «До свиданья, мой друг, до свиданья...» (III, 138).

Н. Н. Никитин.

О ЕСЕНИНЕ

Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — писатель.

Печатается глава из книги воспоминаний, опубликованная в журнале «Звезда», Л., 1962, № 4, апрель. Глава представляет собою переработанную и значительно расширенную редакцию воспоминаний, помещенных под названием «Встречи» в журнале «Красная новь», М., 1926, № 3, март.

[1] Неточность. Поэма «Черный человек» написана в 1922—1923 годах во время пребывания Есенина за границей. К 1925 году относится последняя редакция поэмы (см. комментарий в т. III, стр. 273—275).

[2] *Анатоль Франс.* Собрание сочинений в восьми томах, том 8. Гослитиздат, М., 1960, стр. 238.

[3] Из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...» (II, 122).

[4] Из стихотворения «Письмо матери» (II, 155).

[5] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе». (*М. Ю. Лермонтов.* Сочинения в шести томах, том 2. Изд-во Академии наук СССР, М.—Л., 1954, стр. 123.)

[6] Из стихотворения «Мне грустно на тебя смотреть...» (II, 141).

[7] Из стихотворения «Поэтам Грузии» (II, 207).

Николай Тихонов.

ЕСЕНИН — ЭТО ВЕЧНОЕ

Тихонов Николай Семенович (р. 1896) — советский поэт.

Воспоминания Тихонова о Есенине были впервые напечатаны в сборнике «Памяти Есенина», М., 1926. Затем в переработанном виде вошли в книгу «Двойная радуга», М., 1964. Печатаются по рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ
О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Редактор Т. Ильина
Художественный редактор А. Игнатьева
Художник Ю. Жигалов
Техн. редактор Е. Яковлева

* * *

Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6

Л26893. Подписано к печати 23/XI 1965 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 8,12. Печ. л. 26,65. Уч.-изд. л. 25,96. Тираж 100 000.
Сводный тематический план 1965 г., № 86. Цена 1 р. 20 коп. Зак. 2977

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.